Ф.М. Решетников

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Ф. М. РЕШЕТНИКОВ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1986

Составление, вступительная статья и
примечания **С. Е. Шаталова**

Художник **М. З. Шлосберг**

Р $\frac{4702010100-199}{М-105(03)86}$ 98—86

ТВОРЧЕСТВО Ф. М. РЕШЕТНИКОВА



В наш техногенный век история русской литературы странно раздвоилась на классику и «все остальное». Считается престижным знать классиков — хотя бы по именам самих писателей и их героев или по названиям созданных ими шедевров. Помнят о Крылове, о Грибоедове, Пушкине и Лермонтове. При случае вспоминают о персонажах Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого, Чехова. В самом деле: может ли тот, кто читал их романы, повести, басни, стихи, забыть об Анне Карениной, о Родионе Раскольникове, об Ионыче?

А что сказать о писателях так называемого второго плана? О тех, кого нет в школьных программах, кого читать не обязательно и кто стал достоянием историков литературы? Да и нужно ли помнить имена десятков и сотен отошедших в прошлое — вместе со своей действительностью — авторов очерков, повестей, разнообразных «мелочишек» наподобие крохотных сценок, по образному определению Чехова, «короче воробьиного носа»? Что прибавляют они к познанию России XIX века? Не избыточная ли это информация? Ведь классики и так все уже сказали!

Но без них, без их творений была бы неполной картина поистине великого сдвига в духовной жизни России той поры. Классики отобразили отнюдь не все стороны российской действительности, описали далеко не все социально-психологические типы.

К тому же иные «вторые» — это подчас наделенные громадным дарованием художники, которые по разным обстоятельствам не стали признанными гениями. Не успевшие вполне развиться, «неклассики» могли бы почти в каждой из национальных литератур Запада и Востока занять высочайшее место и оказать решающее влияние на формирование своих культур. У нас в России 1830—1880-х гг. эти наделенные громадным дарованием художники лишь по стечению обстоятельств не стали признанными гениями в одном ряду с Жуковским, Пушкиным, Лермонтовым и всеми теми, кто следовал за ними,— вплоть до Чехова. Не успевшие вполне развиться, оста-

новившиеся на творческом пути или просто преждевременно умершие, они оставили яркие произведения, не знать которых не имеет права любой любитель российской словесности.

Одним из самых выдающихся писателей этого ряда был Федор Михайлович Решетников (1841—1871). В его творческом наследии нашла яркое выражение одна из примечательных страниц национально-освободительного движения в России. Он жил и творил в десятилетие, которое условно называют шестидесятыми годами и которое поистине перевернуло художественный мир не только России, но и Запада. Решетников внес заметный вклад в духовное раскрепощение русского народа и в развитие культуры трудовых низов.

В одном из писем Тургенева к Фету высказано признание удивительного таланта Решетникова: «*Правда* дальше идти не может. Черт знает, что такое! Без шуток — очень замечательный талант»[1]. Он даже готов был поставить лучшие из произведений Решетникова вровень с лучшими из творений Л. Толстого. Признание такого писателя, как Тургенев, много значит для правильной оценки творческого наследия Решетникова. Какая же именно правда поразила Тургенева?

Она была не только в описаниях быта уральских рабочих и крестьян, не только в изображении страданий русского народа под властью той орды чиновников, полицейских, купцов, духовенства, которые были опорой самодержавно-крепостнического режима. Правда была в том, что Решетников верно понял общую направленность социально-исторического развития России. Он стремился — вслед за революционными демократами — убеждать читателя в том, что к светлому будущему народ придет не путем частичного улучшения участи обитателей нищих деревенек или практически не отличающихся от каторги соловарен, шахт, рудников. Необходимо коренное изменение существующего порядка!

Правда была в том, что Решетников — в отличие от многих народников — не впадал в панику при виде наступающего, торжествующего, разоряющего крестьянство капитализма. Он был оптимистом в своем понимании исторического процесса и видел, что «золотой век» народного благосостояния — впереди, в будущем, а не в далеком прошлом.

Решетников не понаслышке, не из книг и не как сторонний наблюдатель знал о бедственном положении народа. Он испытал на себе, что значит быть человеком из низов, бесправным и ничем не защищенным от насилия — ни сословными привилегиями, ни богатством. В. И. Ленин в статье «Случайные заметки» привел характерное для Решетникова происшествие: «Лет тридцать пять тому назад с одним известным русским писателем, Ф. М. Решетниковым, случилась неприятная история. Отправился он в С.-Петербурге в дворянское собрание, ошибочно воображая, что там дают концерт. Городовые не пустили его и прикрикнули: «Куда ты лезешь? кто

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28 т. М., 1964, т. 7 (письма), с. 285.

ты такой?» — «Мастеровой!» — грубо отвечал рассердившийся Ф. М. Решетников. Результатом такого ответа — рассказывает Г. Успенский — было то, что Решетников ночевал в части, откуда вышел избитый, без денег и кольца. «Довожу об этом до сведения вашего превосходительства,— писал Решетников в прошении с.-петербургскому обер-полицмейстеру.— Я ничего не ищу. Я только об одном осмеливаюсь утруждать вас, чтобы пристава, квартальные, их подчаски и городовые *не били народ*... Этому народу и так придется много получить всякой всячины»[1].

Дневник Решетникова сохранил многие подробности его скорбного жизненного пути. Сейчас тягостно читать, как мучительно шел к признанию этот русский талант-самородок. Он записал 3 декабря 1865 года: «Очень бы я желал, чтобы мой дневник, или мои заметки, после смерти моей напечатали». О чем он писал? О мучительной нужде, граничащей с нищетой. О литературной поденщине, когда творчество превращается в каторжный труд ради грошовых заработков. Лучшее свое произведение повесть «Подлиповцы» он продал для отдельного издания в 1866 году всего лишь «за 61 руб. 25 коп.»,— как с горечью отмечал он. Едва ли не один лишь Некрасов поддерживал его — денежно и духовно, хотя мнительному Решетникову казалось, что и в «Современнике», самом передовом русском журнале той поры, не умеют справедливо оценить его.

Г. Успенский писал: «В течение восьми лет постоянно работал в больших и маленьких журналах, и каждое более или менее крупное произведение его возбуждало в обществе и литературе самые разнородные толки»[2]. Разве это не признание? Но оно далось Решетникову дорогой ценой. «Жизнь посбивала много дорогих цветов с его сильного таланта»[3],— добавил далее Г. Успенский. Особенно огорчительным для Решетникова было чванство и барство некоторых из собратьев литераторов. Возмущали его и попытки иных редакторов и издателей «прижать» наемного писателя и урвать свою долю из его скромных заработков.

Подобными заметками переполнен дневник Решетникова. По сути своей это обвинительный документ, в котором вскрыты некоторые из черт литературной жизни в России 1860-х годов, когда творчество больших и малых писателей дельцы пытались превратить в товар. Решетникову органически чуждо было литературное делячество. Служением народу была для него литература. Разве мог он позволить себе наживаться на таком святом деле?

Решетников сознавал, что раскрывает перед читателями ранее неведомую им сторону России. Все знали о миллионерах-заводчиках — Строгановых и Демидовых. Знали и о казенных заводах на Урале. Ведь откуда-то поступает металл для пушек, ружей, штыков! Слышали о золотых приисках, о медных рудниках — и не только на Урале, но и в Забайкалье или Алтае. Но почти никто не знал о тех, кто добывал руду, выжигал уголь, плавил ме-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 415.
[2] Соч. Ф. М. Решетникова, т. 1. М., 1874, с. 51.
[3] Там же, с. 52.

талл, ковал оружие — против внешних врагов и для порабощения собратьев.

Целый класс оставался неизвестным! Картина социальных отношений оставалась неполной. Необходимое дополнение она получила в рассказах, очерках и романах Решетникова. До него ни один из видных литераторов не представил в литературе рабочих России.

* * *

Федор Михайлович Решетников родился 5 сентября 1841 года в Екатеринбурге в семье разъездного почтальона, рано остался без родителей и воспитывался в доме своего бездетного дяди Вас. Вас. Решетникова. Тот, по-видимому, желал добра племяннику, но избегать побоев Федору не удавалось. Били его постоянно, били до крови, до обмороков. Крепостничество держалось на грубом принуждении. Вся система личных и общественных отношений отличалась при таком укладе крайней, почти варварской жестокостью. И это особенно больно сказывалось на детях — в семье и в учебных заведениях. Палочная педагогика была основой воспитания послушных верноподданных Российской империи.

В 1851 году мальчика отдали в уездное училище. «И к битью воспитателей и соседей прибавилось битье школьное»,— писал впоследствии А. М. Скабичевский, один из современников Решетникова. Физические страдания усугублялись духовным насилием, каким, по существу, являлось обучение той поры.

Пытаясь «отделаться от учителей» (как вспоминал позднее Решетников), он «таскал для них тайком с почты газеты» — до того, как они попадали к подписчикам. Добром это не могло кончиться: вмешалась полиция, последовало исключение из училища, суд и новое наказание — ссылка в Соликамский монастырь на трехмесячное покаяние.

Наконец, в 1859 году Решетников определился служить за нищенское жалованье — три рубля в месяц! Даже и потом, когда ему стали платить шесть рублей, он писал: «Живешь не лучше нищего!» И далее объяснил, какие у него расходы: «За квартиру — 1 руб. 50 коп. На говядину — 90 коп. Хлеба на 60 к. и молока на 60 коп.». Осенью 1861 года ему прибавили еще один рубль, и Решетников решил экономить, чтобы отправиться в Петербург. Там издавались лучшие журналы России. Там был не только административный центр империи, но и средоточие передовых духовных сил. «Из семи рублей у меня остается два с половиной рубля в месяц»,— писал Решетников в дневнике. И добавил: «Зато я не ем уже ничего мясного».

В 1863 году он перебрался в Петербург, начал печататься в демократических изданиях, сблизился с редакцией журнала «Современник», познакомился со многими видными поэтами, критиками, очеркистами. Известность он приобрел едва ли не в первый же год своей литературной деятельности. У него была природная наблюдательность, а с годами она обостри-

лась. Запаса жизненных впечатлений ему хватило на первые произведения, а потом он пополнял их в новых поездках.

Решетникова как писателя отличала социальная зоркость. Он не просто предлагал зеркальное художественное отражение действительности. Или, как эхо, откликался на происходящее. Он умел добираться до корней изображаемых явлений и добивался больших обобщений. Он в полном смысле слова изучал российскую действительность как писатель-социолог, хотя и проявил наряду с этим себя незаурядным психологом.

К сожалению, его идейно-творческому развитию мешало то одиночество, в каком он оказался в Петербурге, а в последние годы жизни в Бресте. Его горе-воспитателям удалось смолоду выбить из него живость и бойкость. Вечная нужда усугубила его замкнутость. Суровая, пасмурная нелюдимость отличала его в общении с петербургскими литераторами. Он трудно сходился с ними, хотя был прост в обращении с людьми из низов.

Решетников не входил ни в одну из нелегальных организаций, но был близок по духу руководителям органа революционной демократии журнала «Современник». Сотрудничал он и в таких демократических изданиях, как «Русское слово», «Искра», «Будильник», а впоследствии, после закрытия «Современника», в приобретенных Некрасовым «Отечественных записках».

В 1866 году, после неудачного покушения Каракозова на Александра II, реакция обрушила удар против демократии. Некоторые из литераторов были арестованы. Шли обыски. Решетников полагал, что и с ним расправятся. «Уж хоть бы скорее обыскали»,— записывал он 13 апреля 1866 года, измученный ожиданием ночного визита жандармов и последствий этого визита: переполоха в семье, плача детей, ужаса больной жены.

В последующие годы Решетников работал с крайним напряжением, его часто печатали, соответственно упрочилось его благосостояние, но силы писателя уже были на исходе. 9 марта 1871 года оборвалась короткая жизнь Решетникова. Он умер, как свидетельствует А. М. Скабичевский, «от отека легких, оставив после себя жену и двоих детей».

Следует уточнить: Решетников оставил еще и богатое художественное наследие. Тогда совместными усилиями многих писателей в передовой русской литературе складывался своего рода коллективный образ народа. Он предстал в поэмах и стихотворных циклах Некрасова, в произведениях Л. Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Н. Успенского, Помяловского, Слепцова, Г. Успенского, Левитова, Каронина-Петропавловского и многих других. Своими произведениями Решетников внес немалый вклад в это общее дело русских писателей-демократов. Его картины из жизни разорившихся крестьян, бурлаков, рабочих и ремесленников многое дали для более глубокого понимания исторических судеб русского народа.

* * *

«Горнозаводские люди» — первое из подлинно новаторских произведений Решетникова. Эти социально-исторические и этнографические очерки, изложенные в виде рассказа полесовщика, человека из лесной охраны, были

опубликованы в газете «Северная пчела» в ноябре-декабре 1863 года. Для русского читателя открылся новый мир. Лишь одно могло смутить — несоответствие между личностью рассказчика, наблюдательного, но поневоле ограниченного человека, и раскрывшейся с его помощью огромной панорамой заводской жизни на Урале.

Судьба отдельного человека определяется обстоятельствами жизни его сословия. Полесовщик и начинает — в духе Бальзака, Гоголя, Герцена — с очерка «Люди». Как живут обитатели заводов? И он поясняет: «Как ты родился от рабочего или мастерового, так и умрешь рабочим или мастеровым... У нас, на матушке Руси, много разных заводов и промыслов, казенных и таких, которые принадлежат богатым людям. Вот к этим-то заводам, рудникам да промыслам и были давным-давно, по указам государевым, навечно причислены или подарены люди, земли и леса».

Разница между казенными и господскими людьми невелика: все они сведены в сословие, организованное на военный лад. Они — те же крепостные, ибо прикреплены к заводам, к месту работы и не имеют права выйти из своего сословия. Ими управляет довольно сложный аппарат принуждения, но от настоящих каторжников их отличает владение собственным домом, покосом и огородом. Для провинившихся, для невыполнивших норму выработки горное ведомство применяет ограничение в пайке, розги, тюремное заключение на определенный срок.

Полесовщик далее поясняет: «Все они слушались своих командиров, знали свои места, исполняли обязанности по горной части, не могли отлучиться из своего места без воли начальства и не могли выйти в другое состояние (если родились в горном звании). Всем им была служба тридцать пять лет».

И за их нелегкую работу выдавалось холостым «провианта по два пуда в месяц»; женатым — вдвое больше, на сына — пуд, на дочь — полпуда. А в итоге, если человек доживал до пенсии, он получал «половину годового жалованья или несколько копеек в месяц... Жены, после смерти мужей, получали пенсион от шести рублей восьмидесяти семи копеек до одного рубля семидесяти двух копеек в год, а дети, до двенадцатилетнего возраста,— по десяти копеек в месяц».

Так жил рабочий, трудом которого приумножались богатства правящих верхов. Нищенское существование, каторжный труд, бесправие, безысходность, а отсюда — пьяное озорство или стихийное бунтарство. Страшный уклад с насильственной регламентацией почти всех личных и общественных отношений. А видимая упорядоченность на деле оборачивалась сплошным беззаконием. Полесовщик хмуро поясняет: «Много у нас начальников было; много от них непорядков делалось; больно они уж важничали и худо обращались с нами... Бывало, наш брат никакой вины за собой не знает, а работает весь год в казну; нет ему спуска, а стал говорить — хуже: отдерут и провианта лишат».

Эти социологические наблюдения в последующих частях («Полесовщик» и «Три брата») как бы персонифицируются: перед читателем пред-

стают конкретные персонажи со своими заботами и бедами. Полесовщик Иван, разбойный бунтарь Елисей, его брат Тимофей, которого обокрали, а он оговорил и посадил в тюрьму мать и отца, и третий брат Максим,— все они бьются, как рыба об лед, пытаясь улучшить свое положение. Но выхода нет! И в итоге оправдывается исходное соображение полесовщика, изложенное в самом начале его рассказа: рабочему жить хуже, чем даже казенному крестьянину. Тот может паспорт выправить и — «вольный человек; на все четыре стороны ступай». Разумеется, если все повинности исполнил и подать уплатил. «А если капитал имеешь,— в купцы можно махнуть»,— мечтательно сообщает полесовщик и тут же с горечью заключает: «А наш брат — шалишь!»

* * *

С повести «Подлиповцы» (1864) началось широкое признание самобытного таланта Решетникова. Молодой, в сущности, еще начинающий писатель смело, необычно, с поразительной яркостью рассказал о жизни народа. Эта тема вошла в русскую литературу еще в конце XVIII века. После Радищева почти каждый из крупных писателей обращался к ней. Постепенно складывалось истинное представление: народ — творец истории, но он бесправен — и в этом его трагедия. А одновременно передовая русская литература указала конкретный источник этой трагедии — крепостничество, самодержавие и освящающая режим насилия казенная церковь.

За двенадцать-пятнадцать лет до Решетникова тема народа получила неоднозначное освещение в повестях Григоровича «Деревня» и «Антон Горемыка» и в «Записках охотника», «Муму», «Постоялом дворе» Тургенева.

Григорович подчеркивал, как падает нравственный уровень народа под воздействием бесчеловечных условий существования. Доведенные до крайней степени нищеты и забитости, крепостные и сами усваивают грубость, жестокость, равнодушие. Григорович предостерегал: крепостничество опасно не только для духовного развития народа, но и для самого существования его, ибо грозит физическим вырождением и даже вымиранием целых групп деревенского населения.

Тургенев же исходил из убеждения, что века крепостнического рабства не иссушили души народной. Как он полагал, именно в народных низах, в крестьянстве сохранились самобытные, ценные черты национального характера русского народа. Это народ правдолюбцев, мечтателей и поэтов, незаурядных администраторов и, может быть, великих реформаторов,— таков конечный вывод Тургенева.

Казалось бы, два несовместимых подхода к одной теме: кто же тут прав? Решетников в «Подлиповцах» объединил внешне взаимоисключающие соображения. П р а в д а в том, что поэзия народной жизни — это лишь в о з м о ж н о с т ь, которой не дано осуществиться при существующем положении. А чтобы она осуществилась, надо освободить народ. Тогда и раскроются его природные задатки.

С потрясающей силой Решетников представил сначала нищету, забитость и невежество своих героев из убогой, в шесть избенок, деревеньки Подлипной, затерявшейся в предуральской глухомани. Истощенные поля дают скудный урожай. Хлеба — даже с осиновой и липовой корой — хватает до середины зимы. От бескормицы шатаются лошади, а коровы дают молоко, которого едва достает детям. Постоянное недоедание переходит у подлиповцев весной в настоящий голод: «Поплачешь, погорюешь, да и скосишь травку божью, измелешь и ешь так с горячей водой». Зверь в лесах перевелся, да и нечем его взять. Промыслов никаких нет.

Как ни бьются, как ни изворачиваются подлиповцы, они не могут заработать более трех рублей за сезон. А из чего платить подать? За крестины, свадьбы, похороны? Нищета, безысходность придавили подлиповцев: «Не слышится веселого говора, не слышится песен, у всех точно какое-то горе, какое-то болезненное состояние».

Подлипная вырождается, близка к вымиранию. Решетников не побоялся сделать такой вывод из своих наблюдений. Он, естественно, не винит крестьян: вина лежит на властях, допустивших потрясающее обнищание русской деревни. Нужда, постоянные поборы, безысходность лишают крестьян жизненной стойкости. Постоянное недоедание подкосило их силы. «Пища мучит всех,— возвращается вновь и вновь Решетников к главному вопросу.— Настоящий хлеб едят редкие с месяц в год, остальное время все едят мякину с корой, и от этого у них является лень к работе, болезнь, и часто все подлиповцы лежат больные, сами не зная, что с ними делается, а только ругаются и плачут».

Может быть, деревня Подлипная — какая-то особенно незадачливая в Российской империи? Нет, оказывается, таких деревень много. Или подлиповцы не умеют работать? Но разве кто-нибудь научил их чему-нибудь сверх того, что они усвоили от отцов, дедов, прадедов? «Растолкуй этим людям как следует, по-человечески, что нужно делать, они примутся и сделают еще крепче городского мастера,— полагает Решетников.— В этом я ручаюсь». И далее он покажет, как умеют работать подлиповцы, когда их накормят,— с азартом, с выдумкой, на совесть.

Представив вначале, как живут в с е подлиповцы, Решетников затем выделил из их числа двух героев — по прозвищу Пила и Сысойко. Фамилии тогда у крестьян только появлялись, главным образом у зажиточных. При переписях указывали обычно прозвища или прозвания — от имени отца, по внешним приметам или от видоизмененного собственного имени. Так, Гаврила Пилин превратился в Пилу, а молодой, но вконец обедневший и болезненный Сысоев — в Сысойку.

Пила еще сохранил остатки предприимчивости и смелости. Он-то и решил: «Эх! надоела эта жизнь!.. Дай пойду в бурлаки». От других крестьян, встретившихся в городе, он слышал: бурлаков хлебом кормят — настоящим, а не из мякины с корой. Он и соседа своего уговорил, и жену поднял, и сыновей повел.

Так тронулись с места подлиповцы. Двинулись в неведомую даль за

призрачным счастьем. Бросили свои холодные, дымные избы-конуры, оставили опостылевшую родимую Подлипную и пошли в бурлаки. Много нового пришлось им узнать на этом пути. И за все приобретенное — платить утратами.

В городе у Пилы украли последнюю собственность — лошадь. Остались подлиповцы совсем неимущими, только рабочие руки, готовность к самому тяжкому труду да природная смекалка,— вот и все, что теперь было в их распоряжении. Побывали они для начала в остроге, потом на солеварнях, добрались до одного из уральских заводов, откуда сплавляли барки с металлом, а потом, нагрузив их хлебом, волокли обратно против быстрого камского течения.

Как ни худо пришлось подлиповцам в городе, но даже в тюрьме им казалось лучше, чем в деревне, особенно тогда, когда их отправляли работать в подворье городничего. «Дни эти были блаженные для них» — потому что впервые в своей жизни они были сыты: «их кормили щами, жарким и даже кашей». И при этом — никакого беспокойства о семье Пилы: его жена Матрена с детьми тоже хорошо устроилась «у одной нищей за пятнадцать копеек в месяц». А деньги за постой «собирали ради Христа».

Месяц городской жизни изменил подлиповцев неузнаваемо. Новые сведения и понятия входили каждый день в их сознание. Узнали они больше, чем за всю предшествовавшую деревенскую жизнь. Знание меняет человека — в этом Решетников был убежден. И меняет к лучшему. Главное в их духовных приобретениях — это зачатки социальных представлений. Мир они воспринимают теперь не как однородное собрание равных перед богом людей, а как социально неравноправное общество. Конечно, они и раньше догадывались об этом. Но теперь, когда им такие же бедолаги сказали, что мир делится на богатеев и бедноту, это «нутряное» предположение приобрело в их глазах вид неоспоримой истины.

Мы сказали бы теперь: они стали уяснять для себя социальные законы общественного устройства и развития. Очень приблизительно, как бы ощупью, сталкиваясь с реальными противоречиями на каждом шагу. Но именно в этом и проявилось социальное просвещение подлиповцев. Соприкосновение с городом просвещает крестьян — таков вывод Решетникова.

Сделав первый шаг, Пила и Сысойко делают и второй: теперь им «опротивела не только деревня, село, но даже и город, и они задумали, как выпустят их, тотчас же идти бурлачить». И опять Решетников показывает своих героев на широком социальном фоне, чтобы подчеркнуть неслучайный характер нового поворота в их судьбе. Выходцы из разных деревень сбиваются в стихийно сложившуюся артель ради достижения общей для всех цели. Так закладывается основа социальной солидарности.

Толпа будущих бурлаков двинулась к заводскому Уралу. Шли по запутанным дорогам вятичи, пермяки, вологодцы и крестьяне из других нищих, голодных, бесхлебных деревенек северо-восточных губерний России. Среди них брели оборванные донельзя Сысойко с Пилой, его сыновья Иван с Павлом и жена Матрена в рваном полушубке, в дырявых лаптях, с плохоньким

платком на голове, подпоясанная веревкой,— «и за пазухой ее сидел трехгодовалый Тюнька».

На солеварне осталась она. По дороге, на сплаве, в одном из камских городков, потерялись Иван с Павлом. На обратном пути лопнула бичева, на которой бурлаки тянули барку против течения, хлестнула тяжким бичом, и, зашибленные тяжко, умерли Пила и Сысойко. В самом начале оборвалось их духовное воскресение. Трагизм положения своих героев Решетников изобразил с видимой бесстрастностью, лишь оттенив отдельные горестные эпизоды. А. М. Скабичевский, воспроизводя мнение первых читателей «Подлиповцев», верно отмечал: «Вышло нечто в русской литературе небывалое: не повесть, не рассказ, к каким публика привыкла, а в полном смысле протокол, хотя и слышались в каждой строке затаенные слезы. Ужасом преисполнились сердца всех народолюбцев при виде поразительных картин нищеты подлиповцев... Никто не воображал, что в недрах богоспасаемой России могли существовать дикари, подобно неграм Северо-Американских штатов, обращенные в вьючный скот».

В самом деле: это был обвинительный протокол против существующего строя. Решетников обронил мимоходом страшное замечание: деревенская беднота бежит потому, что «им надоела своя родина», потому что они где-то за тридевять земель мечтают осесть на плодородных нивах, вдали от начальства, в довольстве и на свободе.

Вследствие исторических обстоятельств в русской литературе после Пушкина и до 1917 года преобладала так называемая д в у п л а н о в о с т ь повествования. На первом, видимом плане, в словесном изложении, раскрывалось то, что цензура не могла запретить на основе узаконенного устава. А во втором плане как бы само собой возникало подчас взрывчатое содержание, которое читатель научился «вычитывать между строк».

В повести Решетникова читатель многое вычитывал между строк, опираясь на авторские намеки. И в первую очередь читатель осознавал: ведь такие же, как подлиповцы, русские крестьяне строили города, дороги, дворцы, церкви, монастыри, барские усадьбы и немногочисленные университеты. Брали их в рекруты — и они героически сражались под Бородином, освобождали Европу от тирании Наполеона, защищали Севастополь. В благосостоянии народа — сила и надежда России. Мировая держава в неоплатном долгу перед нищим подлиповцем.

Лишь в эпилоге Решетников бросил светлый луч на мрачную картину: он кратко обрисовал положение Ивана и Павла. Они не погибли, а пристроились работать на пароходах, поразивших их воображение, стали кочегарами. Раскрестьянивание кончилось: Иван и Павел перешли в другое сословие — они теперь рабочие. И духовное воскресение их подвинулось еще на один шаг: они научились читать, перед ними раскрылся широкий мир,— им кажется, что они на вершине счастья в сравнении с обитателями Подлипной. Они жалеют своих односельчан, погибающих от голода и невежества.

Отсюда — один шаг до готовности помочь другим угнетенным. Сделают

ли они этот шаг — осталось неизвестным. Решетников не стал выдвигать собственных пожеланий, а ограничился изображением того, что он видел в окружающей действительности. Русский читатель той поры мог досказать недосказанное Решетниковым, дорисовать картину, опираясь на изображение будущего в романе Чернышевского «Что делать?».

* * *

Роман «Горнорабочие» Решетников написал по впечатлениям своеобразной «творческой командировки» из Петербурга на Урал летом 1865 года. «Был я на четырех заводах, находящихся в Пермской губернии,— записывал он.— Работал на Мотовилихе в литейной фабрике, да чуть меня не зашибло воротом. Работать можно ночью, в крестьянской одежде; я работал под именем семинариста, готового поступить хоть в рекруты».

При поддержке Некрасова роман был опубликован в 1866 году, в первом номере «Современника» (первая часть). После закрытия журнала, после неудачных попыток Решетникова продолжить печатание в других изданиях, после утери рукописи, роман «Горнорабочие» остался в виде одной части из двенадцати сравнительно небольших глав. Впрочем, это не повредило его цельности. Бывают такие внешне недописанные произведения, в которых сюжетное действие фактически уже исчерпано, а замысел автора полностью раскрыт.

Так и в романе «Горнорабочие» исчерпано сюжетное действие, связанное с изложением судьбы рабочей семьи Токменцовых. Надо признать, что здесь Решетников не самым удачным образом втиснул подлинно новаторский материал в традиционную форму семейно-бытового романа. Вследствие этого значительная доля социального содержания осталась как бы за кадром, в отступлениях, в своеобразных «производственных», как сейчас принято говорить, микроочерках и заметках, не образовав такого поистине эпического фона, как в «Горнозаводских людях». Но сделано им было, пожалуй, главное: впервые в русской литературе в центре внимания романиста оказалась рабочая семья.

Кто его герои? Рабочий Гаврила Иваныч Токменцов, его женаОписья Кириловна, дочь Елена восемнадцати лет, сыновья Пашка и Ганька. «Гаврила Иваныч Токменцов,— поясняет автор,— как и другие его товарищи, принадлежал наследникам Граблева и назывался непременным работником, как назывался и покойный отец его и как будут называться и дети его».

Работал он с детства, с двенадцати лет — как и все в его сословии. Повзрослев, попал на шахту, работал на глубине пятнадцати сажен, в грязи и сырости: «Темно, душно, сыро, дышится тяжело». Одет худо: фуражка с двумя заплатами «из серого и зеленого старого сукна», зеленый тиковый халат, продранный и мокрый от дождя, худые сапоги. «По русым волосам течет дождевая вода с фуражки», борода мокрая, бледный, худой — таким он появляется в начале повествования: отбыв очередную повинность на шахте, он возвращается домой.

Что его там ожидает? Семейство оказалось на грани развала, и все дальнейшее повествование изображает картину неотвратимой гибели. Решетников пишет: «В отсутствие Токменцова сына его Павла, шестнадцати лет, называвшегося по-заводски подростком, взяли хворого на рудник и там за какую-то вину наказали розгами так, что он на четвертый день умер. Узнавши об этом, мать и пошла к управляющему (жаловаться.— *С. Ш.*), но ее за грубые выражения наказали розгами. Теперь она отправлялась с жалобой к главному начальнику горных заводов».

В доме остался тринадцатилетний Ганька, который уже успел приучиться курить, да дочь Елена, за которой приволакивался «столоначальник главной конторы Илья Назарыч Плотников» и которая не устояла перед первыми в ее жизни ухаживаниями и любезными словами. В сущности, и ее жизнь загублена. А сам Гаврила Иваныч Токменцов в очередных отработках на шахте попал под обвал и умер в госпитале.

Эта семейная трагедия оттенена мрачным пейзажем. «Осень еще не начиналась», стоит июль, но беспрерывно льют дожди, кругом слякоть, дуют промозглые ветры, «от холода желтеют листья березы, желтеет трава». Дрожат коровы на лужайках, «вздрагивает от ветра, холода и дождевых капель» воробей на ветке, и даже сорока злобно смотрит по сторонам. И лишь одно ироническое «украшение» в этом пейзаже, задавшем тон повествованию: «Большие красные черви... нежатся на мокрой траве».

Часть материала, заготовленного для «Горнорабочих», Решетников использовал в новых своих романах и повестях: «Глумовы», «Между людьми», «Где лучше?», «Свой хлеб». Кроме того, им было написано большое число рассказов и очерков, которые он в дневнике называл «статьями». Не все оказались удачными. Да и не все свои замыслы Решетников успел осуществить. Безденежье обрекало одаренного писателя писать второпях, а некоторые редакторы не удосуживались предложить ему на просмотр верстку без него правленных и в его отсутствие переписанных и набранных произведений.

* * *

В рассказе «Внучкин» (1866) получил воплощение новый для той поры социально-психологический тип. Это российский капиталист, который вышел из низов, начал чуть ли не с нуля и превратился не просто в богатого купца, а в предпринимателя, ворочающего крупными делами. Персонаж Решетникова стоит в одном ряду образов, созданных русскими художниками от Островского и Салтыкова-Щедрина до Чехова и Горького. Его Внучкин сродни Дерунову, Колупаеву, Разуваеву, Василькову, Лопахину, старшему Гордееву, Вассе Железновой, основоположнику рода Артамоновых.

Воспитывал сироту Внучкина его дядя по отцу, сельский писарь, мошенник и плут Кузьма Еремеич. Василий Внучкин хорошо усвоил преподанные ему уроки и стал плутом почище своего наставника.

Решетников блистательно — в духе Бальзака и Гоголя — раскрыл механику плутовства и обогащения на низшем уровне российской бюрокра-

тии. Василий Внучкин грабит, вымогает, ворует на почти «законной» основе. В этом «почти» вся суть: приписал, дважды продал, сорвал хоть грош с рабочего, крестьянина, старосты.

Плутни на бумаге дали Внучкину начальный капитал, а далее он пускает деньги в оборот, участвуя в производстве. Он входит в новое правящее сословие, охраняемое законом после реформы 1861 года: это капиталист в широком смысле слова — заводчик, фабрикант, пароходчик, подрядчик, строитель железных дорог, оборотистый делец, готовый скупать, перепродавать, вырубать леса и т. п. И Внучкин тоже приобретал новые права, власть, экономическую силу, участвуя со своими собратьями по классу в общем деле: нанимал, подкупал, проворачивал махинации, покупал пароходы, разорял конкурентов, выколачивал прибыль из чужого труда.

Объективно он вроде бы содействовал прогрессу посредством капитализации крепостнической России: он вовлекал в производство трудовые ресурсы народа — разумеется, ради собственной выгоды. Однако симпатий у писателя герой не вызывает. Антибуржуазность вообще была свойственна Решетникову. Понимая неизбежность капитализма в России, он принимал его как неотвратимое зло на пути к полному освобождению народа. Кстати, это убеждение отличало его от писателей-народников, последовательных в своем «непризнании» капитализма и в бесплодных попытках «остановить» его наступление.

* * *

В основу рассказа «Филармонический концерт» положен случай из жизни самого писателя, приведенный в вышеупомянутой статье В. И. Ленина. По стилю — это вполне законченное произведение типа сценки или зарисовки с натуры. Но это не умаляет его идейно-художественной значимости. В повествовании Решетникова отчетливо обозначен нравственный суд над российской действительностью.

Какой? В чем он проявляется? И разве не творил суд писатель-демократ в других своих произведениях? Конечно, он и раньше осуждал всяческий произвол и любые проявления социальной несправедливости, но обычно не затрагивал политических проблем.

Здесь же Решетников в случайном по видимости происшествии коснулся главного вопроса той поры. Самодержавие отменило в 1861 году крепостное право. «Царь-освободитель» Александр II дал народу «волю». Но что изменилось в России? Изменилось ли самодержавие? Стала ли власть «гуманной» и соблюдает ли она права народа — ну, хотя бы право на свободу от битья, от физических наказаний?

Ничего не изменилось! Так утверждает Решетников. Частный как будто бы случай обобщается и свидетельствует о том, что произвол над народом — это и есть основная функция самодержавного государства. Полиция по малейшему поводу хватает «провинившихся», не утруждая себя поисками и доказательствами вины. Полицейские возводят напраслину и нагло лгут. А их

начальники задают пример рукоприкладства. Уголовники в камере, куда отправляют «протрезвиться» задержанного, также издеваются над ним: они оказываются, в сущности, необходимым элементом в этой «школе» запугивания людей независимых и с чувством собственного достоинства. Закономерно, что «Филармонический концерт» возбуждал у читателей той поры не только сочувствие к угнетенным, но и ненависть к угнетателям.

* * *

Творческое наследие Решетникова пережило свое время и сохранило силу художественного воздействия до наших дней. Это объясняется многими причинами. И в первую очередь тем, что оно воспитывает в читателе активный гуманизм, вызывает сопереживание и сочувствие русскому народу, перенесшему тяжкие испытания в борьбе за свободу.

Изображая страшную действительность шестидесятых годов XIX века, Решетников сохранял веру в общий для русских демократов идеал: он верил, что освобожденный и просвещенный народ России осуществит полное преобразование общества, изменит свой быт, свой труд и создаст справедливый строй.

История подтвердила ожидания Решетникова: его идеал был осуществлен народами нашей страны после Октябрьской революции. Читая его произведения, можно с особенной наглядностью представить величие наших достижений.

С. Е. Шаталов

ПОДЛИПОВЦЫ



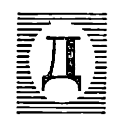
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
(ИЗ ЖИЗНИ БУРЛАКОВ)
В ДВУХ ЧАСТЯХ

Посвящается
Николаю Алексеевичу
Некрасову

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПИЛА И СЫСОЙКО

I



еревня Подлипная очень непривлекательна на вид. Она состоит из шести домиков, построенных по левую сторону дороги, идущей от других деревень, и разбросанных по неровной местности так, что один домик стоит выше другого, другой около дороги, а третий и прочие пятятся к лесу. Домики эти, четыре с крышами, два без крыш — с соломою на потолке, с слюдою в оконных рамах, с стайками и плетушками, огорожены так: вколотили в землю несколько тонких березовых кольев, да и связали за них, параллельно к земле, где по две, где по три березки, и назвали плетнем. Ворот в Подлипной вовсе нет. Добро бы лесу не было, а то кругом деревни лес высокий и густой, все береза да сосна, можно бы э-во какие дома построить и заплоты дощаные с воротами сделать... «А пошто? — спросит подлиповец, не понимая.— А и так можно баско!» За дворами не видится риг или зародов сена, нет огородов с овощами. Только направо заметны гряды с капустой, морковью и преимущественно картофелем.

Самая местность тоже непривлекательна, хоть зимой, хоть летом. Против домиков, через дорогу, за грядами, большое поле, ничем не огороженное, потом лес, а в левой стороне тоже поле, а за полем тянется большое болото, поросшее мелкими кустарниками березы, ели или липы. Летом

досадно становится, как посмотришь на поля: земля кое-как вспахана, кое-где на засохших кочках видится травка, да разве две-три лошади шатаются по полю, да и то недолго: они идут в лес, там больше травы. «Пробовали,— сказывают подлиповцы,— уж как вспахивали землю: и поздно и рано, да проку нет. Вспахаешь — стужа настанет, либо дождь, потом жара: все окоченеет, а там дождь, иней, снег... Пробовали и за хлебушком ходить, да все не в толк: только начинает созревать хлеб,— баско! вдруг дожди, заморозки, снег... Поплачешь, погорюешь, да и скосишь травку божью, измелешь и ешь так с горячей водой, либо настоящей мучки смешаешь, али коры осиновой, либо липовой наскоблишь...» Зимой частые ветры да вьюги по полю, снега большие до пол-окон заметают домики, а которые ниже, то и до крыш, а дороги и след простыл.

Мало в этой деревне видится жизни. Летом еще можно увидать мужчину или женщину, или ребят на поле или около домиков, но зато не слышится веселого говора, не слышится песен, у всех точно какое-то горе, какое-то болезненное состояние. На что дети — и те резвятся как-то словно нехотя: побежит, упадет, заплачет и побежит домой; даже лошади, коровы и свиньи ходят как-то сонно; одни только девять куриц да два петуха бегают скоро, и воздух оглашается криком крестьян на животных, лаем одной собаки, единственного деревенского сторожа, уцелевшей каким-то чудом от бойни хозяина, желавшего употребить ее шкуру на шапку, криком кур, маленьких ребят да чириканьем коростелей в болоте... Зимой еще хуже. Тогда все дома точно погребены снегом, на дороге целую неделю не видать следов человеческих, все как будто спряталось, только кой-где корова промычит да рыщет по полю собака. Так вот и кажется, что люди вымерли или напала на них спячка.

В самых домах тоже не лучше. Самое худое время — это зима. Везде бедная обстановка, нечистота, плач и стоны; половина лежит, половина сидит молча или что-нибудь делает, ругая работу, ругая себя и все окружающее. Словно всем им жизнь опротивела, все чем-то мучатся, всем постыл свет божий... А есть между ними и молодые ребята и молодые девушки; правда, нет красивых, но все-таки и у них есть своя зазнобушка, тоска невыносимая, зависть лютая...

Живут в этой деревне государственные крестьяне Чудиновской волости, Чердынского уезда, бедные люди, каких много в северной части этого уезда, но еще беднее прочих крестьян. У крестьян прочих деревень есть какая-нибудь

промышленность, природа дает им что-нибудь для сбыта, а эти просто держатся словно чудом. Уж как они ни возделывали землю, как ни молились своим пермякским богам, чтобы хлебушко свой был,— нет ничего. Просили они и попа сельского помолиться его богу — и тут не помогло. Так и бросили поле, и вот уже второй год, как поле стоит нетронутым и дает только небольшую травку животным. Купить хлеба подлиповцам не на что. Положим, они нарубят леса, но куда везти? город от них в ста верстах. Положим, скосят в лесу траву, и можно будет излишек продать; опять-таки город далеко, а в других деревнях и селах свое сено, свои дрова и свой лес — каждый бы сам продал. Вот они, сделав кадки, наберухи, лапти, везут это на продажу в город, но там и без них много таких горемык, как подлиповцы, и всякий сбывает за бесценок, лишь бы хлебушка купить. Занимаются они и стрелянием рябков, ходят на медведей, но на порох надо деньги, а медведя хоть и можно убить ломом чугунным или чем иным, так медведей ныне мало. Сбыта очень мало, и редкий много-много получит в лето или зиму рубля три. От этого у них явилась апатия, все они потеряли надежду на сбыт чего-нибудь, и редкого вытащишь из его избы...

Каждый мужчина взрослый и женщина или девушка носят по одной рубахе круглый год, ходят летом в рубахах, зимой надевают полушубок из овечьей, телячьей и собачьей шкур, мужчины надевают на голову такие же шапки, а лапти носят все, кроме детей, которые едва-едва прикрывают тело чем-нибудь. Это еще ничего, но самое главное — пища мучит всех. Настоящий хлеб едят редкие с месяц в год, остальное время все едят мякину с корой, и от этого у них является лень к работе, болезнь, и часто все подлиповцы лежат больные, сами не зная, что с ними делается, а только ругаются и плачут. Надо заметить, что и в Чердыни хлеб слишком дорог, потому что его привозят туда только зимой из других городов или доставляют на судах бичевники летом из Вятской губернии — из Сарапула или Елабуги.

Подлиповцы уже привыкли к такой жизни, свыклись и с своими болезнями. Они знают, что помочь им некому; даже самые люди против них. Все они, жители своей деревни, родня друг другу — отцы, братья, сестры, кумовья и кумушки; родни у них много и в других деревнях, но те не любят их, не знаются с ними, потому что и сами-то они голые и от подлиповцев нечего взять. С своей стороны и подлиповцы не любят их и не ходят к ним. Подлиповцев не любят жители других деревень еще и за то, что подлиповцы своей пермякской веры держатся, слывут за ленивых, самых бедных, и их

называют колдунами: захочет подлиповец посадить килу (грыжу) — посадит, захочет, чтобы такой-то умер,— умрет.

Зачем же подлиповцы живут тут? — спросит читатель. Подлиповцам не растолкуешь этого, они сами не знают, откуда они взялись. Известно только некоторым из других деревень крестьянам, что сюда, когда еще не было поля и не было ни одного дома, давно переселился один крестьянин-зверолов из какой-то соседней деревни. Ему хотелось жить одному с своим семейством, так как он перессорился с своими однодеревенцами. Он построил дом и жил с женой и детьми несколько лет, не сообщаясь с прочими крестьянами. После его смерти два сына женились и построили еще два домика, дочь вышла замуж в другую деревню. Таким образом люди расплодились до тридцати человек и живут теперь в шести домах. Сначала они находились под управлением старших лиц в семействе, и к ним не заглядывало никакое начальство. Понятия их были такие: есть какой-то бог, а какой, и сами не знали, и только по преданиям своих отцов справляли свои праздники, молились чучелам. О существовании земли они знали только то, что земля дает пищу, да в землю покойников зарывают. Увидят они, что солнце ярко светит, и думают: это бог, молятся ему; светит ли ночью луна — тоже бог; и дождь, и снег, и молния — все бог. Знали они, что есть город Чердынь, только потому, что бывали там, а есть ли еще за Чердынью что-нибудь — дело темное. В городе они видели разных людей, но никак не могли понять, что это за люди; этих людей они боялись, не верили им и только ездили туда затем, чтобы сбыть необходимое для обмена на пищу. Но вот начальство заглянуло к ним: деревню их назвали Подлипною, обложили всех их податью, стали брать по одному в рекрута, приехал к ним священник и стал уговаривать принять православную веру. Подлиповцы ничего не понимали, никого не слушали и хотели разбежаться, но струсили: приехал становой пристав, обласкал всех; подлиповцы смирились, испугались, исполнили все, что от них требовали, и с тех пор так боятся станового и попа (название, данное подлиповцами священнику), что при появлении того и другого прячутся в домиках и запирают двери. Сколько священник ни толковал им о боге, они не хотели понимать; хотя имели образа, но прятали их под лавки и вынимали, когда являлся священник; окрестившись, они, из боязни, стали отдавать крестить детей; венчались сначала по-своему, потом ехали в село к попу, везли к нему покойников... Ничего бы этого они не делали, да священник становым их пугал, а подлиповцы помнят станового, как он, когда в Подлипной умерло с го-

лоду шесть человек, обласкал не только мужчин, но и женщин, сам не зная за что; а отрывши в лесу мертвое тело, увез главных стариков в село, потом в город, и с тех пор подлиповцы не видели своих стариков. Причта они еще и потому боятся: хотя он живет в селе, за пятьдесят верст, но как приедет в Подлипную, то дьячок непременно уведет самую лучшую корову или лошадь и продаст, а подлиповцы молчат, думают, так и надо, хотя и горько им и обидно; а не дашь, становой приедет.

При своей бедности подлиповцы постоянно в долгу; с них требуют подати, но им негде взять денег, и на них растут недоимки с каждым годом.

Неужели они не умеют работать? Подлиповец, родившийся в Подлипной, проживший в своей деревне детство и имея взрослых детей, умеет делать то, чему научили его отец и родня: он умеет дом построить; но заставьте его, читатель, построить дом в городе, он вам построит так, что вы и посмеетесь над ним и прогоните его. Отчего? Оттого, что подлиповец строил для себя дом по своему умению, собственно с тою целью, чтобы ему была защита от холода, дождя. Понятно, ему никаких удобств не надо. А вы любите, чтобы дом ваш был теплый и существовал долго, чего подлиповец не сумеет сделать. Заставьте вы подлиповца печь скласть, он вам складет по-своему. У себя дома он сложит печь, как ему отец передал: «Эй ты, цуцело, подь тамока... Где каменья увидишь — волоки». Сын притащил каменья. Достали из ручейка воды, вскипятили, разварили с глиной... «Мастюжь!» — кричит отец и сам работает. Через два дня печь готова, а через год она проваливается, нужно класть снова... Но растолкуй этим людям как следует, по-человечески, что нужно делать, они примутся и сделают еще крепче городского мастера. В этом я ручаюсь. Есть в Перми один печник. Он кладет печки дешево; но если склал, так печь и тепла всегда, и угара нет, и крепка. Его призывает только бедный класс, но богачи, само собой разумеется, надеются на архитектора — и поправляют печки через пять лет, а некоторые и раньше. Господин этот из Подлипной, только подлиповцы думают, что он без вести пропал или его медведи заели. Он был работником у одного печника шесть лет, теперь семнадцатый год работает сам, без работников, и имеет в Мотовилихинском заводе свой дом.

Подлиповцев нельзя винить ни в чем: они глупы, необразованны, но кто их вразумит, куда они пойдут?.. «Уж помру тожно, а тамока где уж!» Под этими словами можно понимать, что подлиповцам нравится своя деревня, а дальше — кто знает, что такое творится. «Уйти из Подлипной?

куда пойдешь? Вон ушел из Подлипной Митюк Ковычка, еще молодой, и жену с двумя детьми оставил, да так и пропал. Поди тамока, и тю-тю!.. Пошел Терешка Вятка куда-то лес сплавлять и утонул, сказывают. Мишка Гайва ушел в город какой-то, да так и пропал...» Все это напугало подлиповцев до того, что они замкнулись в своей деревне и живут посвоему, как живется: ведь растет же дерево, живут же лошади и коровы... Знают подлиповцы, что без жены неловко, надо бабу — и живут с бабами. Про идеальную любовь они вовсе не знают, у них своя любовь: играли вместе, вместе росли, вместе и жить надо. Так и делается в Подлипной. Умрет тот или другой, они хотя и думают, что так и надо умереть, но им обидно, досадно, что умер такой-то, что опять надо к попу ехать венчаться. О любви подлиповцев я расскажу в следующей главе. Досадно им: зачем дети родятся от них, и с маленькими детьми обращаются, как люди с котятами; одни только матери немножко присматривают за детьми. С пятилетнего возраста дети растут на произвол судьбы...

Подлиповцы говорят по-пермякски. Плохо понимая наши слова, или хотя и выговаривают их, но в исковерканном виде. Выговор их походит на выговор крестьян Вятской и Вологодской губерний.

II

Ноябрь месяц в начале. Зима свирепствует немилосердно, как будто все зло свое хочет выместить над Подлипной и ее обитателями. Утро. Холод в тридцать градусов; ветер свистит по полю; деревья скрипят; верхушки их то и дело с шумом пошатывает направо и налево, и впрямь и вкось. Ветер рыщет по полю и гонит снег как назло к самым домам, до половины уже занесенным снегом. Дороги вовсе не видать — она сравнялась с полем. Больше всего достается крайнему домику, без крыши, с одним окном, со слюдою в рамах, до половины заваленному снегом. Ветер так и рвет с домика что ему под силу: вон доску, высунувшуюся с потолка, оторвало; вон посыпались высунувшиеся из-под снега каменья, составляющие трубу; вон четверть крыши со стайки оторвало; вон и слюда треснула в одной раме — пошел ветер гулять по избе... Ни одного человека не видно; не видно и животных, даже собака куда-то спряталась... Но вот вышел из одного дома крестьянин, в полушубке из овечьей и телячьей шкур, в шапке из такой же шерсти, с длинными ушами, в огромнейших собачьих рукавицах, в синих нанковых штанах и в лаптях. Он уже не молод; ему годов сорок.

— Эко диво! — сказал он, сторонясь от ветра. Ветер и стужа его злили.— Как пойдешь? гли, что диется...— Он начал шагать и тонул в снегу.— Эк испугались! Врешь! Ишь ты, цуцело, околи́ть бы те! — Он плюнул.— Да будь ты проклят, черт! — Крестьянин дошел до крайней избушки и вошел в нее. В избе холод страшный, ветер так и дует в окно сквозь раму; против окна снег на полу, на столе и на лавке. Изба очень бедна; кроме стен, стола, скамейки да одного худого лаптя, валяющегося среди пола, и небольшого корыта с корой и двумя большими ложками, в ней ничего не видно... Только на полатях да на печке кто-то стонет.

— Эй вы, цуцелы? Померли али нет?..

С полатей раздался стон.

— Ошшо живы! — сказал он весело.

— Пила, поди сюда!..— сказал с полатей мужской голос.

Вошедший, бросив на пол рукавицы, не торопясь полез на печь. На печке лежала старуха.

— Скоро помрешь? — спросил он ее с участием.

Старуха стонала. На полатях лежал Сысой Степанович Сысоев, прозванный по-подлиповски Сысойком. Ему двадцатый год, но он худ и бледен. Он лежал в полушубке, в шапке, в лаптях и дрожал.

— Печку бы... пали, братан... А? Ишь стужа, витер! — говорил Сысойко.

— Ну уж и времена!.. На́ картошки! — сказал Пила и подал Сысойке четыре печеных картофелины.

— Я тожно — беда. Наутро...— Сысойко хотел объяснить свою болезнь и разжалобить Пилу, но не умел. Вдруг он спросил Пилу:— а Апроська?

— Апроська помират.

— А может, представляется?.. Не помрет?

— Кто ее знает. А канючит больно: подь, бает, к Сысойке, снеси картошки, да пусть, бает, придет молочка потрескать.

— Ох, не говори,— не могу, моченьки нет...— стонет Сысойко.

Пила молчал. Ему жалко было Сысойку и его мать, которая была больная, слепая и сумасшедшая.

— Истопить уж печь-ту! А где ребята-те?..— Пила слез с печки.

— В печке,— сказал Сысойко.

Пила подошел к окну, стал сгребать рукой снег с полу; постоял у окна, ветер дует; надо бы заткнуть, а чем? ничего нет такого. Он взял с полу лапоть, приладил его в раму, а ветер все дует.

— Нет ли чего затыкать-то?

— Нету, братанко,— сказал Сысойко.

— Да хоть рукавиц, што ли, дай; жалко!.. Черт!! успеешь околеть-то... Боров! лежать бы все... Чуча!

Сысойко сбросил с полатей рукавицы и шапку. Пила затыкал ими раму; ветер перестал дуть, зато в избе темно сделалось.

Пила пошел на улицу: ветер все дул. Пила отскреб немного снегу от окна рукавицами и пошел искать дров около стайки, в которой лежала лошадь, не евшая ничего два дня. Пила долго удивлялся ветру: «Экой какой, сила какая!.. Эвон что разворочал». Он достал с потолка стайки сена и соломы, снес их лошади.

— Ужо я овсеца тебе принесу... Скотинка ты, скотинка экая! — жалобно говорил Пила, смотря на лошадь, как она принялась охобачивать сено и солому.

Гаврило Гаврилыч Пилин, по-подлиповски Пила, был человек добрый, пробойный и работящий. Он один из подлиповцев понял, что, ничего не делая, жить нельзя; он как-нибудь старался приискать себе работу, сбыть ее, а главное, услужить своим подлиповцам. Назад тому год Пила постоянно стрелял дичь и сбывал ее в городе, хлеб у него водился; но как-то раз утопил ружье в реке, сам простудился и, пролежав два месяца, обеднел до того, что ему с семейством привелось есть кору, а корове и лошадям вовсе нечего было есть. Оправившись после болезни, Пила насобирал у подлиповцев наделанных кадок, кузовков и лаптей, отправился за больных продавать в селе и городе. У Пилы в городе был знакомый хозяин постоялого двора, а он через посредство его находил себе покупателей. Он и раньше возил вещи, но теперь постоянно стал заставлять подлиповцев работать, и для него ничего не значило съездить за сто верст: он одну половину денег отдавал крестьянам или покупал муки, а другую брал себе и покупал для себя пищи. Если в городе ничего не покупали, Пила шел собирать ради Христа и потом делился с подлиповцами. Своим подлиповцам он помогал чем только мог. Бывало, скажет подлиповцам: «Чего сидите, робь; я буду робить»,— и подлиповцы работают с Пилой, нет Пилы — подлиповцы лежат. Скажет подлиповцам: «Смотри, траву надо косить»,— здоровые идут косить, а не скажи Пила, что траву надо косить, подлиповцы не догадаются. Все подлиповцы любили Пилу, и каждый спрашивал его совета или просил полечить, так как Пила лечил больных травами, хотя сам не понимал никакого толку в травах. Мысль лечить травами пришла ему в голову тогда, как он

увидел в городе крестьянина с травами. Пила не понимал, для чего крестьянин травы продает. «Это што?» — спросил Пила крестьянина. «Это лекарствие». Слово «лекарство» для Пилы было новостью; ему показалось, что это что-то баское. «А как это делают?» — спросил он крестьянина. «Да так. Коли кто захворает, ну и пьет траву, коя идет на такую болесть. Тут всякие есть: затрясет тебя, лихоманка забьет, брюхо заболит, ну и лечатся такой травой».— «Лиже ты! А где они растут?» — «В лесу да в болотах...» Вот Пила и стал собирать летом в лесу да в болоте разные травы с цветочками, вырывал с кореньями и лечил подлиповцев. «Ну-ка, съешь эту травку, хворать не станешь»,— говорил Пила больному. Больной ел, и ему становилось либо лучше, либо хуже, и все-таки все просили у Пилы травы. Пила давал, не требуя за это ничего. Священник требовал, чтобы крестьяне непременно крестили детей, везли в село умерших, венчались; первое подлиповцы не исполняли до тех пор, пока священник не приезжал сам за сбором; за умерших они боялись и везли все покойника в село; свадьбы венчались редко: подлиповцы жили до тех пор, пока опять не приедет священник за сбором; а как приехал — беда. «Возит с собой штуку какую-то (метрическую книгу) и давай читать да пугать — беда!» — говорят подлиповцы и едут венчаться в село, но только с Пилой. Причт просит денег либо масла за свадьбу, и Пила пойдет сбирать ради Христа, жениху и невесте велит то же сделать, и, насобирав чего-нибудь, идут к причту. Все подлиповцы удивлялись Пиле: как это он всегда успевает, все умеет сделать, всегда весел и редко хворает, даже и с семьей его ничего не делается. Поэтому его прозвали колдуном и боялись. Пила никогда не был колдуном, но слово это его забавляло.

Пила уж третью неделю не выезжал из деревни. Все подлиповцы сделались больны от мякины и коры; продать нечего; дочь Пилы, Апроська, тоже захворала, жена его Матрена и парень Иван третьи сутки не встают. Пила не знает, что и делать, кому и как помочь,— травы его не действуют; надо бы купить муки да уехать. Пила боится: как да все без него помрут? Наконец, и у Пилы не стало муки, и он принялся мешать в мякину кору, и его тошнить стало. Хорошо еще, у него картофель есть да корова дает немного молока: для себя достает, а если другим уделишь — у самого ничего не будет. «Экая беда! — думает Пила,— что теперь делать — не знаю. Уедь я — все помрут, и Апроська, и Сысойко...»

Жена Пилы, Матрена, была такая же, как и прочие подлиповские женщины, часто хворающая, но несколько крепче

прочих: она скоро выздоравливала. Работы у Матрены никакой не было, кроме того, что она доила корову. Она спала и во всем надеялась на мужа. Пила на нее смотрел, как на какую-то потребность, часто возил он ее с собой в лес и в город, приучал к какой-нибудь работе, но Матрена ничего не хотела делать, за что Пила бил ее во время своей злости, как лошадь, чем попало.

Все дети их: Апроська девятнадцати лет, Иван шестнадцати, Павел четырнадцати и Тюнька трех лет — росли на произвол судьбы. Апроська была некрасивая девушка, худая, часто хворающая, ничего не делающая, как и мать. Отец бил ее, Ивана и Павла, как и свою жену, за то, что ему не нравилось; но Апроську Пила любил как будто даже более, нежели дочь.

У Апроськи на семнадцатом году был ребенок, но ребенок этот не дожил до приезда священника, и когда он умер, его зарыли в лесу. Теперь отец знал, что Апроська опять скоро родит, и знал, что ребенок будет от Сысойки.

На Ивана и Павла Пила смотрел как на работников, не позволял им сидеть даром, не верил их болезням. «Какая хворость вам, эким парням? Я вон прежде не хварывал»,— говорил Пила, когда парни лежали. Жалость к детям у Пилы была тогда, когда они уже ревели от боли. Пиле казалось неприятно это, жалко было ребят, потому что он бы мог замениться ими, и в то время он кормил их больше, насильно заставлял есть травы. Павел и Иван были забитые парни, умели нарубить дров, знали дорогу в село, но в городе никогда не бывали. Брат с братом жили так дружно, что никогда не расставались, работали вместе и старались отличиться друг перед другом. Начнет Иван плести лапоть, Павел тоже плетет лапоть и дразнит брата: «Уж тебе где смастюжить! то ли я! Смотри — как?» — «Эх, Пашка, не дразни! Ты смотри, как я делаю». Часто Пила посылал парней понаведаться к какому-нибудь подлиповцу; братья ходили вместе и проводили весь день в гостях. Если кто-нибудь работал, братья высматривали работу и дома старались сделать так же; если работы были обыкновенные у всех, они делали тут же, передразнивая и смеясь над девками и мужиками. С молодыми девками они обращались запросто, как с своей сестрой: передразнивали, щипали их за бока, ругали. Это была их любовь. Пила поговаривал женить Ивана и сговорил ему одну девку, Агашку. Иван стал ходить к отцу Агашки, по научению Пилы, которое заключалось в следующих словах: «Дубина ты, как я погляжу, не знаешь, што баско... Пора тебе с бабой жить...»

— А пошто?

— Дурень ты! говорят, будет баско.

Ивану казалось смешно, он чего-то пугался, однако скоро уже постоянно ходил к Агашке. Эта любовь продолжалась полгода. Павел узнал от брата, что с девкой жить хорошо, тоже нашел себе девку.

Сысойко живет рядом с Пилой, и дома их не отделены друг от друга даже плетнем. Сысойко был самый бедный в деревне и редко бывал здоровым. Отец его ходил на медведей с чугунным ломом и брал его с собой. Но медведей было мало, так что в год они убивали много медведя три. Мясо медвежье они ели, а шкуру продавали в село за дешевую цену. Тогда, при отце, можно было жить, но вот уже два года, как отца загрыз медведь, а Сысойко, бывший с отцом, хотя и убил этого медведя, но медведь исцарапал ему плечо. Сысойко едва-едва дошел до своей деревни, сказал о беде Пиле и вместе с ним повез отца в село, захвативши с собой и убитого медведя. Священник не стал хоронить отца Сысойки, а почему-то призвал станового пристава. Становой привязался к Сысойке и Пиле, говоря, что не медведь загрыз отца Сысойки, а они уходили его и только для формы привезли медведя. Становому хотелось взять себе убитого медведя, и он взял-таки его и попросил священника отпеть покойника... С той поры Сысойко живет очень бедно: в лес бить медведей не ходит, стрелять дичь — пороху нет, продавать кадки и прочее не стоит, да и Сысойко умел только лапти плести. И вот Сысойко помогал в чем-нибудь Пиле, то есть вместе с ним искал лекарственную траву, ездил по нужде в село и в город, за что и пользовался от Пилы подачками хлебом и мясом; но так как он часто хворал, то и не мог всегда бывать с Пилой, и Пила навещал его. Пила и Сысойко так привыкли друг к другу, что по целым дням проводили вместе, ничего не делая, а лежа; если Пила хворал, да Сысойко был здоров, Сысойке казалось, что и он хворает, и наоборот. Пила и Сысойко в болезнях всячески старались угодить друг другу, а если Сысойко был здоров, то целую неделю жил у Пилы и спал на полатях с Апроськой.

Сысойко и Апроська росли вместе, но тогда у них были только детские отношения; такие же отношения были и тогда, когда Сысойке было восемнадцать лет, а Апроське шестнадцать, но скоро они уже изменились. С первого же времени молодые люди привязались друг к другу — обоим им было скучно, когда они не видели друг друга по неделям, а потому часто наведывались друг о дружке у Пилы и сходились — или Сысойко в доме Пилы, или Апроська в доме Сысойки.

Сысойке страшно опротивела жизнь в своем дому: каж-

дый день и даже ночь ревели его маленькие брат Петр четырех лет и сестра Пашка двух лет, которые мерзли с холоду и постоянно голодали. Эти маленькие дети, не умеющие еще выговаривать и ходить, постоянно лежали или сидели полунагие, одетые в несколько тряпок, сшитых наподобие мешков. На них не обращалось внимания ни Сысойком, ни матерью, которая, больная и сумасшедшая, постоянно лежала на печке и охала. Куда Сысойко ни посадит детей, там они и сидят, там и ползают. А если Сысойко садил их на полати, что случалось очень редко, то ребята то и дело получали колотушки... Он даже нарочно садил их на голый пол для того, чтобы они скорее умерли, нарочно не давал есть, думая, что они помрут; но ребята кричали с каждым днем хуже,— Сысойко злился, хотел их пришибить чем-нибудь, но ему было жалко, он чего-то боялся... Пила жалел детей и всегда приносил им что-нибудь; при появлении Пилы дети начинали плакать и махали ему руками. Сысойко, когда бывал здоров, по неделе не заглядывал в свою избу, а терся у Пилы или где-нибудь с Пилой; об сестре и брате и, наконец, о своей матери он не думал в это время; он рад был, что наконец-то нет их, не слышатся крики, не ворчит и не охает старуха.

Хотелось Сысойке жить у Пилы; да Пила говорил:

— Нет, брат, изба моя махонькая, куды же я тебя пущу с ребятами и матерью?

— Да я один...— напрашивался Сысойко.

— Уж не говори. Те ребята-то все же брат да сестра... Ну да хоть помрут, не жалко, а мать-то? Она, брат, родила тебя.

— А ты лучше живи там, да сюда ходи,— заметила Матрена.

Сысойке еще хотелось жить одному с Апроськой да с Пилой. «С Апроськой баско. Пила хлеб носит»,— думал Сысойко. Но где жить? В своем доме нельзя — мать и ребята; Пила не пускал, да у него и жена и дети. Долго Сысойко ломал голову на этот счет, да ничего не выдумал. Пила тоже думал: как бы устроить, чтобы Сысойке было лучше. Хоть и жаль Апроськи, и надо же ей жить с Сысойком, потому что поп так велит[1], да и от Апроськи будут дети рождаться: но где жить? Жить в его доме нельзя, потому что у него свое семейство, парни того и гляди приведут в дом по девке, а как поп велит им жениться, то и самому тесно будет. Отдать Апроську Сысойке, чтобы они жили в Сысойковом доме,—

[1] То есть велит венчаться. *(Примеч. автора.)*

там мать сумасшедшая, ребята ревут маленькие... Но до того, чтобы выстроить Сысойке избушку, Пила не додумался. Он на том и решил: уж пусть живут так, как теперь; а как помрет старуха Сысойкова да маленькие ребята, тогда и можно Апроську Сысойке отдать. А поп приедет, ну и венчать можно. И ребята пойдут от Апроськи, все же лучше, опять к попу можно съездить. «Только те не помирают. Уж померли бы скорее, пользы-то от них нет — только мука одна»,— думал про себя Пила и сообщал об этом Апроське и Сысойке, которые с своей стороны тоже соглашались в этом мнении с Пилой и стали ждать да ждать, чтобы те умерли...

III

Пила принес в избу Сысойки охапку дров. Бросив их на пол около печки, он заглянул в печку. Там лежали мальчик и девочка нагие.

— Эй вы, лешие! Вылезайте!.. спалю тожно...— кричал Пила.

Из печки не слышно было ни голоса, ни движения.

Пила потащил из печки за ногу мальчика. Мальчик был мертвый.

— Ишь ты! — сказал Пила и стал щупать мальчика.— Помер.

— Кто? — спросил Сысойко.

— Парень.

— Ну и ладно... А девка-то? — спросил Сысойко и высунул голову с полатей.

Пила вытащил за ногу и девушку. Она была мертвая. Левый висок ее был чем-то проломлен; лица ее незаметно было: все оно запеклось от крови, и на нем засох мусор от печки.

— Сысойко, гли! (смотри).

Сысойко плохо видел с полатей.

— А што, померла?

— Слеп ты, што ли? Гляди, убита!..

— Вре?!

Пила положил мальчика и девушку на лавку и долго смотрел на них жалобно.

— Слышь, Сысойко? Ты убил девку-то?

— А пошто?

— Право, ты?

— Цуцело ты, Пила! Што я медведь, што ли, эк ты! — Сысойко не стал и говорить больше, а спрятал голову в полушубок.

Пила нащепал березовой лучины, достал на трут кремнем огня, зажег лучину и стал смотреть в печку. В ней лежал большой камень, отвалившийся с неба печки. Теперь Пила понял, что не Сысойко убил девку, а этот камень сам отвалился. Только как же на парня камень не упал, а на одну девку?

— Смотри-кась, экой камень-то! — сказал Пила Сысойке, показывая ему камень.

Сысойко посмотрел и разинул рот от удивления, но ничего не сказал.

Пила склал в печку дрова, зажег. В избе сделалось светлее.

Пила опять подошел к ребятам. Жалко ему стало ребят. «Эх, голова-то как раскроена... Мальчонки, мальчонки! Жить бы вам долго, да што жить-то? Лучше, как померли. Вот, Сысойко, и померли ребята!..»

— Померли. Теперь я к тебе пойду.

— А мать?

— Помрет.

В это время простонала на печке старуха и что-то несвязно пробормотала. На это ни Пила, ни Сысойко не обратили внимания.

Пила стал рассуждать, что делать с ребятами. Зарыть их так — поп узнает, и тогда беда; ехать к попу — будет денег просить... Пиле хотелось ехать в село; у него не было хлеба, и он ждал только удобного случая ехать туда. Случай этот выпал — везти хоронить детей.

— Ну пошто ребят туда везти? Зарыть бы здесь в лесу, так нет ишшо, деньги давай,— сердился Пила.

Ты не вози,— сказал Сысойко.

— Ишь ты! Как наедет — лучше будет? Нет уж, свезу.

В избу прибежал Павел.

— Апроська зовет! ись, бает, хочу.

— А ты что? нету, што ли, картошки-то?

— Молока просит.

— Поди подой корову-то.

— Я доил, да нету молока-то.

Пила ушел в свой двор. Стал доить корову, у той не было молока.

— Родить тожно хочет,— сказал про себя Пила.

Пила ушел в свою избу. В его избе было немного чище и светлее. Отсутствие одежды и других вещей здесь было такое же, как и у Сысойки. На печи лежала Апроська, некрасивая худая девушка. На полатях сидели: Матрена, Иван и Тюнька. Все они ждали молока. Матрена жевала картофель.

— Ты ушел и утонул; дому хоть помирай...— ворчала Матрена.

— Чего помирай! Вон ребята Сысойковы померли. Сысойко, гляди, помрет, а старуха уж поди теперь померла.

— А Сысойко? хворат? — спросила Апроська.

— Сказано, помират.

— А молока принес?

— Где возьму? Вон корова-то родить тожно хочет, нету молока-то.

Матрена заворчала:

— Уж у тебя все так. Когда я дою, всегда молоко есть... Уж изленился ты совсем.

— Я те, стерво! Поворчи, што я тебя не отщепаю!

Пила ушел из избы рассерженный. Он пошел в третью избу, к соседу Морошке. Морошка был нездоров, нездоровы и дети. Жена его плела лапти.

— Нет ли продать чего? — спросил Пила жену Морошки.

— А ты в город?

— В город. Вон у Сысойки ребята померли; надо к попу везти.

— Ладно. Вон тамо лапти складены, возьми.

Пила взял две пары лаптей и пошел домой.

— Нет ли у те травки? — спросила жена Морошки.

— Как нету!

— Дай, родной!

— Ну, погоди, Пашку пошлю... А Агашка как?

— Ой, и не говори!

— Ванька у меня тоже... Вон с Пашкой ничего не делается...

Иван был жених Агашки.

На другой день Пила сделал ящик в виде гроба, положил в него два маленьких трупа, завернутые в мешки, заколотил ящик досками и повез на дровнях в село, вместе с двумя парами лаптей и тремя берестяными бураками от Морошки.

IV

В село Пила приехал ночью. Переночевав у знакомого крестьянина, он утром отправился к священнику. Известно, что в сельских церквах служат только по воскресеньям и в большие праздники. Так и теперь церковь была заперта, и к ней не было даже дороги проложено, то есть не заметно было следов человеческих с дороги. Священник долго не соглашался хоронить детей. Пила несколько раз ездил к

нему, и вот уже в пятый раз приехал к нему и ничего не дает. Священника это просто до слез проняло.

Он стал надевать худенькую, с заплатами, рясу.

— Вот что, Пила: ты в пятый раз ко мне приехал, а ничего не привез. Смотри, у меня на ногах-то лапти! — Священник был в лаптях. Пила в этом не видел ничего удивительного; ему смешно показалось.

— Тебе смешно, а мне плакать хочется. Вот уже шестой год живу здесь, а ничего не приобрел. Просил, чтобы перевели, да выговор получил.

Пила плохо понял.

— Так мне надоело житье с вами! Уеду я таки от вас.

— А ты уедь право! — сказал Пила.

— И уеду.

— А ты теперь уедь.

— Не пускают. Да и что толку в том, что я уеду! Пошлют другого на мое место, и тогда вам хуже будет.

— Ишь ты. А ты не поедешь?

— Не пускают.

Священник кликнул дьячка и послал его с Пилой в церковь.

— Пила, дай корову! — сказал Пиле дьячок.

— Ишь ты! А я-то как?

— Ты купишь.

Пила захохотал.

— А если не дашь, и отпевать не будем.

— А я сам зарою.

— Право, отдай... Были бы деньги, не стал бы просить. Вот у нас сынишко подрос, надо бы в училище везти да дать там смотрителю; а что я дам? — говорил дьячок, чуть не плача. Пиле сделалось жалко.

— Ты, Пила, не чувствуешь этого... Ты не поверишь: детей обучить надо, а детей-то шестеро да жена...— Дьячок плакал.

— Не ты один такой, ты на нас погляди: мы-то как живем!

Дьячок только рукой махнул.

— Ну-ко, Пила, открой гроб!

— А пошто?

— Так нельзя.

— Да ты уж совсем зарой, а то земля-то в глаза насыплется.

— Ну, открой. Тебе говорят, нельзя так... Кто тебя знает, что ты привез тут.

Пиле обидно стало.

— Цуцело ты, как я погляжу! Сказано, Сысойковы ребята.

— Хочешь, станового призову?

Пила струсил и открыл топором одну доску.

— Ты другую открой.

Дьячок раскрыл один мешок. Мальчик лежал лицом кверху; дьячок осмотрел его всего — мертвый. Жалко ему стало мальчика. Раскрыл другой мешок. Девушка лежала на животе. Стал и девушку осматривать дьячок и, как взглянул на лицо, с ужасом отступил.

— А, так ты так-то хочешь нас провести! Что это такое?

Пила испугался.

— Батшко, не я!

— Врешь! Кайся, разбойник!

— Ты не кричи,— эк испугались! Медведей бивал!

— Так ты еще запираешься? Сейчас станового призову.

Пила повалился в ноги.

— Батшко, не губи!.. Камнем девку-то пришибло в печке! Што хошь возьми... не губи...

— Рассказывай, как было!

Пила рассказал все. Дьячок верил и не верил. Он стал еще смотреть на лицо девушки: кажется, и камнем из печки пришибло, кажется, и другой кто-нибудь убил. Он затруднялся: поверить Пиле или нет?

— Не верю я тебе; я пойду к становому.

— Батшко, не губи! Я те все сказал... Што я, зверь, што ли?.. Сысойко хворат, старуха тоже... А эти в печке дрыхнули... Я так и увидел камень на лице-то.

— Целуй крест!

Пила поцеловал.

— Клянись, что не ты убил.

— Эх ты! Я вон и Сысойку спрашивал, он заревел только, жалко стало. А ты говоришь: убил, убил!.. Эх ты!.. Я вон только восемь медведев убил...

Дьячок опешил. К подобным выходкам он уже привык.

— Давай корову!

Пила опять повалился в ноги. Жалко ему было коровы, а как он да к становому пойдет?

— Не погуби, батшко!

— Так не даешь коровы?

— Не дам.

— Ну и не давай.— Дьячок пошел из церкви и, увидев постороннего крестьянина, позвал его.— Ступай, Семен, за крестьянами да позови станового.

— Батшко, не зови! Дам корову!..— кричал Пила.

— А не дашь?

— А дам, только станового не зови...

Дьячок сказал Семену, что станового и людей не нужно.

— Ну, теперь, Пила, ступай за коровой, а схороним после.

— Ты теперь зарой.

— Сказано, приведи корову.

— Варнак ты, варнак!..

В это время подошел пономарь с ружьем.

— Ну и погодка анафемская,— сказал он,— шел-шел и воротился. Порох забыл... Ах, будь ты проклят!..

— Вот что, Гаврилыч. Поедем-ка в Подлипную за сбором.

— Ну уж, черта два получишь!

— Ты посмотри вот на ребенка, что они делают.

Пономарь посмотрел на лицо ребенка.

— Ах ты, разбойник! Ах ты, мерзкая душонка! Сходить за становым?

— Нет, он корову хотел дать.

— Обманет, стерво!

— Обманет, тогда к становому уведем.

— Ну, Пила, молодец! Дьячку ты даешь корову, а мне дай лошадь!

— Я те дам лошадь.

— Что? — Пономарь схватил Пилу за бороду. Пила толкнул его так, что он упал на пол. Пиле смешно стало.

— Што? Я, бат, восемь медведев убил.

— Собирайся, Гаврилыч.

— Чай, надоть отцу Петру про дело-то рассказать?

— Скажем и ему.

Через два часа Пила вез в Подлипную на своей и поповской лошадях, запряженных в поповские сани, попа и дьячка.

V

Дорогой в Подлипную Пила долго ругался. Ругал он и священника и дьячка. Вины за собой он никакой не знал: ребята не его, за что же корову-то с него просят? Уж лучше бы самому зарыть ребят в лесу... А корова-то какая славная; теленка скоро родит; можно будет продать теленка-то да хлебушка купить... Говорила жена: не езди, не бери ребят. Так нет... Священник с дьячком рассуждали: как поступить с подлиповцами; все они ничего не дают, никакие страхи их не берут и веровать-то они по-христиански не хотят...

Наконец, приехали в Подлипную. Священник и дьячок вошли в избу Пилы и влезли на полати, потому что в избе было холодно, да к тому же они хорошо прозябли. У дьячка

был в запасе бурак с водкой. Семейство Пилы осталось на печке. Апроське было немного легче, но она все лежала. Иван все хворал. Матрена ходила.

— Ну-ко, Матрена, дай нам закусить,— просил священник.

— Да что я тебе дам-то? Хлебушка нет, молока нет. Кору нынче едим...

— Поди, посбирай в деревне.

— Где уж, там ни у кого нет хлебушка. Вон Пила не привез ли...— Пила действительно привез две ковриги хлеба и несколько фунтов муки. Пила распрягал лошадей, ругая дьячка. Павла он послал к подлиповцам: «Беги ко всем, скажи: поп, мол, наехал, тащи, мол, образа в угол...» Павел ушел и сделал так, как велел Пила. У подлиповцев до сей поры все образа были где-то на полатях; теперь Павел поставил их на полки в передних углах.

Пила принес в избу хлеба, отрезал несколько ломтей и роздал священнику, дьячку и своему семейству. В несколько минут одной ковриги не стало.

— Ты, тятька, снеси Сысойке-то! — просила Апроська Пилу.

— Эй ты, Пила, хошь водки? — кричал с полатей дьячок, уже опьяневший.

— Давай.

Пила хлебнул из бурака.

— Смотри, не обмани... Обманешь, трех дней не проживешь,— продолжал кричать дьячок.

— Молчи, оттаскаю за волосы-то! — ворчал Пила.

Дьячок соскочил с полатей, хватил было Пилу за бороду, да Пила его на пол бросил.

— Ты знай, у меня сила, а у те що! — бахвалился Пила.

— Ну, пойдем к подлиповцам,— сказал священник, слезая с полатей.— А ты, девка, все еще не замужем? — спросил он Апроську.

— Нет, батюшко.

— То-то смотри. Найду ребят, беда тебе будет!

— Ужо тепло будет, повезу ее,— сказал Пила.

— Ты давно мне говоришь. С кем ты ее хочешь свенчать?

— А с Сысойком.

— То-то. Ну, пойдем.

Пила повел священника и дьячка к Сысойке. С собой он захватил полковриги хлеба. Сысойке было легче, но он все еще лежал. В избе холодно и темно.

— Зажигай лучину! — командовал дьячок.

Лучину зажгли.

Священник стал смотреть в передний угол: есть ли икона.

Икона была.

— Эй вы, черти! Отчего никого нет? — кричал дьячок.

— Да больны они, больно больны,— сказал Пила. Сысойко спрятался в угол на полатях и молчал. Мать его попрежнему стонала.

. . . .
. . . .

Переночевав у Пилы, священник и дьячок поехали в село. Пила ехал за ними на дровнях; за дровнями шла Пилина корова с веревкой на шее.

Как ни горько было Пиле вести корову в село, но он, из боязни, чтобы не погубил его становой, решился-таки отдать ее. «Ужо, как помрет Пантелей, возьму его корову себе. А не помрет, из другой деревни уволоку»,— думал Пила.

Матрена, как Пила стал привязывать корову к дровням, поленом ударила Пилу, дьячка обругала, как только могла, и, может быть, убила бы Пилу за корову, да у нее силы не было: Пила и дьячок до того избили ее, что она едва-едва добралась до своей избушки. Матрена больше всего в своей жизни любила корову. Корова для нее была больше, нежели дети: дети ей ничего не давали, а корова снабжала всю семью молоком и летом не просила есть, а питалась в лесу, сама находила пищу для себя; только зимой Матрена наваливала ей сена каждое утро. А теперь как она будет жить без коров?..

VI

Пила приехал в село вечером. Заплакал Пила, как заперли его корову в чужую стайку. Хотел он увести корову ночью, да двери стайки были на замок заперты. На другой день отпели умерших, а Пила с церковным сторожем едва-едва сделали на кладбище маленькую ямку и свалили туда гроб, потом завалили яму землей и снегом. После этого Пила пошел к дьячку просить денег. Дьячок сжалился над Пилой, дал ему пятнадцать копеек серебром. Пила был очень доволен этими деньгами и даже повалился в ноги.

Выйдя из двора дьяческого, Пила долго стоял у своей лошади. Его сильно давило горе. Он лишился коровы, которая кормила его. Как он теперь без коровы будет жить? Как семья его пробьется до лета? Не корова бы, что бы было с ними? Пиле все теперь опротивело, проклял он свою жизнь, долго бил свою лошадь, сам не зная за что, сел на дровни,

стегнул лошадь, лошадь пошла по улице. Пила не знал, куда ехать, и пустил лошадь на произвол. Лошадь дошла до лесу. Дорога вела в деревню. Пила не поехал в деревню, а поехал в город.

В городе Пила шатался две недели. Жил он подаянием добрых людей. Придет в дом, попросит ради Христа, ему дают кто ломтик хлеба, кто грошик. Ломтей у Пилы накопилось много; деньги шли на водку. Хотел он купить на рынке корову, да просили десять рублей. Видел он дьячка своего сельского, тот сказал ему, что корову он подарил по начальству. Узнавши, где корова, Пила две ночи сряду ходил к воротам нового ее хозяина, да все ворота заперты; перелез он через заплот, да и там не нашел коровы, а зарубив топором двух свиней и перебросив их через заплот, увез в лес и там зарыл в снегу.

Пила собрался ехать, как увидел около питейной лавочки толпу мужиков: зырян, вотяков, пермяков и крестьян Вологодской и Архангельской губерний. Пилу любопытство взяло, и он спросил одного из толпы:

— Што, ребя?

— Ништо,— сказал один крестьянин.

— Ты откедова? — спросил Пилу другой крестьянин.

— А подлиповеч! А вы-то?

— А мы бурлацить.

— Лиже! А поштё?

— Бают: баско, богачество, бают...

Пила задумался. Каждую зиму он видел около этого кабака толпу мужиков, каждую зиму он слышит, что они идут бурлачить, богачества, бают, от бурлачества получают. Прежде Пила не верил мужикам, говорящим про богачество, и не спрашивал, что такое бурлачество; теперь ему опротивела жизнь, мужики раззадорили его: не лучше ли бурлачить? спросил сам себя Пила. «А Сысойко?.. а Апроська? Ну их к лешим и с бурлачеством!..» Апроська показалась Пиле милее бурлачества... «Уйди там, а куда?.. Ну, уйди — и тютю...» — думал Пила. Однако он снова подошел к бурлакам.

— А вас много?

— Не все ошшо.— Их было человек тридцать.

— А далеко?

— Далеко.

— А што робить?

— Плыть.

— Э! А скоро идти-то?

— Скоро.

Пила ушел от бурлаков и поехал в Подлипную. Дорогой

он думал: «Идти в бурлаки или нет? Бурлачество, бают,— хлеба много... А в деревне што! тот болен, другой помирает, третьего везти хоронить надо, да поп еще привяжется. Эх! Надоела эта жизнь!.. Дай пойду в бурлаки... Надоели подлиповцы; пусть помирают, мне не пособить. Только выздоровеет Сысойко и Апроська, возьму их с собой...» Пиле эта мысль хорошею показалась, он захохотал и решился во что бы то ни стало уйти с Апроськой и Сысойком бурлачить, сам не зная, что это за дело такое, веря в слово «богачество» и в надежду иметь всегда много хлебушка... «Уйду же я, уйду! Уж не поклонюсь боле никому, не дам коровы. Что я без коровы-то? Вон везу две свиньи, да что толку — не живые. И станового теперь не боюсь...» При мысли о том, что он будет бурлачить, Пила чувствовал какую-то легкость, свободу, удовольствие и никого не боялся.

До Подлипной Пила ехал четыре дня. Ночи он спал в деревнях. Каждую ночь ему мерещилось бурлачество или он идет куда-то на гору с Сысойком, Апроськой и всеми подлиповцами. Сердится Пила: зачем это прочие подлиповцы идут, зачем и Матрена тут? и старуха Сысойкова тут? Идут они долго-долго, все гора, и конца нет. Вот один свалился с горы, за ним другой и прочие, и Пила в страхе кричит и пробуждается. «Не дошли...» — ворчит Пила и силится заснуть, чтобы увидать что-нибудь получше — хорошо ли бурлачить... Ему опять кажется, опять он с своим семейством и подлиповцами на поле и все рубят дрова. Рубят-рубят, а дров нет. Где же Сысойко и Апроська?.. Жалко стало Пиле, стал он искать их, нашел: лежат в подлиповском болоте мертвые — медведем изгрызены. Заплакал Пила, заревел... Проснулся, на глазах слезы... Живы ли Сысойко и Апроська?.. Сердце дрогнуло у Пилы: а что, если померли?.. Пила не мог придумать, что будет с ним, если помрут Апроська и Сысойко. Он только и придумал: «А пошто я-то не помру? Я-то на што живу?..» В первый раз в жизни Пила почувствовал сильное горе. Его мучила не корова, а Сысойко и Апроська...

Мысль о Сысойке и Апроське всю дорогу мучила Пилу; всю дорогу он не находил покоя. Зол сделался Пила, и боялся он приехать в деревню, точно в ней сто медведей засели...

VII

Приехав в деревню, Пила прямо отправился к Сысойке. Домой он побоялся прийти. В избе было темно и холодно, не слышно ни звука, ни шороха... У Пилы сердце дрогнуло.

— Али померли? — сказал Пила.

Пила не получил ответа. Хотелось ему удостовериться, залезши на полати, да боялся Пила. В первый раз в жизни Пила побоялся покойников. Однако Пила залез на печку. Там лежала мать Сысойки. Пила заглянул на полати, никого нет. Полегче сделалось Пиле.

— Таперь Сысойко у меня... мать, верно, померла,— сказал он весело. Стал он щупать старуху: старуха холодная, не дышит, лицо зелено-красное, глаза открыты, так строго смотрят. Пила струсил старухи, соскочил с полатей, плюнул на печку и убежал на улицу...

— Ишшо загрызет, стерва! — ворчал Пила.

В свою избу Пила вошел весело. Как только он вошел, на него закричала Матрена:

— Што, дьявол!.. Всех нас уморить, што ли, захотел!.. Вон Апроська-то померла!..

Пилу как обухом кто ударил по голове, он рот разинул и тупо смотрел на печку, где сидел Сысойко, бледный и такой сердитый... Жена все ворчала:

— Ишшо не околел ты, черт!.. Другие мрут, а ему и смерти нет!

Пиле горько сделалось. Ударил он жену и полез на печку. На полатях лежала Апроська. Она была такая же, как и две недели тому назад, только не дышала. Пила не верил, что она умерла, стал ее толкать, она не шевелится... Взвыл Пила, убежал на улицу, забрался в стайку и долго там плакал... В стайке спали Павел и Иван. «Помру ли я?» — спросил сам себя Пила.

— Уйду отсель! уйду!..— закричал он и вышел из стайки. Пила хотел ехать, но ему жалко стало Сысойки, да и что делать с Апроськой? Везти надо ее, опять надо к попу ехать.

Пила вошел в свою избу. Матрена выла на печке. Сысойко дико смотрел на Апроську. Он не плакал, а видно было. что его страшно мучило горе. Он любил Апроську сильно, хотел с ней всегда жить, вот умерли ребята его матери, умерла и мать. Зачем же Апроська померла? Он-то зачем не помер? Дик и зол сделался Сысойко, теперь он походил на собаку, лишившуюся своего детища, он готов был бог знает что сделать, только бы Апроська была жива, готов был помереть, но не знал, как помереть...

Пила так же мучился, как и Сысойко. Он сел с Сысойком на полати и долго смотрел на Апроську, потом вскричал: «Апроська!..» Апроська не двигалась, Пила заревел, заплакал и Сысойко. Долго плакал Пила, да не помог слезами горю. Он опять вышел на улицу, сел на крылечко и стал

думать... Сначала ничего он не придумал, все Апроська мучила его; потом ему опротивела своя изба, вся деревня. Пила вскочил как бешеный и сказал сам себе: «Что я за чучело? Что мне жить-то? пойду из Подлипной, наплюю на их всех... Без Апроськи что за жизнь?» Он вошел в избу.

— Сысойко! айда отсель! Пойдем бурлачить!

— Не пойду.— Сысойко еще не верил тому, что Апроська умерла. «А может, она так...» — думал он.

— Э, дура голова! Пойдем! бурлачество — баская штука, богачество получим, а хлебушка эво! ужасти!..

Сысойке не хотелось идти. Пила стал уговаривать его; Сысойко только ругался.

— Ну, и околевай, черт! Я один пойду, ребят с собой возьму.

Пила стал думать, что теперь делать с Апроськой. Матрена ругается за корову, говорит: вези опять, отдай лошадь... «Ну уж теперь с меня он шиш возьмет!» Однако он все-таки решил везти Апроську и мать Сысойки к попу... «Коли просить чего станет, я и к набольшему его пойду... Бает, у меня начальство есть».

На другой день по приезде в Подлипную он принялся делать гроб с Сысойком, Иваном и Павлом. На третий день они уложили в гроб мать Сысойки и Апроську в такой одежде, в какой они умерли. На обеих их были худенькие полушубки, худые лапти. Сысойко надел на руки Апроськи свои рукавицы и положил ей на грудь ковригу хлеба. В этот же день Пила с женой, детьми и Сысойком, положив гроб на Пилины дровни, отправились в село. Гроб был прикрыт досками и обвязан веревкой. На нем сидели Пила и Сысойко. На Сысойкиных дровнях, запряженных в Сысойкову лошадь, ехали Матрена, Павел, Иван и Тюнька.

Дорогой Пила уговаривал Сысойку идти бурлачить. Сысойко ругался и, наконец, понял, что в деревне ему тошно жить, согласился идти с Пилой туда, где хлеба много. Только как же без Апроськи?

— Уж не воротишь. Жалко, а нештó делать,— говорил Пила, вздыхая.

— У, Апроська! стерво ты... леший!..— вскричал со злостию Сысойко. Ему слишком было обидно, что Апроська померла.

Дьячок удивился, когда увидал перед своим домом подлиповцев.

Этот день был теплый, каких в этом краю мало бывает зимой. Солнце грело, с крыши капало, ветру не было. Пила подумал, что лето скоро.

— Гли, Сысойко, солнце-то! — говорил Пила, весело указывая на солнце.— Лето тожно скоро... Ишь как баско.

Сысойку это не порадовало, а возмутило. Он все думал об Апроське.

— А пошто она издохла?.. Пошто? — вскричал Сысойко.

— Пошто? — спросил и Пила, и ему тоже обидно сделалось.

Вошел дьячок:

— Ну, что, братцы?

— Што! Знамо — што...— сказал Пила с сердцем. Он и Сысойко теперь походили на зверей; вокруг них собралось много крестьян, которым Матрена и Павел толковали, как померла Апроська, и которые жалели и умерших и Матрену.

— Кто опять умер? — спросил дьячок.

— Кто? Как бы не ты, жива бы Апроська-то была...— ворчал Пила.

— Ну, полно, Пила... Она теперь покойная...

— Знамо... Зажмурила шары-те. Оттого и померла...

Крестьяне между тем с участием расспрашивали Матрену и Сысойку, отчего умерла Апроська.

— Он у меня корову взял! — сказал Пила, указывая на дьячка.

— Вре?!

— Врать, што ли, стану!

— Это не твою ли он как-тось в город спровадил?

— А чью не то... Взял — да и тю-тю, к набольшему уволок.

Дьячку стыдно сделалось. Он знал, что в подобных случаях крестьяне пристанут за своего брата, изобьют его да еще жалобу напишут.

— Братцы, я купил у него корову!

Пила обругал дьячка.

— Купил ты! купил?

— Врет!.. увел!..— голосила Матрена, Сысойко и Павел.

Крестьяне отошли от Пилы, собрались невдалеке в одну кучку и стали толковать между собой.

— А што, дядя? Дьячок-то вор!..

— Айда к становому!

Крестьяне ушли к становому, Пила и Сысойко с ними же. Дьячок воротился домой; Матрена с детьми осталась на улице.

Крестьяне с полчаса стояли у дома, где жил становой пристав. В это время дьячок послал своего сына с запиской,

что крестьяне из Подлиповки — Пила и Сысойко взбунтовали крестьян и хотели избить его. Становой рассвирепел. Вместо того чтобы разобрать дело, он раскричался на мужиков:

— Так-то вы?.. Буянить!.. Да я вас всех перепорю.

— Да мы ништо...

— Молчать! пошли по домам!

Надо заметить, что Пила при появлении станового спрятался за крестьян, Сысойко спрятался за Пилу.

— Кто Пила! кто Сысойко! — закричал становой.

Все струсили. Крестьяне показали на них.

— В чижовку! я вас!.. Я вам задам лупку!

От чижовки и от лупки наших подлиповцев спас священник, шедший в это время к становому.

— Что! жаловаться? — спросил он сердито подлиповцев.

— Батшко, не губи!...— молился Пила. Он думал, что его уведут куда-нибудь на съедение зверям.

— Василий Иваныч, простите его,— сказал священник становому приставу.

— Не для чего эдаких скотов прощать... Ну, да пусть идут.

— Ступайте в церковь, я сейчас буду.— Священник ушел к становому, крестьяне по своим домам, а Пила и Сысойко поехали к церкви. Церковь была отперта сторожем. Поставивши гроб среди церкви, Пила и Сысойко с Павлом и Иваном отправились на кладбище.

— Неужели тут всё люди?..— спросил Сысойко.

— А кто не то. А ты помнишь, где отец-то твой лежит?

— Кто ево знает!

— А вон на той стороне,— туда и пойдем копать; а вон тамо ребята.

Пила и Сысойко отгребли снег, потом топорами прорубили неглубокую яму. Эта работа продолжалась с час, до тех пор, пока за ними не прибежал сторож.

В церкви священник и дьячок начинали уже отпевание. Дьячок стоял около священника, на котором была надета ветхая риза. В руках у священника было кадило. В церкви теплилась одна лампада и горели две свечки. Гроб был открыт. Пила и Сысойко стояли около гроба и смотрели на Апроську. Они не молились, а думали; жалко им было и досадно, что Апроська умерла, что ее в землю скоро зароют; а как да старуха-то съест ее?

— Надо бы другой гроб-то! — сказал Сысойко.

— Поздно уж.

Пилу и прежде и теперь одно занимало: зачем это священник какой-то штукой с дымом таким баским машет? Это занимало и детей его и Сысойку.

— Батшко, ты не хлесни Апроську-то,— сказал Пила. Священник молчал.

— Право, брось! Ишшо вырвется...

Священник стал убеждать Пилу, что он делает нехорошо, что это так законом установлено. Наконец, священник кончил отпеванье, посыпал трупы землей и велел подлиповцам нести гроб.

С полчаса Пила возился с Сысойком. Сысойко просил еще посмотреть на Апроську, а Пила хочет закрыть гроб и увязать веревкой.

— Пила! я ошшо погляжу!

— Ишшо не нагляделся!

— Пила, я Апроське нос откушу!..

— А это вишь! — Пила показал Сысойке кулак.

— Пра, откушу!

— Не тронь!

— Дай?!

Сысойко расцапался с Пилой. Дьячок и сторож выпроводили подлиповцев из церкви и с двумя крестьянами вытащили гроб на улицу.

На кладбище Пила увязал гроб веревкой, покопал еще яму и с Сысойком и ребятами опустил гроб в яму.

— Пила, дай погляжу!

— Ну уж, развязывать не стану.

— Я завяжу!

Пила толкнул Сысойку и стал засыпать гроб землей. Засыпав землей и снегом яму, Пила и Сысойко воткнули в курган два топора.

— На, Апроська!.. Не жалуйся, што обижали тебя...

Дети Пилы ушли к матери за церковную ограду. Матрена не пошла на кладбище; она плакала у церкви.

Пила и Сысойко с полчаса стояли у кургана. Они большую часть времени молчали, смотрели на топоры; жалко им топоры-то, а может, Апроське понадобятся они. Надо бы с ней положить... «Ведь вот Апроська-то жила-жила, а теперь вот тут...» — говорил Пила и плакал.

— Как бы ее старуха не съела. Пошто же это в землю-то зарыли? — говорил Сысойко.

— Пошто! што с ней, мертвой-то?

— А мы возьмем, уволокем!

— Ну-ко возьми! Уж теперь их нет тута.

— Вре?

— Поп бает, улетели!

Ах, ватаракша! да мы зарыли-то, не поп?

— Ну, бает, как зароем — и тю-тю...

Вдруг Сысойке послышался стон из земли, он пустился бежать и, запнувшись о пень, упал.

— Эк те бросило! — захохотал Пила.

— Пишшит!.. Ай, пишшит!! — кричал Сысойко.

Пила струсил.

— Кто пишшит? — крикнул он.

Пила услыхал из могилы стон и стук... Пилу морозом обдало, он не мог двинуться с места... Из могилы раздался еще глухой, протяжный стон, похожий на визг. Пила побежал. Добежав до ворот, он закричал: «Сысойко! беда!» Сысойко лежал на своем месте, боясь встать... Ему слышался еще стон. Пила тоже не шел к Сысойку. Оправившись от испуга, он сжал кулаки и стал ворчать: «Попишши ты у меня! Я те ужо... Эк те взяло!.. Сысойко!»

Сысойко опять пустился бежать и, прибежав к Пиле, кричал:

— Ай, беда! пишшит! все пишшит...

— И теперь?

— Теперь...

Сысойке и теперь казалось, что пишшит. Пила уже не слышал стона.

— Кто же пишшит-то! Витер? — спрашивал Пила.

— Апроська.

— Уж молчал бы... Знаешь ты черную немочь.

— Апроська!

— Ну нет, Апроська улетела... Вот так штука!..

Обоих их любопытство брало, что это за штука такая? Идти разве послушать, да боялись они, их трясло.

— Уж не Апроська ли?..— сказал вдруг Пила.

— Я те баял...

— Подти туда!

Сысойко побежал за ограду. Пила пошел за ним.

— Леший! Право... черт! пойдем, поглядим тамока,— уговаривал Сысойку Пила.

Сысойко не шел.

Пила и Сысойко сказали об этом Матрене и ребятам, и те испугались. Сказали они и крестьянам, те сначала не поверили, потом пошли на кладбище, но так как там ничего уже не слыхали, то и обругали Пилу и Сысойку.

Предмет любви Пилы и Сысойки — Апроська — была жи-

вая похоронена. Интересно было бы знать, что бы стало с ними тогда, когда бы она пробудилась от летаргии в то время, как Пила ладил веревку обвязывать гроб. Вероятно, они разбежались бы, а может быть, и убили бы ее.

VIII

После зарытия Апроськи в землю и после слышанного Пилой и Сысойкой стона из могилы горе обоих усилилось. Они ходили, как полоумные, взбешенные, и как ни были глупы оба, но у обоих явилось в мозгах сомнение насчет смерти Апроськи. Оба они сильно любили Апроську. Апроська, может, и не померла. Зачем же она целую неделю не шевелилась? Ведь Сысойко безвыходно был у Пилы, сидел около Апроськи, лил слезы горькие, лежал с ней и ругался... Апроська не двигалась, даже глазом не моргнула. Кто же ревел-то? Поблазнил... Стой! Обоих стало мучить то, как же от мертвых запах скверный, лица гадкие; вон мать Сысойки к примеру: лицо зелено-красное, вонь, хоть рот и нос рукавицей затыкай; вон Сысойкины ребята померли, тоже запах и лица другие; а Апроська не переменилась: лицо, как у живой, да еще теплое, точно спала, и запаху нет. Что бы это значило? А как она да не померла?

— Слышь, Пила, пойдем туда, уволокем Апроську.

Пила молчал. Ему тоже хотелось сходить на кладбище, но он боялся.

— Пойдем! — уговаривал его Сысойко.

Пила и Сысойко решились ночью идти на кладбище.

Наступила ночь. Луна. Морозит. Пила и Сысойко перелезли через кладбищенский плетень, взяли лежащие у церковного крыльца две железные лопаты и пошли к могиле, где лежала Апроська. Они шли молча; молча взяли с кургана топоры и стали отгребать землю. Обоих их трясло, но они, из любви к Апроське, работали что было сил, до того, что их брал пот. Вот и гроб... Пила и Сысойко молчат и молча идут от могилы в сторону... Но Сысойко оказывается храбрее Пилы; он берет топор, рассекает веревку, берет крышку с гроба... Пила в это время спускается к нему,— ему завидно, что Сысойко один с Апроськой.

— Давай потащим Апроську? — говорит Пила, а сам дрожит.

— Давай.— Пила и Сысойко один за голову, другой за ноги подняли Апроську. Апроська молчит.

— Ишь стерво!..— кричал Пила.— Поднимай! — Подняли. Смотрят. Лицо затекло кровью, руки искусаны...

Дрогнули сердца у Пилы и Сысойки; морозом их обдало.

— Померла! — вскричал Сысойко и опустил ноги Апроськи; у Пилы тоже опустились руки. Апроська грохнулась на гроб, около ног Пилы и Сысойко... Они струсили и убежали из ямы.

— Эк ее бросило! — сказал Пила.

Сысойко молчал. Он опять вошел в яму. Пила подошел к яме и смотрел, что делает Сысойко.

Сысойко схватил Апроську за голову и стал смотреть.

— Апроська?! — закричал он. Апроська молчала. Пила сел на наваленную от могилы землю и свесил ноги.

— Запишши, Апроська!..— кричал Сысойко. Апроська молчала.

— Убью! — закричал опять Сысойко.

Наконец, Пила и Сысойко уверились в том, что Апроська умерла. Им сделалось легче. Они по-прежнему зарыли гроб, взяли топоры и ушли с кладбища так же, как и прежде, молча... «Апроська умерла, убилась, задохлась. А я-то пошто живу!» — думали Пила и Сысойко.

— Пила, заруби меня,— сказал Сысойко.

— Э!.. ты заруби.

Оба они думали о смерти; но все-таки обоим им казалось страшно умереть, обоим хотелось еще пожить...

— Поедем, Сысойко!.. Поедем,— говорил Пила.

— Куда к лешим?

— Бурлачить.

— Убей меня!..

— Богачество там... Ну, что в деревне? Апроськи нет. Эх, горе! — Пила заплакал.

Сысойко изругался; в ругани он хотел излить все зло на эту жизнь — на все, чего он не понимал...

— Пойди ты в Подлипную... Ну, что там? — помрем.

— Пойдем, Пила, пойдем, братан... Эх, Пила!!

Горе обоих велико было. Для обоих мир этот казался тяжелым, невыносимым. У них не было отрады. При всей бедности, без Апроськи они думали: как жить теперь?

— Пойдем вместе,— сказал Сысойко.— Веди, а в Подлипную шабаш!

— Уж ты иди, не отставай... Сысойко! умри ты — беда мне...

— Мне тоже!..

До утра оба они не спали. Когда они уснули, то им по-

мерещилась Апроська с искусанными руками, и они слышали откуда-то стон. Они спали недолго и, пробудившись, стали звать Матрену, Павла и Ивана в город.

IX

Когда была жива Апроська, Матрене было все равно, что есть у нее дочь; не будь дочери, Матрене было бы тоже все равно; есть человек — ладно, а впрочем, пожалуй, и не надо бы: хлеб лишний идет; только ровно веселее с девкой-то, да и грудью ее Матрена кормила, как кормила и прочих детей. Только в этом и заключалась любовь матери к дочери. Когда умерла Апроська, Матрене жалко стало ее, а почему жалко, она сама не могла понять. Она плакала, что не увидит уже Апроськи, не будет говорить с ней, и сама не знала, чего бы такого попросить у бога, а только со слезами говорила: «Апроська померла!.. Ах, пошто ты померла? Пожила бы ты ошшо чуточку, поглядела бы я ошшо на красно солнышко...» Слова эти были заимствованы Матреной у других женщин, плакавших и причитавших по усопшим, и все-таки они были искренние, задушевные; больше этих слов Матрена ничего не придумала хорошего. Матрене жалко стало Апроськи, а потому ей тоже не хотелось ехать в деревню. Без Апроськи пусто теперь дома. Подумай Матрена об этом при жизни Апроськи, представь себе то, что Апроська, как и все, может умереть, теперь бы ей не так жалко было Апроськи. Но Матрена никак об этом не думала; она хотя и видела умерших женщин, но никак не могла представить себе того, что Апроська может умереть; она не могла до сих пор понять: что это такое делается с людьми, когда умирают, и зачем их зарывают в землю? Матрена даже не верила, что и она может умереть, а если говорила о своей смерти, так только так себе, зря, и то когда сердилась. Скажи ей кто-нибудь: и ты, Матрена, тоже помрешь и тебя в землю зароют, Матрена тому бы в лицо плюнула и обругала бы...

Когда Пила стал звать Матрену бурлачить, она думала, что бурлачить — баско, и согласилась.

Итак, подлиповцы — Пила с женой и детьми и Сысойко — отправились бурлачить.

X

Подлиповцы приехали в город часу в пятом вечера. Они остановились у содержателя постоялого двора Терентьича. Терентьич знал Пилу, который часто прислуживал ему, и

потому пустил подлиповцев даром. Кроме подлиповских лошадей, во дворе была только одна лошадь. Пила достал хозяйского сена, утащил из незапертой стайки овса и стал кормить лошадей. Подлиповцы отправились в избу. В ней было до двадцати мужиков: пермяков, черемисов и вотяков. Половина из них лежали на печке, на полатях и на лавках; половина сидели за большим столом и хлебали что-то вроде щей. В избе не было огня, хотя было очень темно.

— Бог нá помочь! — сказал Пила.

— Ладно. Ты откедова? — спросили его сидящие за столом.

— Подлипную знаешь?

— Кто те знает? Вячкой или чердынский?

— Чердынский.

— Колдун, ребя!

Пила подумал: «Сделаю я с вами штуку».

— Эк вас сколь! Бурлачить?

— Э!

— А это баба-то тоже?

— Тоже.

— Баб, бают, не берут.

— Ее возьмут... Она килы садит.

Сидевшие за столом вытаращили глаза на Матрену.

— Верьте вы ему, ватаракше... Он вон Апроську уморил! — ворчала Матрена.

— Слышь, беда!.. чурайся! наше место свято!..— шептались мужики.

Пилу манил запах щей, и он подошел к столу.

— Экую ты гомзулю-то взял!.. Смотри, обтрескаешься! — сказал Пила одному мужику, оплетавшему большой ломоть хлеба. Мужик спрятал кусок за пазуху. Четыре мужика вылезли из-за стола, за ними вышли и прочие.

— Экой лешой, и ись-то не дает!

— Шаркни его по башке-то.

— Топором ево! — кричали мужики.

— Садись, Сысойко.— За стол уселись все подлиповцы — Пила, Сысойко, Матрена с Тюнькой, Павел и Иван.

Мужики боялись Пилы и Матрены. Они давно наслышались, что все чердынские крестьяне колдуны, а колдун, по их понятиям, опасный человек, да и не человек, а черт не черт, а что-то особенное: и человеком ходит, и невидимкой делается, с нечистой силой знается, медведем бегает, сорокой летает и проч. и проч... Неспавшие мужики стали смотреть на Пилу и Матрену, сидевшие за столом и вышедшие из-за него стояли у печки и у порога, доедая куски

хлеба, и молча смотрели на подлиповцев, ожидая какого-нибудь чуда.

Пила, его семейство и Сысойко принялись доедать лежащий на столе хлеб и налитые в большую чашку скоромные щи.

— А ты наперед заплати деньги, тогда и распоряжайся,— сказала хозяйка и утащила чашку со щами.

— Заплачу,— сказал Пила.

— Заплатишь ты! Сколько ел, а все не платил.

— А ты погляди, кто у те в чашке-то сидит?..

— Кто сидит?..— спросила хозяйка.

— Дай сюды, покажу! — Пила подошел к хозяйке.

— Что ты врешь?

— Ослепла! Гляди, мышь!

— Ах вы, погань экая!..— сказала хозяйка.— Вы хлеб-то весь испоганите.— Она хотела взять хлеб, но Пила сказал ей, что в ковриге лапка чья-то видится. Хозяйка прижалась к печке и стала смотреть на подлиповцев, как они охобачивали хлеб. Щей уж не было. Мужики дивились.

— Ишь, якуня-ваня, что диется!

— Подем!

— Ты учись, научит...

Так толковали мужики.

— А я ишшо не то сделаю,— бахвалился Пила.

— Ой!

— Пойдем, ребя!

— Айда.— Стоявшие мужики ушли.

Хозяйка верила всем предрассудкам и страшно боялась колдунов. Пилу она и прежде считала за колдуна, потому что он хитрил над мужиками и возил с собой какие-то травы, которые и ей давал. Увидев теперь, что его испугались мужики, она тоже струсила. Хотела скликать мужа-хозяина, но в то же время ей хотелось выслужиться и Пиле.

— А ты килы садишь?

— Эво! Тебе, што ли, надо?

— Не мне, а Терентьихе. Проходу мне нет от нее; все говорит: уж какова́ ни будь, да буду я тебе!..

— А много ли дашь?

— Да денег-то нет...

— Кормить станешь?

— Ладно, только сделай килу.

— Уж сделаю!

Мужики с печки, полатей и лежащие на лавках слушали Пилу и переговаривались между собой.

Сытно наелись подлиповцы. Целую ковригу съели.

— Что, Сысойко, наелся?
— Баско! Ошшо бы...
— Нету боле,— сказала хозяйка.
— Ну, таперь спать.— Пила полез на полати.
— Убью! Не ходи...— закричал один мужик.
— А ты гляди: кила у тебя на роже-то! — сказал Пила. Мужик испугался и ушел с полатей, за ним ушли и прочие. Они улеглись на пол. Подлиповцы залезли на полати и расположились спать, не раздеваясь, так же как и прочие мужики.
— Учись, Сысойко! всему научу,— хвастался Пила.
— Ты врешь все.
— Хошь килу?
— Нет.
— То-то... Уж я, брат, што захочу, все сделаю.
— А зачем Апроська померла?..
— Так ты колдун? — спросил один мужик с печи.
— Колдун.
— Глиже! У нас тоже есть колдун: што захочет, так и будет. Баба есть такая, в трубу вылетает.
— А вот эта баба-то — беда! — сказал Пила про Матрену.
— Ой ли?
— Верь ты ему, варнаку! — отплюнулась Матрена.
— А ты молчи! — крикнул на нее Пила.
— Што молчать-то!..— Матрена знала, что Пила не колдун; а впрочем, кто его знает. Пила слишком заврался.
— Ребя, бабы-то нет уж!
— Ой!
— Улетела! А ты молчи! — шепнул Пила Матрене, которая лежала у стены.
Мужики струсили.
— Как улетела? — спросили они, а заглянуть на полати боялись.
— Да она откедова?
— Кто ее знает. Села ко мне на лошадь: вези, говорит...
— А ты бы ее топором, топором, так бы и хлестал.
— Бил — не берет...
— Куды же она улетела?
— А кто ее знат. Она вон к ейной бабе улетела.
— Это к Терентьихе? — спросила хозяйка, дрожащая от страха.
— К ей.
— Слава те, господи!

— А ты зачурайся,— сказал хозяйке один мужик, лежащий на полу.

Подлиповцы стали засыпать. На полатях было так тепло, что подлиповцы ни за что бы не сошли и спали бы долго, долго. Они уснули скоро. Во сне им мерещилась Апроська, и они часто кричали со сна: «Апроська! пишшит!» Мужики, бывшие в избе, долго еще толковали насчет Пилы и рассказывали разные случаи об колдунах, слышанные ими от людей.

— Недавно,— говорил один,— у нас, значит, свадьба была. Баско гуляли. Ладно. Вот и появись колдунья, и запела по-куричьи: съем, бает... Беда! Так и бегает за бабами! Ну, и драло все, а кто на печку залез да кринки на голову и посдевал... Она, будь проклята, и давай кринки на пол кидать, кою бросит, и разобьется... Ужасти!

Мужики крестились и охали.

— Это што,— говорил другой.— Вячки — те лучше ваших чердынских. У нас, братчи, колдун издох. Как ноць, и перевернетца, и побежит, и побежит!.. Привезли его в черковь, черковный пеун и давай отцытывать, а поп и давай махальничей махать. Махал, махал долго, а колдун и давай зубами цакать... Пеун побег, а поп и хлобысни колдуна-то цитальницей... Колдун и помер...

— У вас што в Вятке-то. У нас лучше есть...

Лежавшим на печке не спалось. Один из них достал огня на лучину; все четверо, лежавшие на печке, заглянули на полати: там все подлиповцы храпят, и Пила тут и Матрена тут.

— А баба-то прилетела!

— Хлобысни бабу-то!

— Ты хлобысни...

Пила в это время проснулся, взглянул... Мужики испугались и слезли с печки... Пила влез на печку и уснул на ней один. Он спал лучше всех.

Подлиповцы пробудились на другой день поздно. Хотелось им еще поспать, да хозяин сказал, что у них одной лошади нет. Пила и Сысойко соскочили, один с печки, другой с полатей, вышли во двор; действительно, не было лошади Пилы с дровнями и двумя топорами.

Пила выругал хозяина, говоря: ты украл мою лошадь. Хозяин тоже выругал Пилу, говоря, что лошадь украл не он, а, наверное, мужики, ушедшие из избы вечером. Пила пошел с Сысойком по городу отыскивать свою лошадь. Но город не Подлипная; в городе скорее заблудишься, нежели отыщешь лошадь. Пила вошел в соседний с постоялым дво-

ром двор, там кучер выругал его и пригрозил отправить в полицию; в третьем он натолкнулся на какого-то барина, барин прикрикнул на него... Пила постоял на улице, подумал, куда идти искать? «Пропала лошадь, не найдешь. Вот если бы я колдун был, уж не украли бы лошадь»,— ворчал Пила. Горе его велико было, лошадь — товарищ крестьянина. Куда он теперь денется без лошади, пожалуй и бурлачить нельзя. «Оказия! Ах, воры?.. И смерти-то на вас нет...» Изругался Пила сильно; долго ругался, ругал и Матрену, и Сысойку, и мужиков, и Апроську выругал, а лошади не отыскал.

По дороге шли вчерашние мужики.

— Вон он, колдун-то! — сказали несколько мужиков.

Пила выругал их.

— Ишь он, черт-то! Видно, мяконьких наклали.

Пила опять выругал их.

— Лошадь украли! — крикнул он.

Мужики захохотали. Пила бросился на мужиков, как медведь: одного сшиб с ног, другого повалил на снег, третьему нос разбил... Мужики разбежались от него.

— Смешно, лешие? Лошадь украли, дьяволы!..— ругался Пила.

Пошел он опять на постоялый двор. Там было шесть мужиков. Пила все ругался.

— А ты не ругайся, и мы ругаться-то мастаки... Тебе на што лошадь-то? В бурлаки с лошадями не берут,— не нужно. А ты вот продай эту.— Пила еще хуже заругался. Мужики стали сбивать Сысойку продать лошадь.— Ты то пойми, какая у те лошадь-то: ишь худая, того и гляди издохнет. А ты продай.

— Ты свою заведи да продай,— ворчит Пила.

— Были они, свои-то, да тоже продали.

— Што ты, собака, пристал: продай да продай!

— А посмотри, завтра и этой не будет.

Однако мужики сбили Пилу.

— Ты врешь, что лошадь не надо? — спросил Пила, поняв, что им нечем будет кормить лошадь.

— Што врать-то, дело говорю. Рубля три дадут...

— Экой прыткий... Пять давай! — Пила больше пяти рублей не знал и счету: для него пять рублей уже богачество было.

— Не продам! — сказал Сысойко.

— А оно тоже, Сысойко, толкуют! Лошадь-то того и гляди издохнет; уж моя ходила чуть-чуть, а эта — ишь какая пигалица, самому ошшо надо везти.

Пила и Сысойко решили продать лошадь и тут же про-

дали одному крестьянину за три рубля. Получивши два рубля, Пила и Сысойко поехали с крестьянином в питейную лавочку. У питейной лавочки стояло с пятнадцать мужиков.

— Эй ты, лешой! Где баба-то? — спросил Пилу мужик, спавший в постоялой избе.

— Што баба?.. Вот лошадь украли.

— А я, бает, колдун.

— Поговори ты у меня, шароглазый пес.

Мужики осмеяли Пилу. Пила обругал их.

В питейной лавочке пили водку три мужика. Крестьянин, купивший Сысойкину лошадь, поставил полштофа водки и стал потчевать подлиповцев. Сысойко никогда не пивал еще водки, со стакана его разобрало. В лавочку вошли еще человек шесть. Попойка продолжалась с час; Пила, захмелев, пропоил еще рубль. Мужики стали петь и плясать и кричать до ночи, когда их вытолкали на улицу. Мужики орали песни и рассуждали о бурлачестве.

— Баско бурлачить! — заметил Сысойко, уже пьяный, поддерживаемый Пилой, который тоже пошатывался вперед и назад, направо и налево.

— Баско,— ответил один мужик.

— А што делать-то? — спросил Пила.

— Плыть. Реки эво какие! Большущие, пребольшущие.

— Лиже ты! А близко?

— Далеко. Теперь будет Соликамско-город, потом Усолье-город, Дедюхино...

— Вре!

— Пра. Там Чусова-река, Кама-матушка... Вот дак река! А там, бают, Волга, супротив той Кама што! А идет она с того свету, и конца ей нету...

— На ней, бают, атаман Ермак,— силища у него у! какая была! он, бают, города брал; никто ему не смог перечить.

— А там люди-то есть же? — спросил Пила.

— Есть, да иные, бают.

— Вот, Сысойко, куда мы подем! Ты мне должен спасибо сказывать, каракуля ты экая...— говорил Пила.

Пила и Сысойко отстали от мужиков, шли кое-как; Пила хвалился тем, что он сила и колдун. Сысойко почти спал и только нукал да зевал. Шаг за шагом ноги обоим изменяли, и они, рассудив, что лучше тут уснуть, улеглись середи дороги и, в первый раз в жизни, забыв о житейских дрязгах, о своем горе, уснули в обнимку. Зато утром они проснулись в месте грязном, месте прохладном и душном, среди незна-

комых лиц, мужиков и каких-то «кто их знает каких» людей...

Благодетельная полиция сжалилась над подлиповцами, спавшими среди улицы на дороге, и стащила их в чижовку.

XI

Пила и Сысойко никак не могли понять, где они и что это за люди такие. Помнят они, что были в кабаке, а как сюда забрались? Они даже струсили: уж не на тот ли свет они забрались, уж не бурлачество ли это? Пошел Пила к дверям, двери заперты. Пила удивился. Люди его забавляли: они говорили такие слова, что Пиле смешно стало. Спросил он их: «А што, бурлачество это?» Те осмеяли его. Пила их выругал и улегся опять на пол около Сысойки.

— А баско, Сысойко. Спи знай, ишь сколь людей-то, и люди-то все какие-то вострoглазые.— Пила и Сысойко уснули. Однако им не позволили долго нежиться. Пришел в чижовку квартальный с казаками и растолкал их ногами. Пила и Сысойко испугались и встали.

— Кто вы такие? — крикнул на них квартальный. Пила струсил.

— Мы-те? — спросил он.

— Да что ты, скотина, не отвечаешь?

— А ты знаешь Подлипную?

— Что?

— А ты не кричи! Эк, испугались!..— сказал Пила и пошел к дверям. Квартальный ударил Пилу по лицу. Пила стал ругаться и полез в драку...

— В острог его, каналью! В кандалы заковать! — свирепел квартальный.

— Эк, испугались! Туды тоже и с лапищами лезет!.. Я, бат, восемь медведев убил.

Долго возились с Пилой и Сысойком солдаты; хочется солдатам кандалы надеть на ноги подлиповцев, а они ругаются; одному солдату такую затрещину дал Пила, что тот и свету божьего не взвидел. Солдаты связали им руки, но и тут Сысойко укусил одному солдату руку. Подлиповцев вытолкали из полиции, и два дюжих солдата повели их в острог.

Пила и Сысойко никогда не видали арестантов, не знали, что за острог, не понимали, что такое делается с ними. Впрочем, они струсили. Уж не на смерть ли их ведут? Пила боялся солдат.

— Поштенной, а поштенной, куда это мы? — спросил Пила робко одного солдата.

— Куда? знамо, в острог.
— А это што?
— Не бывал коли,— увидишь. Заворовались, сволочи!
— Поругайся ты, востроглазый!
— Видно плута.
— Право, не ругайся, всего изобью.— Пила рванул было руки, да руки крепко связаны назад. Пила чувствовал, что он ровно без рук сделался. Он пошел в сторону, за ним пошел и Сысойко.
— Куда! куда! — закричали солдаты.
Пила и Сысойко пустились бежать. Солдаты их догнали и избили. Пила и Сысойко ругались, ругая друг друга.
— Баял я те, не пойду! — ворчал Сысойко.
— Молчи, пучеглазый! не ты бы, дак не пошел бы я.
— А ошшо бает: я колдун! — Сысойко выругал Пилу. Пила плюнул в лицо Сысойки, Сысойко тоже плюнул в лицо Пилы.
— Смирно вы, дьяволы! — закричал на них один солдат.
Пила и в солдата плюнул... Солдат опять избил Пилу. Кое-как солдаты довели подлиповцев до острога и сдали офицеру. Смотритель втолкнул их в большую избу, темную, сырую, холодную и грязную, с удушливым запахом махорки. Руки им развязали.
— Ишь, черт, куда попали! — ворчал Сысойко.
— Молчи, собака, зверь ты эндовый, мохнорылый пес!..
— Издохнешь, пигалица!..
— Тьфу... мохнорылый пес! — Пила плюнул в лицо Сысойки, тот тоже плюнул. Завязалась драка. Их оглушили хохотом тридцать человек арестантов с кандалами, лежащих на нарах и под нарами. Двадцать арестантов окружили подлиповцев и разняли их.
— Я восемь медведев убил, а ты што? — ругался Пила.
— Сам я одново убил... Экой прыткой!
— Ай да молодцы. Ну-ко ишшо? — кричали арестанты.
— Што ишшо? Подойди, пес! — кричал Пила одному арестанту.
— Ты много ли душ-то сгубил?
— За убийство, знамо, попался!
Пила схватил попавшийся под руки ушат и поднял его в порыве ярости, его облило чем-то вонючим. Все хохотали, даже Сысойко смеялся. Пила бросился на арестантов. Сысойко тоже бросился, но арестанты избили их.
— Не хочу я знаться с вам! — сказал Пила.— Айда, Сысойко.

Пила пошел к двери: двери были заперты. Пила стал стучать в двери и услышал:

— Что стучишь, сволочь? сиди!

— Я те дам — сиди! — Пила и Сысойко что есть мочи стучали в двери кулаками и метлой, валявшейся на полу.

— Храбер! — кричали арестанты.

— Ты, Сысойко, за меня держись... Как отопрут, мы и выскочим, а то съедят здесь. Ишь какие рожи-то...— Сысойко взял в обе руки полы полушубка Пилы. Загремел замок, двери отворились. Пила и Сысойко выскочили. Но их поймали. Смотритель их жестоко отпорол розгами и втолкнул в какую-то темную конурку. Пиле и Сысойке так обидно сделалось от боли и от всего, что было с ними, что каждый из них хотел что-нибудь сделать этим злым людям. Оба они лежали вместе на животах; руки были завязаны на спине. Они не могли даже повернуться; так их избили и истерзали!..

— Сысойко!..— стонал Пила.

— Пила!.. Ох, больно...

— Ну, теперь помрем...— Пила начал ругаться, Сысойко тоже, и оба страшно ругались и грызли рогожу, на которой лежали.

XII

На другой день подлиповцев повели в полицию. Пила и Сысойко шли молча, едва переступая от боли. Лица их были избиты; от ран на них запеклась кровь.

— Эк тебя избили,— сказал жалобно Пила Сысойке.

— И тебя, бат, тоже: глаза-те у тебя эво какие! а нос-то — беда!..— стонал Сысойко.

Несмотря на боль, обоих забавляли ружья солдатские.

— Што ж это торцыт, Сысойко? Вострое — нож не нож?

— А ты спроси!

— Нет, ты спроси.

— Боюсь, изобьют; ошшо пырнет востреем-то...

Пила не утерпел, спросил-таки солдата:

— А это, поштенный, что у те?

— Што — што?

— А на ружье-то торцыт?

— Это ружье, а это штык.

— Эво, не знают, што ли, ружья-то! Медведев вон ломом бил, а рябков ружьем стрелял, знаю.

Солдаты хохотали:

— Будет вам жару и пару!

— Ошшо?

— И как еще вздернут-то.

— А пошто?

— А зá то, не ходи пузато. Не делай убийства.

Пила и Сысойко молчали.

В полиции были городничий и судебный следователь.

В присутствие ввели Пилу одного.

Судебному следователю жалко стало Пилу при виде его особы, избитой и худой. Ему сказали только, что есть два важных преступника, которые бежали от стражи и были пойманы. Обстоятельство дела началось с донесения квартального, который писал, что Пила и Сысойко валялись пьяные ночью на улице, были приведены в полицию и там произвели буйство.

— Кто ты такой? — спросил судебный следователь Пилу.

Пила повалился в ноги судебному следователю.

— Не губи, батшко! Вон корову увели, лошадь украли... Апроська померла... Всего избили... Смерть тожно скоро...

Городничий улыбнулся.

— Притворяется, каналья!

— Встань! — сказал следователь. Когда Пила встал, следователь велел развязать Пиле руки.

— Ты говори откровенно: кто ты такой?

— Чердынской.

— Крестьянин?

— Хресьянин.

— Какой деревни?

— Деревни Подлипной, обчество Чудиново.

— Чем занимаешься?

— А что делать-то?.. Хлебушка нет, кору едим... Вон Сысойковы ребята померли, корову за них увели... А там Апроська померла. Сысойкова мать померла, я и пошел бурлачить... Вон Матренка с ребятами у Терентьича на постоялом живет... Пусти, батшко, бурлачить-то! Ослободи!..

— А как зовут тебя?

— Зовут меня Пила.

— Имя и отчество?

— Туто все: Пила родился, Пилой помру... Зовут еще Гаврилком, да это только дразнятся, а Пила настоящее; все так зовут: и поп и Терентьич здешний.

— Зачем ты драться лез?

— Где-ка?

— А как тебя пьяного сюда привели и как потом квартальный стал тебя спрашивать.

— Кто его знает, кто он. Я с Сысойком лежал, а он с

архаровцами пришел и давай пинать меня, потом и хлестнул... А я, бат, сам восемь медведев убил, никому не спущу... Больно прыток!.. Ишшо не то ему сделаю... Ишшо вот железки, собака, надел...

— Ты не ругайся, а говори дело.

— Уж как умею... А уж не спущу... Вон архаровцы всего избили а там еще хлестать стали... Беда! — Пила плакал.

— Он, кажется, не виноват! — сказал следователь городничему.

— Притворяется, собака.

Позвали квартального. Как только вошел квартальный, Пила чуть не бросился на него.

— Вот он, ватаракша! Ну-ко, подойди ко мне! Подойди.

— Молчать! — сказал городничий. Пила присмирел.

— Вы его привели в полицию ночью? — спросил следователь квартального.

— Казаки.

— Он говорит, вы его били!

— Ах он, каналья! Он спал пьяный, я стал будить его и другого, они ругаются. Стал спрашивать, кто они такие, этот разбойник и полез на меня. Я и велел заковать в кандалы и отвести в острог.

— Зачем?

— Да помилуйте, он всех перережет!

— Ах ты, вострглазый черт!.. Я те дам!!! Ты меня бить-то стал, а уж тебе где со мной орудовать. На тебе и надето-то што! Пигалица, право!

— Он вот и теперь ругается. Да он, может быть, беглый какой-нибудь.

— Есть у тебя паспорт? — спросил следователь Пилу. Пила не понимал.

— Это как?

— Получал ты когда-нибудь паспорт из волостного правления?

— Какой прыткой! Поди-ко, возьми наперед.

— Знаешь ты, что такое паспорт?

— А пошто?

— Тебе не давали никакой бумаги?

— Нету!

Следователь показал Пиле лежащий на столе паспорт.

— Баско! — осклабился Пила.— А ты дай мне! — Пиле понравился кружок с орлом на паспорте.— А это какая птича-то?

— Есть у тебя квитанция в платеже податей?

Пила не понимал этих слов.

— Это опять как? — спросил он.

— Платил ты подати?

— Сам бы взял ошшо, да не дают, вон Христа ради пособираешь да купишь хлебушка. Эк ты!..

Пила сделался развязнее. Следователь понравился ему.

— Вот што, поштенный, дай мне хлебушка Христа ради!.. Вот у меня Сысойко того и гляди помрет; а Матрена с ребятишками померла уж поди.

— На что же ты пьянствовал?

— А я лошадь Сысойкову продал хресьянину; хресьянин и повел нас, меня да Сысойку в кабак; хресьяна чужие пришли, ну и пили... За лошадь два рубля получил, а как хватился в том месте, где меня впервые избили, и тю-тю денег... Обокрали...

Следователь был человек молодой и понимал дело. Ему жалко было Пилу.

— Сколько тебе лет? — спросил он Пилу.

— Да вот, поди, лето скоро будет... Летом-то баско...

— Неужели ты не знаешь себе лет?

— Прокурат ты, как я погляжу! Помер бы я, да не могу... Вчера вот думал, совсем помру, а нет... Вон Апроська сперва померла... Ах, девка, девка!..— Пила вспомнил, как он видел ее в могиле.

— Кто она тебе?

— Девка, Матрена родила.

Следователю не раз приводилось иметь дело с подобными крестьянами. По своей глупости они ни за что ни про что попадали в беду. Назад тому год, до него, подобных крестьян обвиняли в разных разностях, приговаривали к каторге, и они, терпя наказание и разные муки, шли в далекие страны, сами не зная, что с ними делается, и гибли, как гибнут измученные животные. Прежним следователям никакого не было дела до участи этих бедных крестьян, им только нужно было скорее сдать дело в суд, который решал по тем данным, какие были в деле. Счастье Пилы, что его стал спрашивать не становой и не городничий, а такой следователь, каких у нас еще очень немного.

— Если ты окажешься прав, мы отпустим тебя,— сказал Пиле следователь.

Пила повалился в ноги следователю...

— Батшко! пусти скоре!.. Куды я без Сысойки денусь, и его пусти, ведь вон там парни ошшо.— Пилу вывели в прихожую.

Позвали Сысойку. Сысойко оказался еще глупее Пилы, говорил то же, что и Пила. Он даже не знал своего настоящего имени, а говорил: «Я Сысойко, и все тут».

Позвали Матрену и ребят Пилы. Те рассказали все, что умели и знали, а Матрена выла об Апроське. Хозяин постоялого двора сказал, что он знает Пилу несколько лет, что он вреда не делает, а больно беден. Спросил следователь и арестованных при полиции, те показали, что квартальный первый ударил Пилу. Служащие полиции показали, что квартальный в тот день был пьян. Пилу и Сысойку расковали и оставили при полиции под арестом до тех пор, пока не получат донесения от станового пристава, заведующего Чудиновской волостью о том, есть ли там Пила и Сысойко и какие настоящие их имена.

XIII

В полиции Пила и Сысойко жили с месяц. Жили они в небольшой комнате, называемой чижовкой, грязной, с тремя лавками, двумя небольшими окнами, с решетками и с разбитыми стеклами в рамах, заклеенными в нескольких местах бумагою. Клопов, блох и вшей в ней находилось бесчисленное множество, и эти насекомые то и дело что насыщались кровью своих жертв — нескольких человек, постоянно находящихся в чижовке. Иногда в чижовке было человек десять, иногда и пять. Люди эти были большею частью пьяницы, найденные ночью на улицах полицией, люди, нанесшие обиды разным подобным же им людям, не платящие долгов, уличенные в воровстве и разных преступлениях, которые сидели тут по неделям, а потом или препровождались в острог, или выпускались.

Пиле и Сысойке весело было с этими людьми, но они все-таки им не нравились. Они поняли, что чижовка такое место, куда садят только «негожих людей, да и люди эти все ругаются да говорят такие слова, что ужасти». Первую неделю Пила привыкал к этой праздной жизни и удивлялся, какой это добрый человек носит им хлеб, хоть и не свежий, а все же настоящий, и воду носит. Но когда он узнал от солдат, что он под судом, и хлеб дается ему казенный, или царский, и когда товарищи его надоели ему, он не залюбил эту чижовку и всех людей, которые в ней жили, и постоянно ругался с ними. Первым делом его храбрости в чижовке было то, что он согнал с одной лавки двух женщин и расположился с Сысойком на место их. Это было на второй неделе их заключения. Все они спали на полу, в своей одежде, на своих кула-

ках, так как постлать и положить под голову нечего было; но привыкши спать на полатях и поняв, что спать на лавке лучше, чем на полу, где постоянно ходят и наступают на них, Пила во что бы то ни стало задумал отнять одну лавку. Как он ни приступал, его не пускали на лавки и даже гнали, когда он садился. Но вот одна лавка опросталась: лежавшие на ней арестованные были выпущены, и на их месте расположились две молодые женщины, обвинявшиеся в воровстве. Пила узнал, кто эти женщины, и не залюбил их. Когда на другой день потребовали их к допросу, Пила и Сысойко тотчас заняли их место. Заметивши это, другие арестованные, перебивающиеся так же, как и подлиповцы, обиделись.

— Вы, сволочи, зачем легли?

— А што?

— Тут занято, почище вас есть.

— Поговори ты, собака!.. Мы, брат, раньше тебя живем.

Как их ни ругали арестованные, Пила и Сысойко только отругивались, а с места не шли.

Пришли женщины и, увидев, что им, кроме пола, лечь некуда, стали толкать Пилу и Сысойку. Те притворялись спящими. Когда женщины потащили Пилу, Пила ударил одну из них так, что та упала на пол.

— Что ты, собака, дерешься?

— Што? Ну-ко, подойди ошшо? Подойди!..

— Ты наше место занял.

— Я те дам «занял»! Прытка больно!..

В чижовке все хохотали.

— Да пустите, черти! — просили женщины.

Пила лег лицом к стене и ворчал:

— Я те пушшу, ватаракшу. Ты то пойми: за что мы-то сидим?

Женщины стали ласкать Пилу.

— Какой ты хороший! — говорила одна.

— Я те «хороший»... Прытка больно!..

Одна женщина обняла Пилу.

Пила опять ударил ее.

— Сказано, не тронь! и все тут! А с тобой уж не лягу, у меня вон Апроська была, а ты чужая...

. . . .

Подлиповцы каждый день топили печки в полиции и у городничего; случалось, проводили по целому дню в кухне городничего, что-нибудь работая. Дни эти были бла-

женные для них: они были несколько свободны, их кормили щами, жарким и даже кашей. Сам городничий понял положение Пилы, тем более что жена его, Матрена, просила городничего пустить ее в чижовку жить с ребятами. Они теперь жили у одной нищей за пятнадцать копеек в месяц и собирали ради Христа. Однако городничий не дозволил Матрене жить в каталажке, а погрозил отправить в Подлипную.

Казаков и солдат подлиповцы не любили, но боялись их; те, зная о подлиповцах, обращались с ними добрее, чем с прочими арестованными, и часто шутили. По мнению солдат и казаков, подлиповцы были очень глупы и дики; раздразнить их ничего не стоило: осердившись, подлиповцы лезли драться на того, кто сердил; но не все из солдат были такие; один из них часто отговаривал подлиповцев от ругани и драки. От этого же солдата они узнали, кого надо бояться, кого бить, кому как говорить, кому кланяться, кому нет. Подлиповцы узнали также, что их становой и сельский поп еще не большие лица, а в городе есть выше их: исправник, городничий, судья, а над попом благочинный, и что над этими лицами еще есть старше, они живут в губернском городе, и над теми тоже есть старшие... Подлиповцы только дивились этому и плохо верили. Говорили им также, что этот город не один и земля велика; подлиповцы только смеялись.

В продолжение месяца подлиповцы узнали больше, чем живши до этого времени; например, они узнали, что есть места лучше и хуже Подлипной, есть люди богатые и такие, которых ни за что обижают и делают с ними не силой, а чем-то иным все, что только захотят, как это было и с ними; в Подлипной они боялись только попа и станового, а здесь многие их обидели — избили и отодрали и теперь никуда не пускают. Узнали, что такое паспорты; узнали также, что так жить, как жили они, нельзя, а нужно идти в другое место. Пиле и Сысойке опротивела не только деревня, село, но даже и город, и они задумали, как выпустят их, тотчас же идти бурлачить и вести себя скромнее.

Наконец, Пилу и Сысойку выпустили из полиции.

— Куда теперь? — спросил Сысойко Пилу.

— Знамо, бурлачить.

Айда! А мы Пашку да Ваньку возьмем?

— Возьмем.

— И Матрену?

— А не то как? Ну, и времечко! и городок!.. Сколько бед-то.

— Одно к одному и идет. Апроськи нет, пишшит, поди, стерво. Лошади — тю-тю...

— А там, бают, лучше.

— Опять бы беды не было?

Насобирав на дорогу хлеба, купив на собранные деньги два мешка и по две пары лаптей, подлиповцы с Матреной и детьми ее отправились бурлачить. К ним пристали еще четыре крестьянина Чердынского уезда, отправляющиеся бурлачить в третий раз.

XIV

Подлиповцы и прочие крестьяне очень бедно одеты; но последние, по одежде, все-таки несколько богаче первых. На них надеты овчинные полушубки, во многих местах изодранные, зашитые серыми нитками или дратвой, с заплатами кожи, холста и синей нанки; под полушубком видится поддевка из толстой сермяги, также, вероятно, с заплатами; на головах большие шапки из бараньей шкуры, тоже с заплатами; на ногах новые лапти; мочальными бечевочками обвязаны серые с синими из нанки заплатами штаны, по колени не закрытые ничем; на руках — или небольшие кожаные рукавицы, тоже с заплатами, но они не одни надеты на руки; под ними есть варежки, когда-то связанные из шерсти, а теперь обшитые холстом,— или большие собачьи рукавицы, то есть сшитые из белых собачьих шкур с шерстью. Но Пила и Сысойко одеты еще хуже: на них полушубки из овечьей и телячьей шкур, чуть-чуть прикрывающие колени. Полушубки эти распластаны во многих местах, дыры ничем не зашиты, сквозь них видятся серые изгребные рубахи и грудь, так как у горла нет ни пуговиц, ни крючков, и они опоясаны ниже пупа толстыми веревками. От полушубков болтаются о колени клочки кожи. Шапки у них из телячьих шкур, тоже с дырами, ничем не зашитыми; синие штаны, обвязанные по колени веревками от худых лаптей, тоже с дырами, и сквозь дыры видно тело; лапти худые, из носков выглядывают онучи; рукавиц не было ни у Пилы, ни у Сысойки; их украли в полиции. Матрена была одета в такой же полушубок, как и подлиповцы, и такие же лапти, с тою только разницею, что колени ее прикрывала синяя изгребная рубаха, а на голове худенький платок, подаренный ей в городе. Матрена была опоясана веревкой, и за пазухой ее сидел трехгодовалый Тюнька. На руках Матрены были варежки, такие же, как и у крестьян, шедших с ними. На

Павле и Иване не было вовсе шерсти, а сверх худых рубах надеты серые поддевки, ноги и колена прикрывали тряпки, завязанные бечевками от худых лаптей; на руках большие кожаные рукавицы с дырами; на головах шапки из крепкого войлока. У каждого из наших путешественников болтается на спине по котомке с хлебом, по паре или по две пары лаптей; у Пилы, кроме этого, болтается еще вместе с лаптями худой сапог, найденный им в городе где-то среди дороги, вероятно брошенный по негодности. Для чего взял Пила этот сапог, он и сам не знал, а понравилось. «Баская штука-то! ужо продам!» — говорил он, и действительно продавал в городе этот сапог, только никто его не взял.

Идут наши подлиповцы по большой дороге, ухабистой и частью занесенной снегом; идут по сугробам и ругаются. Мороз как назло щиплет им и щеки, и колени, и пальцы ног и рук, и уши; хорошо еще, что по обеим сторонам лес густой и высокий. Подлиповцы привыкли к холоду, и их только злят проезжие в повозках и с дровами: нужно сворачивать в сторону; а как своротил, так и увяз в снегу по колени, а где и больше. Больше всего доставалось Павлу и Ивану; они в первый раз в жизни шли куда-то далеко; прежде они ездили на лошади, и хоть холодно им было, но все же не вязли в снегу. Зачем это тятька и Сысойко коней продали? — рассуждали они; ехали бы мы, ехали баско; а то иди, иди, конца нет... Они шли два часа, и им показалось это долго, они устали; им щипало пальцы ног и рук, носы забелелись, уши тоже.

— Тятька, помру! — кричал Павел.

— Тятька, не пойду! — кричал Иван.

— Я вам дам! — сказал Пила и обернулся назад. Жалко ему стало ребят.

— Што, щиплет?

— Аяй!

— Три нос-то да уши-те. Три хорошенько рукавицами-те! — кричал один крестьянин, а другой стал тереть Ивану щеки, нос и уши.

— Ой, ноги щиплет! — кричали Иван и Павел.

— Беги! вперед беги, прыгай, тепло будет! — Ребята пустились бежать и стали скакать.

— Ай, мальчонки!

— Брать бы не надо.

— Што им в деревне-то делать; помрут!

— Так оно. Гли, чтобы не замерзли!

— Не околиют.

Но и тут Пила отобрал от Павла рукавицы, и поэтому

Павел отнимал у Ивана рукавицы, Иван отнимал их в свою очередь у Павла,— так что эта борьба смешила наших путешественников.

Лучше всего было Тюньке. Ему тепло было на груди матери, а когда ему было холодно, то он плакал и кричал, а мать колотила его. Подлиповцы и товарищи их шли большею частью молча. У всех была какая-то тяжелая, неопределенная дума, какая-то тоска и радость: всех тяготила мысль о прошедшем, радовало будущее, хотелось скорее получить богачество. Пила и Сысойко думали о прошедшем, о своих горестях и о том, что-то будет в бурлачестве. Сколько проехало мимо них повозок с теплыми шубами! Подлиповцы им кланялись, снимая шапки и удивляясь звону колокольчиков, и долго стояли на одном месте, глядя на удаляющуюся повозку. Сидевшие в повозке не только не кланялись им, но и не глядели на них, а если и глядели, то как-то с презрением. Эти господа едва ли трудились думать о бедняках. Они не знали, сколько потерпели горя Пила и Сысойко, не знали, что вся их жизнь была одни лишения, несчастия, горькие слезы; что они не могли оставаться в своей деревне; что им надоела своя родина, и вот они бегут от нужды, идут в мороз куда-то в хорошее место, где будет им лучше, где будет много хлеба, где они будут свободны. Далеко ли им идти, они не знают, а уж коли пошли, пойдут-таки, авось будет хорошо, а назад незачем. Будь хоть там богачество,— они назад не пойдут: там они лишились Апроськи, коровы, лошадей, там их избили и измучили...

Товарищи Пилы и Сысойки, уже немолодые люди, также ругались и также сетовали на свою горькую, безотрадную жизнь; им также опротивела своя деревня, и они вот уже третью зиму оставляют свои семейства на произвол судьбы. Понятия их были не лучше, чем у подлиповцев. Они разнились от подлиповцев только тем, что были люди уже бывалые, видели города, испытали бурлацкую жизнь,— словом, были люди тертые. Как ни трудна была бурлацкая жизнь, все же она им казалась лучше, чем в своей деревне, где они жили только два месяца в году и скучали о бурлачестве. Теперь они решились не ходить в свои деревни, а жить в городах на время зимы. Только жалко им было своих семейств, но что же делать: баб бурлачить не берут, а сыновья еще маленькие. «Пусть сами идут добывать хлеб»,— говорили они. Пила их ругал за это, но крестьяне были своего убеждения; они уже обурлачились, стали отвыкать от баб и разных удовольствий...

Вот что рассказывали подлиповцам эти крестьяне.

— Спервоначалу баско. Турнут тебя на барку и заставят грести. Гребешь это, гребешь день и ночь, в рубахе гребешь... спотиешь, а барку несет по воде чуть-чуть, потому, значит, железа в ней много. Почнет витер, так барку-то и давай качать туды да сюды... А на Чусовой так наша барка летось о камень хлобыснулась и потонула; один бурлак, молодой парнюга, дай бог ему на том свете баскую жизнь, потонул, родной, так и не искали; бают, после вынырнул, да уж мертвый... Нас было много, робить заставили, значит, вытаскивать железо да барку, как воды меньше стало. Опосля уж на другую барку сели... Плыли долго... Городов много видели... Чудеса. А какие там махины бегают по воде-то, с колесами, да с печкой, трубища в сажень, а где и больше... Пра! А как сцапает две либо три огромнеющие махины, только без колес, и волокет так прытко и кверху и книзу. Баско... Только трудновато на барке-то, а все же ровно лучше. А теперь хлеб там какой есть: белый — чарский, бают. Все бы ел да ел, дорого только... Какие тамо яблоки да арбузы... Баско!.. Сладко там!

Пила и Сысойко слушали и губы облизывали... Они во всем верили товарищам и от души полюбили их.

— А вы нас туда и ведите!.. На самое такое место...— говорил Пила.

— Уж приведем, спасибо скажешь... А назад уж мы не подем, шабаш!

— И мы не подем.

Наконец, попалась им деревня. Все они разбрелись по домам. Добрые хозяева, расспросив их, куда они идут, пустили их на печки. Подлиповцы и товарищи их, отогревшись на печках, закусив тем, что дали им хозяева, которые были немного позажиточнее подлиповцев, отправились опять в путь.

Подлиповцы и их товарищи пять дней шли, пять ночей спали в деревнях, пять дней мерзли на холоде, оттирали свои щеки рукавицами и бегали по дороге, отогревая ноги, ругали холод, ветры и вьюгу, пять ночей отогревались на печках, а конца все нет. Пилу и Сысойку брало сомнение: куды это они нас ведут? Часто спрашивали крестьян: а скоро придем?

— Да теперь скоро Усолье, там и возьмут нас,— отвечали им крестьяне.

Пила и Сысойко после этого терпеливо стали ждать конца и шли веселее. Деревни здесь попадались чаще, с виду они были лучше чердынских, и людей в них больше на улице,

и все что-нибудь да делают: то бревна распиливают, то избу строят, то дрова куда-то да сено везут.

— Вот здесь баско!..— говорил Пила.

— И хлеб-то здесь баскяе,— говорил Сысойко.

Иван и Павел часто мерзли от холода; крепко их пробивало ветром: часто они плакали, садились на дорогу; но Пила колотил их и заставлял идти. Ребята шли и плакали... На шестой день они пришли в Усолье.

XV

Усолье — большое село, расположенное на берегу реки Камы. Оно очень красиво на вид: соляные варницы его рисуются на берегу реки Камы; зимою строятся барки и баржи, весною река оживает; всюду, с отплытием льда, снуют бедные мужики и спешат куда-то; сплавляются барки вниз, пароходы, зимовавшие на Каме, оживают от своего сна, бегут книзу одни или потащат за собою баржи. Цель этих пароходов — дать пищу жителям. По мелководью Камы выше Усолья и большею частью по ненахождению хороших лоцманов, знающих Каму от Усолья до Чердыни, буксирные пароходы ходят от Перми только до Усолья, и то весной и до половины лета. От Перми до Усолья только два пассажирских парохода. Сбыт Усолья — соль, но соль постоянно сплавляется коноводками, большими барками, в которые помещаются десятки тысяч пудов соли и которые большею частию действуют лошадьми. Усолье богатое село; в нем живут зажиточные купцы; остальной люд большею частию пробивается около варниц усольских и дедюхинских, завода, находящегося вблизи от Усолья. Несмотря на то, что и в Соликамске есть варницы и в двенадцати верстах от него стеклянный Ивановский завод, город этот, как и Чердынь, беднее Усолья, потому что сбыт всех материалов из него шлется в Усолье, оттуда идет в Пермь и дальше, большею частию по реке. Соликамские жители всегда закупают в Усолье хлеб и другие необходимые вещи.

Наши подлиповцы рот разинули при виде хороших домиков и особенно варниц: все какие-то столбы стоят, а промеж их, наверху, перекладины; дома большие, с большими лестницами до самой крыши; мужчины и женщины по лестницам какие-то мешки таскают. Везде народ что-нибудь делает: кто дрова, доски, бревна везет; бабы или ругают мужчин, или поют звонкие песни, мужчины щиплют их, они визжат и колотят их кулаками или мешками. Всюду оживление, суетня — иная жизнь, неизвестная до-

сел нашим подлиповцам... «Эко диво! Вот бы поробить!.. А это что? Ишь домина-то какая, не широкая, да высокая, а вверху штука какая-то: то поднимется, то унырнет...»

— Это, братцы, соль добывают. Вишь ты эту махину-то, што штучка-то укурнется да вынырнет,— это насос, а столбы-те эти с перекладинами тоже штучка... вишь перекладину-то: это желоб. Соль идет в варницу.

— Вре!

— Пра! Только соль-то не такая, какую мы едим, а черная: в варнице,— вишь, где из трубы дым-то идет,— там она варится и делается белой, настоящей солью.

— Лиже ты! Ах, цуцело! Это соль-то, што на хлеб сыплем! — удивлялся Пила.

— Она и есть.

— Вре!

— Ну. А ты сам погляди.

Товарищи повели подлиповцев в насос. Там четыре лошади, погоняемые одним мальчуганом, шли кругом столба с колесами. Колеса двигались, и их много, большие и маленькие. Подлиповцы ничего не понимали, не понимали и товарищи их, как соль добывается. «Лихо, бат, колеса-то ворочаются, смотри, какие большие. Спереди-то ровно ничего: то укурнется, то вынырнет какая-то штучка, а здесь вишь ты!..» — рассуждали товарищи подлиповцев. Мальчуган погонял лошадей: «Эй вы, черти! Псcю! Я вас!» — и он бил их палкой. Как, должно быть, скучно его занятие погонять лошадей вокруг столба целый день, а может быть, и неделю?.. Павла и Ивана задор взял: им завидно стало. Обоим хотелось так же погонять лошадей, как погонял это мальчуган. Они пристали к нему, попросту как к обыкновенному деревенскому мальчугану. Мальчуган обругал их. Подлиповцы вышли. Этот мальчуган был тертый калач, испытавший нужду и горе с детства, человек заводский; а наш заводский мальчик не уступит взрослому заводскому человеку, который толковее и злее крестьянина.

Заводский человек больше зол на свою судьбу, чем крестьянин. Крестьянин (я беру государственного) работает на себя, сколько ему хочется; с него берут только подати, спрашивают рекрута, да он должен понравиться, то есть удовлетворить станового. Заводский человек не то. Нанялся он в рабочие (я беру не то время, когда эти люди были крепостными и когда с ними делали, что хотели), назначили ему в месяц, понедельно или поденно плату и говорят: вот тебе работа,— непременно, чтобы она была кон-

чена. Не кончил работник к сроку работу или прогулял несколько дней, то есть почему-нибудь не пришел на работу, ему не дадут жалованья. Если рабочий делает не так и мастера замечают, что он ленится, его прогоняют, не заплатив платы. И так часто заводскому человеку приходится искать работы долго и голодать, потому что он идти в старое место боится; но куда пойдешь? как оставишь свое семейство, которое живет только им одним? И вот он за какую бы то ни было плату готов опять работать на том же заводе: «Пусть делают что хотят, а я буду робить...» Он работает день, на ночь уходит домой в надежде, что получит деньги утром; не утром, а в первом часу приказчик, явившийся посмотреть, работают ли люди, гонит от себя рабочих; приказчик человек богатый, он чувствует, что он сила, что он все, что он имеет рабов... а этим рабам есть нечего, убиваются их жены, голодают дети!..

Вот почему рабочий человек ко всему относится с ненавистью. Ни работа его не радует, ни свое семейство; он всю жизнь свою мучится; он еще в детстве знает, что он за человек, в детстве начинает привыкать к работе и, наконец, поступив в рабочие, видит угнетение, его бьют... Ушел бы, да боится; он только и умеет дрова рубить, да сено косить, да соль варить — или что-нибудь подобное, к чему он приучился еще с восьми лет.

Все заводские мальчики смышленее крестьянских мальчиков: мальчик шести лет уже бегает по заводским улицам с другими мальчиками, с товарищами, не боится старших; видя то, что делают старшие и что особенно его забавляет и нравится ему, он делает то же самое, один или с товарищами; он так же ругается, как и взрослый, и кого ненавидят старшие, того ненавидит и он.

Товарищи Пилы повели подлиповцев в варницы. В варнице печь огромная; пламя в ней так и разливается; жара нестерпимая, а мужики то и дело бросают в нее большущие поленья... «Диво! Откуда и лесу-то столь добыто? Вот бы тут остаться... тепло было бы, да вон и семь мужиков, сидя в углу на земле, каждый оплетает большие гомзули хлеба, да что-то из большого котла хлебают...»

— Это што? — спросил Пила одного работника, показывая рукой в печь.

— Слеп, што ли?.. Ишь печь!

— Знамо; ровно печь...

— Ну, и не спрашивай... Ково вам надо?

— Да мы так, поглядеть, — сказал один товарищ подлиповцев.

— Эка невидаль! Заставить бы вас поробить, так покаялись бы.

Пила не понимал: что тут трудного? уж не горят ли тут люди? «Вон поп баял, как помрешь, так в огонь, бает, турнут... и никогда, бает, не сгоришь. Вот этот огонь-то и есть...» Ему страшно сделалось.

— Подем, ребя! Ошшо спалят! — говорит Пила товарищам. Товарищи разговаривали с рабочими.

— Уж как трудновато. Не знаем — дрова в кучу складывать, не знаем — бросать в печь,— говорил один из работников.

— Эй вы, черти! что встали? Помогай дрова таскать! — кричал один мужик, бросая в варницу дрова, привезенные на семи лошадях. Подлиповцы с товарищами стали бросать к печке дрова. Подлиповцы охотно работали, их пробирал пот, им хорошо показалось носить дрова и бросать их в кучу.

— Баско, Сысойко!..— говорил Пила осклабляясь.

— Баско...

— Ты говори спасибо: не я, так съели бы тебя тамока...

— Ну их к цорту на кулицки. А мы не пойдем отселева?..

— Коли бурлачество — баско... только лиже печь-то, огнища-то — эво! Спалят ошшо...

— Нет уж, в друго место подем.

— А вы откелева? — спрашивали между тем работники товарищей подлиповцев.

— А чердынские. Знаешь Егорьевскую волость?

— Нет.

— А вы здешние?

— Мы дедюхинские; преж казенные были, теперь вольные стали.

— И подать не платите?

— Кои годы выслужили, не платят. А вы куда?

— Бурлачить.

— Плохо. Бурлачить, сказывают, ныне не то, что прежде. Пароходов много развелось. Вон прежде у нас и заведения такого не слыхали, а нынче пароходов много ходит, а там, в губернском, пропасть их.

Товарищи подлиповцы повели их в самую варницу. Там, в огромном котле, наподобие ящика в несколько сажен длины и ширины, что-то варилось, только виделась седая пена, которую изредка мешали рабочие, над котлом разные перекладины поделаны да доски; на них не то снег, не то что-то серое, и что-то каплет в котел с досок. В одном месте

рабочие бросали лопатками пену на эти доски. В правом углу, при входе, из стены что-то черное уставилось и от него желобок к котлу сделан. Сысойко дернул за кран; потекло черное, густое, не баско пахнет...

— Што же это? — дивился Сысойко.

— Это рассол...

— Не замай! Што трогаешь! — закричали на Сысойку работники и, оттолкнувши его, завернули кран. Пила и Сысойко пристали к рабочим.

— Это что же?

— А вы куда? Сюда нанимаетесь?

— Нет. Мы бурлачить.

— Ишь ты...

— А ты скажи: што это за штука? — спрашивал Пила, указывая на котел.

— Это котел. Вот оттудова, где кран-то, что черное-то бежит, рассол сюда пускаем, он переваривается в котле-то, потому, значит, под котлом-то печь... А это, вверху-то, полати, тут соль делается. Опосля она в амбары сыплется.

— Так это соль-то и есть?

— Она и есть.— Один работник достал с полатей на лопату соли и показал подлиповцам: — Вишь какая!

— А ты дай нам соли-то?

Работник дал. Пила склал ее в мешок, в котором был хлеб.

— Да ты заверни чем-нибудь соль-то, она хлеб испортит.

— А пошто?

— Сырой сделается.

Пила не знал, что делать: неловко, как хлеб испортится; «выбросить разве соль-ту»,— да жалко соли-то попуститься. «Дай лучше съедим». Подлиповцы расположились есть хлеб, посолив его круто солью, до того, что есть вовсе нельзя было. Однако они соль эту ссыпали на другой кусок. Наевшись, подлиповцы еще попросили соли и завязали, каждый по равной части, в концы пол своих полушубков, спросив предварительно: а ничего, не съест соль-та?..

Всему дивились подлиповцы в варнице, все их забавляло; хотелось им остаться тут, да товарищи торопили их к реке. Они пошли. На берегу реки и на льду ее работались барки, полубарки и баржи крестьянами. Подлиповцы в первый раз видели все это.

— Видишь эти штуки? — спросил один товарищ Пилу.

Пила посмотрел: домины не домины, а с окнами, трубищи огромные, посередине ровно колеса.

В реке стояли три парохода.

— Это вот барки; на них мы и поплывем. А эти вот, с колесами-те, то и есть, што мы баяли: больно прытко бегает и волокет за собой много... много...

— Э, да ты прокурат! Ну как на колесах по воде бегать-то? Поди-ко, не знают!..

— А так.

— Ну, не морочь. Вон я сколько раз был на реке Каме, так там колес-то нету, а вон эдакие устроены,— говорил Пила, показывая на одну лодку.

Все подошли к пароходу. Пила и Сысойко сначала боялись подойти.

— Не ходи близко, пырнет! — говорил Пила Сысойке.

— А ты подойди!

— Я подойду.— А сам ни с места. Однако, видя, что товарищи их, Павел и Иван, подошли близко, они спросили товарищей:

— А ничего, подойти-то можно?

— Можно, не укусит...— Пила и Сысойко подошли.

— Он, братцы, железный,— говорил один товарищ.

— Вре?

— Пра! И как бежит — свистит... ужасти!

— Ах, черт! — дивились Пила и Сысойко.— Как же он с колесами? Да и колеса-то какие-то другие, а не наши... Там, поди, лошадь где-нибудь спрятана...

— Это, вишь ты, для виду колеса, а выходит, по-здешнему, перья. Как пустят его, он и почнет загребать и почнет... да так скоро, мигнуть не успеешь.

— А пошто он теперь стоит?

— Потó: река замерзла. А как пройдет лед, он и побежит.

— А скоро?

— Когда тепло будет.

— А теперь побежит?

— Теперь нельзя, ишь, привязан.— Подлиповцы посмотрели на канат: толстая штука; им в первый раз приводилось видеть подобную вещь. Они захохотали.

— Силен, собака. Ишь, какую веревку-то на него надели... А как он да перегрызет?

— Летом убежит... Летом, бают, он на цепи стоит; якорь такой с цепью бросают в воду.

— Ах, черт! ах, леший!

Долго дивились подлиповцы над пароходом и плохо

поняли, что это за штука такая. Потом они пошли к баракам.

— Это што? — спросил Пила, указывая на большое пространство, занимаемое рекой.

— Это река Кама.

— Вре! Да Кама и у нас есть, только далеко, два дня ходу.

— Это все Кама.

— Экая цуцело!..

— Куда бог несет? — спросили их рабочие.

— Бурлачить.

— На Чусовую пробираетесь?

— На Чусовую.

— А вы какие?

— Чердынские.

— Так оно. У нас есть чердынские.

— Кто?

— Да с Прокопьевской волости двое, да из Чудиновской семеро.

— Ишь черти! А у вас нет ли чего робить?

— Теперь нету. А вы на базар ступайте, там много бурлаков. Бают, приказчик какой-то скоро будет нанимать на Чусовую.

— Ладно... А вы почем робите?

— Да рядились по пяти рублев, только опаска есть, как бы не обмишурились. Вон в прошлую зиму робили, робили, а получили только три рубля.

— А эти мальчонки-то с вам?

— С нам.

— Ой, не возьмут?

— Спехаю,— говорил Пила про своих детей. Подлиповцы с товарищами пошли на рынок.

XVI

На рынке они увидели до шестидесяти человек крестьян, одетых очень бедно, с котомками на плечах. Все они ходили по рынку, глазели, очень мало покупали, потому что у многих не было вовсе денег; многих из них занимали безделицы, удивляло то, что для сельского жителя нисколько не удивительно. По выговору их, по одежде, по обращению заметно, что они не здешние, а пришли откуда-то издалека и чего-то ищут или куда-то идут еще дальше. Над ними смеялись торговки, смеялись над их выговором и непонятливостью даже уличные мальчишки села.

Все эти люди так же бедны, как и подлиповцы: нужда, бедность края, неуменье работать заставили их покинуть свои семьи и идти в бурлаки с таким же убеждением, как шли подлиповцы и их товарищи. Каждому, как видно, опротивела родная сторона, хочется чего-то хорошего, хочется раздолья, хочется хорошо поработать, хорошо поесть, хорошо поспать... Здесь были крестьяне северо-восточной части Вологодской и восточной части Вятской губерний, смежной с Пермскою; там, при всевозможных усилиях, как и в Подлипной, от холода не добывается хлеба, а сбыта материалов очень мало. И вот они, наслышавшись от других крестьян, что есть хорошее занятие — бурлачество, работа легкая: знай плыви, дают деньги, еда вволю, люди все разные, местности хорошие,— пустились наудалую в путь, бурлачить по Каме, как ближайшей реке от их родины, на которой с давних пор бурлачило несколько десятков тысяч крестьян каждое лето...

После вопросов, куда и откуда, подлиповцы и товарищи их пристали к толпе. Первый день и второй день прошли весело. Подлиповцы, вместе с прочими крестьянами, ходили по селу, дивились над хорошими домами, ходили в варницы, на реку, помогали даром работникам, плутали по селу, отыскивая свои квартиры. Большую часть дня спали в постоялых избах и в избах бедных сельских жителей. На третий день у подлиповцев не было хлеба. Они насобирали хлеба и по нескольку копеек денег у сельских жителей; им начала надоедать эта праздная жизнь; им хотелось скорее дойти до бурлачества. И вот уже четвертый и пятый день прошел, а они все ходят по селу, крестьян прибывает все более и более... Все эти крестьяне — жители разных деревень и знакомятся друг с другом очень просто: спросили, куда и откуда,— и конец. В друг друге они видят подобного себе человека, знают, кто, куда и зачем идет, знают, что цель у всех одинакова; говорят они друг другу об своих нуждах; сообщают свои понятия о том, что их интересует; едят вместе в домах, где их квартиры; делят пополам хлеб и вместе спят где придется, не разбирая и того, что товарищ не их деревни и кто его знает, хороший он или худой человек. По имени друг друга редко называют. Они знают товарища по лицу, а в имени — что толку: он ему не брат, не родня, а так сошлись, веселее вместе. Обругать и осмеять друг друга тоже ничего не значит; и подерется кто — все как-то веселее, словно шутя: никто не сердится, а напротив, других это забавит. Если у бедного и больного человека нет хлеба, другой

товарищ сжалится над ним, отдаст ему излишек, надеясь сам добыть хлеба хоть милостинкой, да и товарищу хорошо от этого: ведь и он может быть без хлеба и ему при случае поможет его товарищ. Если у кого есть деньги и он привык употреблять их на водку, то он один не выпьет, а позовет товарищей, которые ему особенно нравятся или с которыми он живет на квартире. Так у всех этих крестьян были по два и по три хороших товарища, и все они, сойдясь на рынке, были как старые знакомые,— конечно, не снимали шапок и не жали руки, а начинали разговор прямо.

— А ты, поштенный, што рот-то разинул!

— Э! ништо.

— Гли, баба-то как стерелешиват![1]

— Эк ее разобрало.— Все хохочут.

— Экой конь-то баской!

— Запречь бы его бревна возить!

— А што, ребя, сдюжит ли он, как запречь его вон дрова в варничи возить?

— А пошто?

— А не сдюжит? Ишь, кака штука-то запряжена, легонькая, махонькая, пигалича...

— Не сдюжит.— Все хохочут.

И все в таком роде.

Пила и Сысойко так свыклись с своими товарищами, что постоянно ходили с ними, ели и спали на одной квартире. С своей стороны, и те не отставали от них, и если у кого-нибудь не было хлеба, то другой товарищ уделял свой излишек бедному.

Но никто так не жил дружно, как Пила с Сысойком, Павел с Иваном. Об отношениях Пилы к Сысойке и наоборот мы знаем. Надо сказать и об детях Пилы. Развитие их началось с тех пор, как отец повел их в город. В деревне ихнему уму не предстояло развития впереди; они бы выросли так же, как и Пила и Сысойко; в городе они увидели других людей, узнали, что там живут разные люди; они видели, как ихнего отца заковали и вели со связанными руками по городу, и, узнав от людей, что это делается только в таких случаях, когда люди убивают и грабят, они поняли, что их отец — плохой человек, что как он ни бахвалится, а есть люди лучше его. С этих пор отец стал казаться им как обыкновенный человек; он и Сысойко казались им даже смешными, и если они шли за ними, так только из привязанности к Пиле и

[1] Бежит. *(Примеч. автора.)*

Сысойке, да и куда денешься без них? К тому же они шли куда-то в хорошее место, а что им оставаться здесь или в Подлипной? Видя городских девушек, красивее и опрятнее подлиповских, ребята подумали, что подлиповские девушки хуже, вот бы с этой жить... Чем дальше шли ребята, тем больше работали их головы. Они бывали во многих деревнях; деревни были лучше Подлипной, в избах тоже и девки лучше. В селе их интересовало и забавляло все, и они старались понять, что это за штука такая? почему здесь так, а в Подлипной и в другом месте иначе? Но что они могли понять, когда и отец и товарищи отца сами не знали, почему это и зачем так. Вот они стали спрашивать сельских жителей, большею частью рабочих; те хотя и с бранью, но растолковывали им. После этого ребята долго толковали между собой и кое-как понимали. Например, они поняли, что рассол добывается посредством лошадей, что у лошадей больше силы, чем у людей, и человеку-мужику без лошадей плохо. Это они узнали так. Встали они против насоса. Насос был в бездействии. Подошли к дверям — лошадей не было. Они попробовали вернуть колеса, но не повернули. В другом месте лошади были в действии, и насос был в действии. Короче сказать, они больше понимали, чем их отец, Сысойко и Матрена, которая решительно ничего не понимала, а только охала. Поняв что-нибудь из слов сельских жителей, они сообщали отцу, который не верил им, и ребята,— после того, как он раз выругал их, когда они сказали ему: тятька! робь лучше здесь, а бурлачить, бают, трудно,— не стали больше говорить ни ему, ни Сысойке, ни Матрене того, что им казалось хорошо и что было бы хорошо и тем. Бурлачество их не манило почему-то, им лучше нравилось жить в селе, но как отстать от отца? «Уж пойдем, там, бают, город баской есть, там останемся...»

Теперь жизнь им казалась лучше, их тянуло на улицу; они поняли, что прежде они хворали от коры, теперь едят хлеб, и потому теперь хорошо. Одно только не хорошо: ноги устают. Братья постоянно были вместе, часто ходили по селу одни, говорили без умолку, спорили, дрались между собой и с сельскими ребятишками, которые их очень дразнили, ругали и раззадоривали на драки и которые им весьма не нравились.

— Уж мы туда не подем! — говорил Иван Павлу; показывая рукой в ту сторону, откуда они пришли.

— Пусть тятька идет, а мы нет.

— А Агашки не жалко? — спросил Павел Ивана.

— Ну ее к чертям! Здесь, смотри, девки-то.

— Баские, а там што...

— А ты, Пашка, не отставай от меня.

— Ты не отставай. Вместе лучше.

— Мы с тятькой не подем... и с мамкой не подем.

— Куды подем?.. подем ошшо...

Часто им доставались колотушки от бурлаков за любопытство и за то, что они не давали насобираемого хлеба, которого у них было всегда больше, потому что им меньше отказывали. Они вывертывались от бурлаков и ругали их так же, как и большие. На ругань не обращалось внимания ни отцом, ни прочими бурлаками, так как бранное непечатное словцо было для всех обыкновенным, как в дружеской беседе, так и при удивлении, и как ласка; им выражалась и злость, и досада, и радость. Бранными словами даже ночью бредили спящие бурлаки.

Своего отца Павел и Иван не боялись и не слушались. Скажет он им: «Подите хлеб собирать!» — один из них и говорит: «Поди сам собирай!» Он их обругает, а они ему язык кажут. Он их бить, а они барахтаются.

— Ах, черти! — ворчит Пила.— В меня вы, стервы, уродились, сильные будете...— Пила даже радовался, что ребята его умеют драться, и всегда отнимал у них, хлеб с бою, причем, конечно, ребятам больно доставалось.

О Матрене нечего сказать. Она постоянно сидела или лежала на полатях да говорила с хозяйкой, большею частию о подлиповцах и Апроське.

XVII

На пятый день Пила увидел в толпе прибывших вновь крестьян своих однодеревенцев Елкина и Морошина, прозванных по-подлиповски Елкой и Морошкой. Пила обрадовался. До сих пор он редко вспоминал подлиповцев, даже стал забывать Апроську.

— Вот они! — весело вскричал Пила Сысойке.— Ах вы, лешие! бурлачить?

— Бурлачить.

— А пошто?

— Да Пилы нет, што за жизнь,— говорил Морошка.

— А ребята как?

— Баба в городе осталась, и ребята с ней.

— Есть деньги?

— Есть.

— Украл?

— Украл.

— Ах, леший, леший! А со мной-ту что было, ужасти! — Пила начал рассказывать, как его избили, и повел своих однодеревенцев в питейную лавочку.

— Уж мы все знаем,— говорили прибывшие подлиповцы.

— Ну, ошшо не все померли? — спросил Пила Морошку.— А Агашка жива?

— После твоей Апроськи парень да девка Тычинки померли... Агашка ушла с бабкой,— куды-то в дом робить взяли.

— Ишь ты... А поп?

— Што с ним... Да я, почесь, и не видел его.

— А как... сам зарыл?

— Сам.

— Ну, теперь кто там у те?

— Да жена.

— А околиет?

— Пусь.

— Ах, цуцело!.. жалости в тебе нет.

— Та таперь кто там? Корчага да Кочеражка? — спросил Сысойко.

— Идти тожно хочут совсем: уйдут, тоже и моя баба с ними.

— А ты бы и взял их! Ну уж и край! Кто же в Подлипной-то останется.

— А собака!..

— Эво! И собаку с собой надо. А дома-то как?

— Дома! Эко диво! што с домами-то?.. Помрут?

Подлиповцы стали ходить вместе с товарищами Пилы и составили особую толпу.

— Мы, ребя, тожно все пойдем. Смотри, не отставать, а што бог даст, все пополам,— усовещивал Пила своих однодеревенцев.

— Уж не бай; ты голова, не нам чета.

Наконец, приехал приказчик из Шайтанского завода за наймом бурлаков. Около Шайтанского и прочих заводов хотя и есть крестьяне, но они считают за лучшее остаться дома, а крестьяне других северных уездов губернии рады за небольшую плату наняться в бурлаки. Бурлакам платят от 8 до 15 рублей за сплав барки от завода до Елабуги и других городов выше Нижнего, откуда металлы сплавляются уже пароходами.

Крестьяне, числом около ста, собрались на рынке. Пришел приказчик. Крестьяне шапки сняли.

— Вы бурлачить?

— Бурлачить.

— Кажите паспорта!

Паспорта были у двадцати человек, преимущественно крестьян Соликамского и Чердынского уездов.

— А у вас есть паспорта? — спросил приказчик остальных.

— Батюшко, не губи!.. каки тут еще паспорта?..— вопили крестьяне.

— Беспаспортных мне не надо.

Крестьяне в ноги ему поклонились.

Долго возился с крестьянами приказчик. Не понимают они его. Ему каждый год приводилось возиться с ними, и он все-таки обделывал дело: сам ездил в волости, выправлял паспорта бурлакам и вносил за них деньги. Теперь он заключил со всеми крестьянами контракт; отобрал паспорта, у кого они были, дал паспортным по рублю, а беспаспортным по полтиннику; велел дождаться его, а сам отправился в их волости.

После отъезда приказчика все крестьяне загуляли. Загуляли и Павел с Иваном, которые хотя и были всех моложе, но тоже попали в бурлаки и получили по тридцать копеек денег. Целую неделю кутили бурлаки, до тех пор пока не издержали все деньги. Да и промысловые рабочие то и дело подговаривали простаков на выпивки и угощались на их счет сами. Но когда у бурлаков не стало денег, рабочие два вечера сряду угощали их на свой счет,— за что промысловые рабочие очень понравились бурлакам. Павел и Иван купили себе лапти и валенки, а остальные деньги проели на булках. Одна только Матрена скучала, ее не приняли в бурлаки. Она поступила работницей на варницу и содержала Пилу, Сысойку и детей.

Три с половиной недели бурлаки ждали приказчика. В это время они хотели уйти, но их отговаривали промысловые рабочие тем, что теперь уже нельзя, так как получены ими задатки. Большая часть их работала на пристанях, у барок и у варниц, и только небольшими заработками они пробивались в селе.

Наконец, приехал приказчик. Он пересчитал всех крестьян, записал их снова, показал им паспорта, взятые на полгода, выбрал из них четверых в лоцманы, дал всем, кроме лоцманов, по рублю денег, а лоцманам по три рубля, велел идти в завод. Уладивши все с крестьянами, приказчик уехал.

Приказчиком было нанято еще более ста человек только на самых местах, в селах и деревнях Вятской губернии.

Все крестьяне, накупив по две пары лаптей, по три

ковриги хлеба, соли, наелись на ночь сытных щей, крепко уснули, а утром, вставши до свету, закусили крепко на дорогу, увязали плотнее свои котомки, собрались за селом и тронулись в путь.

Матрена долго следила за подлиповцами. Идут они, идут в большой толпе... вон Ванька да Пашка оглядываются и утирают слезы... Не взяли Матрену! заплакала она и ушла в варницу... Один только Тюнька не знает теперь горя: он рано встает с маленькими хозяйскими детьми, и как только встает он да хозяйские дети, и начинается у них беготня да игры. Хорошо еще, что хозяйка, мастерская жена, добрая и есть с кем Тюньке порезвиться, а не будь ни этой хозяйки, ни детей ее, что бы сталось с Тюнькой и Матреной? Как бы она стала работать с ребенком? А работа ее такая: дрова она в варницу таскает да из варниц в амбары соль на плечах по длинной лестнице носит. Трудная работа досталась Матрене!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БУРЛАКИ

I

Итак, наши подлиповцы отправились бурлачить с товарищами.

Всех шло сто тридцать один человек. На подлиповцах такая же одежда, в какой они были в Чердыни и в Усолье. На прочих товарищах или такая же одежда, как и у подлиповцев, или разнообразная: тут были полушубки из разных шкур, большею частью распластанные, в лохмотьях, без заплат, или просто изорванные сермяги, поддевки и что-то среднее между сермягой и поддевкой, называемое просто гунькой; у всех разнообразные шапки, хотя повсюду и одинаковые, большие, из шкур или войлочные, наподобие горшка; на руках у каждого рукавицы, или кожаные, или из шкур, или шерстяные; на ногах у каждого лапти. У каждого на спине висит котомка с хлебом, кое у кого с разным тряпьем. Ниже котомки болтаются по паре или по две пары лаптей. Спасибо еще приказчику, который нанял их бурлачить: он не поскупился дать каждому задаток; не дай он денег крестьянам, как бы они пошли в дальний путь без хлеба и лаптей.

Все они шли до сборного места, то есть до завода, целых три недели, и шли, как некогда шли евреи по пустыне Аравийской, с тою только разницей, что это были русские крестьяне, бежавшие от своих семейств. Шли они врассыпную по большим и проселочным дорогам, узким тропкам; плутали по целым дням в незнакомых местностях; ругались, мерзли, дрались и даже раскаивались, что пошли.

Их взялись вести четыре лоцмана, уже несколько лет занимавшихся бурлачеством и знавшие все станции-пристани от Чердыни до Нижнего и от Билимбаевского завода до Перми; но у этих лоцманов не было согласия в выборе дорог: каждый из них жил в разных местах зимой и отправлялся на Чусовую своими дорогами; сошедшись вместе, каждый хотел идти по своей дороге.

Вот, наконец, они согласились; все крестьяне идут за ними. Идут они два часа, едва-едва переступая ногами, не торопясь, разговаривают, поют песни грустные, долгие и тяжелые, а больше молчат. Проезжающие заставляют их сторониться, и кто из ста человек не успел своротить с дороги, того ямщик хлещет витнем. Крестьяне ругаются, хохочут и лезут драться. Одному почтовому ямщику плохо пришлось от них за витень, и крестьяне убили бы его, если бы не вступился почтальон и не разогнал их саблей. Всех забавит звон колокольчиков и шубы проезжающих бар. Они сначала дивятся, потом хохочут. Всем как-то весело, и кто поотстанет от толпы, догоняет ее. Подлиповцы идут особой кучкой. Они увлекаются разговорами товарищей, их хохотом, тешатся над выговором татар и черемисов; собственные несчастия они начали уже забывать.

Но вот дорога делится надвое. Вся ватага стала.

— Кажись, сюда теперь? — спрашивал один лоцман.

— Нет, не сюда, а сюда,— говорит другой лоцман.

— На-кося! Таперь по этой, по левой надо: тут село будет,— говорит третий.

— Эво! Што у те шары-те чем заволокло? Вот как подем по этой, по правой,— тут и будет деревня, три версты и всего-то! — говорит второй лоцман.

— Молчи! Тебе бают — село, а ты баешь — деревня...

— Медведь ты раменской!.. Тебе говорят — деревня... как войдем в нее, и сворачивай налево,— говорит четвертый лоцман.

— Да будьте вы прокляты, лешие! Привычки у вас нет, обычаю... Мы десять годов по эвтой дороге хаживали. Черти вы дьявольские! — ругается второй лоцман.

Остальные лоцманы задумались: а что, если он правду говорит?

— Смотри, не обмишурься... Право, знать, эта дорога-то? — говорит первый лоцман.

Часть бурлаков (бывалые) пристает ко второму лоцману и говорит:

— А, бат, дорога-то налево. Веди! — К ним пристает еще человек тридцать. Пристают и остальные. Начинается брань беспощадная, крик...

— Что, братцы, горло дерете? Коли вы другую дорогу знаете,— пошли... Мы восьмой год ходим, знаем...

— И я восьмой! И я шестой!..— кричат остальные путеводители.

— Ты веди толком! — кричит Пила.

— А я уйду тожно! — кричит первый лоцман.

— Ну, и иди, черт! што пристал? — кричат бурлаки.

— Ребя! Валяй его!.. бей!..

Первого путеводителя окружает человек сорок. Он старается всех урезонить. Бурлаки не верят. Остальные лоцманы-путеводители идут по левой дороге. За ними идут и прочие. Попадается им крестьянин с дровами. Он знает, кто эти люди.

— Эй, братан! эта дорога на Чусовую! — спрашивает крестьянина один из лоцманов.

— А вы бурлачить?

— Бурлачить.

— Э! Ступай вкось, там и будет река Яйва.

— Вре! А мы ее не прошли?

— Послезавтра будет.

— Ах ты (следует непечатная брань), да ведь Яйва в Каму бежит?

— А куды не то?.. Кама-то эво што... Вы бы и шли по Каме.

— А ништо, подем по Каме! — говорит один лоцман.

— Ступай. Эдак мы скоре придем; там еще будет Косьва да Усьва, а потом Чусова.

— Ну, и подем.

Тронулись по левой дороге. Пришли в деревню. Ночевали. Утром тронулись в путь по правой дороге. К вечеру пришли в эту же деревню... Ночевали. Утром пошли по левой дороге.

— Ишь ты, леший! — ворчат бурлаки.— Да ведь мы были тутотка?

— Где, в деревне-то?

— Ну!

— Слеп! Деревня-то совсем другая: в той семь домов, а в этой восемь,— говорит один лоцман. Бурлаки верят и не верят. Лоцмана спорят, и все-таки идут вместе все. Наконец, пришли к Яйве. Река не широкая, прикрытая льдом, занесенным снегом.

— А это што? — спрашивает Пила, указывая на пространство, занимаемое рекой.

— Это река, бают,— отвечают ему бурлаки.

— Кама? — спрашивает Пила.

— Нету. Кама вон де,— указывая рукой на север, говорит бурлак. Пила дивится.

Все стоят на берегу реки и спорят, как идти: направо по речке или налево.

— Мы, таперича, как подем налево, и Чусова будет,— говорит один лоцман,— олонись я не был здеся,— добавляет он.

— Ну, это ошшо тово оно...— говорит другой лоцман.

— Вот если бы таперича вскрылась река да барки бы если пошли, ну и узнал бы, в кою сторону путь держать,— говорит первый лоцман. Холодно. Все спускаются на лед; всех продувает ветер. Идут кто направо, кто налево, кто за реку. Все тонут в снегу и ворчат.

— Да вы ладом ведите! По Яйве-то никто не бурлачит, и мы в Яйве-то ни разу не шли, а переходили только,— ворчит один бурлак. Лоцмана ведут всех узенькой дорожкой, попавшейся за рекой. Бурлаки радуются. Пришли в деревню к вечеру. Поели, выспались, утром тронулись в путь. День шли хорошо, пели песни или молчали. К ним пристало несколько зырян.

Увидев кучу бурлаков, зыряне спросили:

— Кыдче мунан?[1]

— Бурлачить! — было ответом. Зыряне пристали.

В толпе были тоже зыряне, и между ними завязался разговор.

— Илыся лок тысь?[2]

— А Ежва, кырныш[3].

Опять попалась река. Бурлаки обрадовались.

— Вот она, Чусова-то!

— Вре! Экая махонькая?

---

[1] Куда пошли? *(Примеч. автора.)*

[2] Издалека шли? *(Примеч. автора.)*

[3] Река Вычегда, называемая зырянами Ежвой. Кырныш — ругань. *(Примеч. автора.)*

— Эта, братцы, не Чусова, а Косьва. Там еще будет Усьва, вот по той мы и пойдем в Чусовую.

Бурлаки успокоились, перешли реку и тихим шагом пошли за своими путеводителями. На третий день после перехода Косьвы вышла ссора.

Все шли они по одной узкой дороге: ладно. Вдруг дорога разделилась на три части. По которой идти? Лоцманы забыли.

Все стоят.

— По этой?

— Нет, по этой.

— Знаешь ты черную немочь! По этой...

Лоцмана дерутся. Их окружают бурлаки.

— Бей ево!.. Вот так!.. ну-ко, ошшо! — слышится со всех сторон.

Один лоцман убежал по левой дорожке. Его пошел догонять другой лоцман. Половина бурлаков идут за этими лоцманами. Два оставшиеся лоцмана уговаривают остальных бурлаков идти за ними.

— Пусть они идут по той! Уж как-то ли заблудятся, эво как! — говорит один лоцман.

— Ну, а ты и веди, коли мастер, а я пойду с ним...— говорит другой лоцман.

— И черт тебя бей! А мы как раз дойдем и по своей...

Бурлаки советуются, как им идти.

— Те, поди, ладно идут, а мы-то как?

— Подем тожно с ним.

Однако лоцманы ведут своих товарищей по той дороге, по которой ушла недавно половина бурлаков. Прошли с версту, а тех бурлаков не видать. Прошли они две дороги, наконец, на третью свернули и пошли.

— Куды же те-то побегли?

— Черти...— ворчат лоцманы.

— Надо бы нам поворотить по той дороге, что впервые попали.

— Кто ево знат... И места все другие, ни разу не был здеся.

— И я тоже.

Вот подошли они к большому полю. Дорогу занесло снегом; ветер сильный, резкий. Бурлаки ругаются и идут по полю, оставляя за собой следы большими зигзагами. Идут они час, все нет конца. «Что за черт?» — ворчат бурлаки. Их обуяла лень... Идти не хочется, а хочется поспать. Останавливается один бурлак, за ним останавли-

ваются все. Садится один на снег, все садятся. Развязывает котомку один, все развязывают свои котомки.

— Подем назад! — кричит один.

— Айда! — кричат двадцать человек.

— Баял, не ходи с ним!..— ворчит Пила.— А пошто назад-то?

— А пошто? А подем...— было ответом.

— Братцы, пойдемте! ночь, поди, скоро.

Бурлаки боятся ночи.

— А ты веди, пес! — кричит Пила.— Куда ты завел в эку чучу!

— Пырни ево! пырни! — кричат бурлаки на лоцмана.

— Пойдемте! право, скоро конец, за этим полем и конец.

— Помрем! — говорит Пила.

— Не помрем, а река будет. А назад подете, заблудитесь.

— Ну, и подем. Уж много шли, ишшо подем,— говорит Пила. Все идут. Посыпал снег, ветер стих. Снег залепляет глаза, только и видно снег да товарищей, а что кругом товарищей — бог весть.

Бурлаки злятся, смотрят на свою одежду, она в снегу, словно в муке купались. Все устали.

— Ребя, вон лес! — кричит один из толпы. Все повеселели. Бродят около лесу и блуждают. Отыскали дорогу к ночи, спустились под гору и под горой уснули. Закусивши утром, опять идут, дорога опять делится на две дороги. Просто черт знает, что такое.

— Ну уж и времечко! Преж, как подешь, и конец скоро, а теперь сколь исходили...— говорит один лоцман.

— Оттово все, што не так пошли. Говорил, надо трактом идти, а то мало ли дорог-ту! — ворчит другой лоцман.

— Экие лешие, куды завели. Все леса да леса, да горы какие-то. Эвон гора-то, чучела какая! — ворчат бурлаки.

— А мы подем на гору-то? Там, поди, баско! — говорит Сысойко.

— А и поди, попробуй!.. Там теперь видимо-невидимо медведев засело,— замечает Пила.

— Што медведи — волки, поди, стерелешивают... Ужасти! — замечает бурлак.

— А што, бат, здесь, поди, много медведев?

— Столько — беда!

— Вре?

— Видал ономеднись. Стадо целое.

— Вре? И не съели?

Бурлак-хвастун, не бывший никогда в этих местах, улыбается и того больше врет.

— Как хватил колом, вон эдаким, однако,— и издох, другого хватил — побежал, и те побежали.

— Вре?.. Ишь ты!

Разговор идет о медведях, кто сколько на своем веку медведей убил. Всякий старается перебить товарища рассказом; кто врет, кто говорит правду. Больше всех врал Пила.

— Ты вот по-моему сделай,— говорил он.— Одново раза летом иду, знашь, лесом; а лес-то — эво! не здешний, иное дерево и не охватишь, выше этова, густо... А со мной, знашь, лом был! Ну, иду да собираю грибы... Собирал так-ту, много набрал. Баско! и нашел на медведя, спит... А медведь-то — эво какой! Таких впервой увидел. Вот я, знашь, на цыпочках и побег к нему, и хлоп его по башке... и хлоп!.. И пику не дал!..

— Да он, поди, издохлой какой!

— Издохлой!.. Как бы не так! А пошто я ево хлеснул?..

— Значит, ты слеп был или другое что... может, спугался?

— Ну уж, кто другой спугатся, а я — шабаш!

— Да он, поди, медведь-то, мухомора обтрескался!

— Сказано — убил! — кричит Пила, сердясь.

— Знамо, издохлова.

— Поговори ты, собака!

Бурлаки хохочут и дразнят Пилу:

— Знамо, издохлова медведя убил.

— А што, если таперь медведи прибегут?

— Сюды-то?

— Ну... съедят нас али нет?

— Ну, таперь шабаш. Нас-то эво сколь. Как закричим и прогоним, и черт его не догонит...

— И топоров-то ни у кого нет...

— А мы закричим. Побежит...

Пришли они в деревню. В деревне сказали им, что они не в ту сторону идут к Чусовой. Пошли опять бурлаки назад отыскивать настоящий путь. Опять сбились с дороги. На другой день встретились с толпой других бурлаков.

— Вот они, лешие! — сказали обрадованные наши бурлаки.

— Это не те, другие.

— И то.

— А вы откедова?

— Вячки.

— Вячки ребята хвачки, семеро одново не бояча! — сострил один молодой бывалый бурлак.

Эти бурлаки знали дорогу лучше наших бурлаков, и все скоро добрались до Чусовой.

II

Река Чусовая была уже оживлена в это время. В нескольких местах, на льду и на низких берегах ее, на полях, строились барки и полубарки; воздух оглашался стуком топоров, криком крестьян. Подлиповцы с товарищами пошли берегом. Здесь идти им было весело: везде народ, есть с кем и слово перемолвить, есть кого и спросить, куда идти и далеко ли еще, и народ такой добрый. Река в этом месте узка; по обеим сторонам ее или высокие крутые берега, с нависшими деревьями и скалами, или с одной стороны крутой берег — гора, а с другой — низина, поле. В местах, где крутые берега с обеих сторон, было мрачно и страшно. Бывалые бурлаки рассказывали разные ужасы и страхи.

— Вишь, эта гора-то какая, матушка! А бед от нее много бывает... Вот она теперь ровно впереди, а как подем, она углом будет, ровно кто топором обрубил... Тут беда баркам. Как поплывет это барка и хлобыснется о гору, так ее и шарахнет, а место — беда, бают, дна нету...

— Бают, тут сидит кто-то. Черт не черт, а уж больно сердится. Бают, у него в лапах-то стресоглазка.

— Что сидит! Коли сидел бы — словили; нынче, бают, начальство строго. Вот таперича штуки понаделали, штобы нам ловко было плыть. А без эвтих штук беда была, потому река уж такая бурливая, да камней в ней много,— говорил один лоцман.

— Экая гора-то! Ах ты, какая высь! — дивятся бурлаки.

— Вот где мы идем! — говорит весело Пила.— Эк баско! А там, поди, ишшо лучше.

В этих местах им приходилось идти даже ночью, потому что не было не только что деревень, даже людей, кроме их, и ни одной барки. Здесь им казалось страшно: они боялись не медведей, а чего-то иного. Впереди, позади — кругом все горы, а вверху небо черное и звезд не видать.

— Ребята, тихонько иди! Смотри, полонья,— говорил кто-нибудь.

— Да мы бы спать.

— Ну нет. Смотри, какие богародни стоят вон там. Коева дни такие же были...

В левой стороне видится что-то белое, большое такое. Немного выше — не то церковь, не то кто его знает, что такое. И таких видов много. Бурлаки боятся подойти. «Убьет!» — говорят они и делают от таких мест большие круги.

— Боязно, братцы! Теперь-то еще што, а преже, бают, ужасти бывали. Вон, сказывают, жил здесь Ермак атаман-разбойник, людей убивал, беда!.. Он, сказывают, Сибирь в полон взял,— рассказывал лоцман.

— Все один?

— У него сила была огромнеющая. Люду сколь было, все разбойники...

— А он теперь где?

— Помер, сказывают... Сказывают, утонул.

— Вре! А он, поди, спрятался там на горе-то?

— Сказывают, потонул! У него, слышь, зипуна-то не было, а он железо носил.

— Пра?! Вот дак сила!.. Как хлобыснет, и помрешь?

— Ну уж, он сидит, поди, теперь, смотрит шарами-то. Это, смотри, не он ли — экой высокой да белой, ишь как усторился!..[1]

— Это дерево, а то вон камень выдался.

— Ну уж, не ври, это он... Подем поглядим?

— Ну-ко, поди, он те задаст! Как пырнет камнем-то...— Бурлаки дали круг. И долго толковали бурлаки об Ермаке, не зная его, а только наслышавшись о нем от бурлаков же.

Наконец, кончился их путь. Они пришли к заводу.

III

На берегу было множество крестьян: кто пилил бревна, кто рубил, кто строгал, кто гвозди и скобки вбивал; достраивались барки, коломенки и полубарки. Подлиповцев и прочих бурлаков сосчитали, поверили и выдали им по десяти копеек денег. Купили они хлеба, надели новые лапти, взяли господские топоры, железные лопаты и прочие необходимые инструменты для скорой работы и стали работать.

Всюду работа кипела. Каждый человек что-нибудь да делал, и если кто не умел топором, то гвозди вколачивал, снег отскребал или доски таскал. Кажется, барку нехитро сделать, а нашим бурлакам больно мудреною казалась эта штука. Они не могли надивиться, как это такая штука состроена? С ко-

[1] Долго и строго смотрит на один предмет. *(Примеч. автора.)*

торой стороны ни подойди, везде гладко, только железки какие-то вбиты, и вся из досок сделана да бревен. «Вон у нас избенки-те не так делаютча, как хошь, так и перевернешь бревно и приладишь, а тут все инако. И куда экая чучела? дом не дом, а кто ее знает, куда она годна?.. Дай мне — не возьму. Пра, не возьму!..»

На бурлаков кричали мастера.

— Что стоишь: робь! Деньги только даром берете, разбойники!

Бурлак почешет один бок, спину и пойдет с топором к барке. Что ему делать? Вот он видит, лежит доска. Баская доска-то, да верно робить велят, и бурлак начинает рубить доску без цели, а так, думая, что и он робит.

— Пошто ты доску-то рубишь, пошто? Я тебе!..— кричит на бурлака мастер или работник.

Бурлак отходит от доски и глядит на прочих.

— Что стал? робь!

— Да што робить-то?

— Што! поди обтеши бревно... У, лентяи! скоты! — и т. д. И пойдет бурлак рубить бревно и изрубит его так, что оно на дрова годится.

— Ах вы, бестолочь! Я вас!.. Поди, притяни доску.

Один бурлак не совладает,— он и взять не умеет доску, с которого конца ее приложить; вот и возьмутся человек шесть-семь держать доску.

— Ладь, ладь! Што стали!

Бурлаки прилаживают.

— Не так!.. Сюды!!

Бурлаки смотрят на доску. Доску берут еще человек пять. Доску приладили.

— Напри брюхом!

Наперли все разом — и так сильно, что пот их пробирает, и им баско кажется.

Так и кипит работа. Все бьются до поту и не могут понять, что они такое робят и к чему эдакая работа, больно уж баская да чудная.

Работают они каждый день, бахвалятся, что и они робить мастера, а не понимают своей работы. Чувствовать им нечего: им или баско, или худо; об своих деревнях они забыли, с людьми хорошо, да и чувствовать-то некогда: то рубить, то скоблить, то колотить... Встал рано, есть хочется — чувство, поробил, есть хочется — чувство, спать хочется — чувство.

О Пиле и Сысойке сказать особенно нечего. Они точно такие же были, а пожалуй, и хуже. Они теперь блажен-

ствовали. У маленьких подлипоцев, Павла и Ивана, было больше способностей, чем у старших. Они, конечно, не могли сделать больше взрослого, окрепшего мужчины, но понимали, как и к чему такая вещь следует и как, что и для чего делается. Занятие их было обделывать поносную, похожую на мачту, или вколачивать скобки. Эта работа им так казалась хорошей, что они, если ее не было в одном месте, шли в другое и там отгоняли рабочих от не своего дела.

Теперь отец для Павла и Ивана был все равно, что и прочие бурлаки. Они теперь никого не боялись, и старших у них не было.

— Пашка! Они все свиньи,— говорил Иван.

— Все. Они робить не умеют.

— И тятька свинья!

— И Сысойко свинья... А мы свиньи?

— Мы-то?.. А пошто?

Немного помолчав, они опять спрашивают друг друга, свиньи они или нет; кажется, свиньи, а ровно и нет: «Свиньи-то эво какие! А мы воно какие».

Откуда забралась в их головы такая мысль, они сами понять не могли; слышали только, что приказчик ругал как-то бурлаков свиньями...

С бурлаками маленькое заводское начальство обращалось очень грубо; часто обделивало деньгами, так что многие голодали. У него, конечно, свои интересы, а над бедным бурлаком что хочешь делай — смолчит или изругает, а жаловаться не пойдет, да и некому...

IV

Настало тепло. Солнышко греет; снег с каждым днем тает и тает; с гор бегут в реку ручьи, на вершинах видится бурая земля. Барки уже сделаны, а бурлаки все еще работают: кто весло делает, кто конопатит барки и полубарки, кто так себе рубит бревно; работа кипит везде; целые две тысячи бурлаков копошатся на берегу у барок, на барках, на льду, в рубахах, дырявых и со множеством заплат; с иных пот каплет.

Наступает пора еды, бурлаки садятся кучками на берег или на обрубки бревен, на сломанные доски, едят хлеб, прихлебывая щей с капустой и дрянной говядиной, кто в шапках, кто без шапок. Солнышко так и греет их, оно освещает загрубелые, желтые лица бурлаков, и вообще как-то приветливо. В кучках сидят преимущественно люди равных названий: татары с татарами, черемисы с черемисами,

подлиповцы с подлиповцами и т. д., так что воздух оглашается разными наречиями; лепечут бойко татары и черемисы, пришепетывают зыряне, кричат пермяки, выговаривая: поце? зацем? цуца и т. д. За обедом все кажутся веселы: каждому, утомленному работой, любо, что солнышко светит и греет баско, и он долго-долго смотрит на солнышко, до тех пор, пока не заболят глаза, и думает какую-то думу... Славное солнышко! пошто оно не каждый день так светит? когда и вовсе его нет, а когда покажется, да и спрячется, чучело!.. Поевши, бурлаки опять принимаются за работу, но уже ленивее утреннего: хочется полежать. Вечером все собираются на барки, сидят кучками и толкуют больше о бурлачестве; сидят долго, думают, скоро ли они перестанут робить; когда будет такая пора, когда они все так будут сидеть... Потом начинают петь свои песни, каждый на своем языке, и поют они долго-долго, не понимая сами смысла песни, а хорошо им кажется, и сердце ноет, кого-то жаль, хочется чего-то... Тут есть и музыканты: те разгоняют свою тоску, играя на гармониках и балалайках какие-то веселые песни. Но и тут невесело: поиграет, поиграет бурлак, отдаст инструмент другому, а сам пристанет к другим, и сам поет с ними. Одни только татары да зыряне какие-то чудны́е: они, как кончат работу, и ложатся спать, как будто им не нравится общество остальных людей. Днем они иногда поют поодиночке или голосов в шесть, так над ними бурлаки смеются — больно уж забавно поют, талалакают на своем языке. Умаявшись, надравши горла, бурлаки идут спать в пустые барки; положив под голову котомку с имуществом — чашкой, ложкой, лаптями,— бурлак растягивается на полу; и как лег, так и уснул...

Становилось все теплее и теплее. Снег почти весь стаял. Лед покрылся водой. Барки уже совсем отстроены. Стали прибирать бревна, доски, очищали берег, сдвигали коломенки, барки и полубарки ближе к берегу, стали грузить их железом и чугуном. Воздух наполнился криком, руганью, стуком, треском, звуком от железа; бурлаки суетились бегали, тащили полосы и листы железные, кряхтели, потели... На них кричали приказчики, лоцманы, показывая, куда что нужно класть. Наконец, барки, коломенки и полубарки наполнены, поносные весла, канаты, шестики, доски, бревна и разные разности положены на коломенки, барки и полубарки, бурлаков распределили на барки, кого до Елабуги, кого до Сарапула, кого до Волги, кого до Саратова. Бурлакам до Елабуги назначили восемь рублей, до Сарапула девять, до Волги десять, до Саратова четырнадцать за сплав.

Всем заказано быть наготове. На каждой барке было по одному и по два лоцмана, по два водолива. Каждому было наказано, что делать, где стоять. Делать нечего, а бурлаки все что-нибудь да делают: то поносную потешет топором да пообрубит весло, то увидит на боку барки дыру, выстрогает дощечку, прибьет и законопатит, а то еще дранку на скобки прибьет. И сколько на этих барках заплат! Хотя они и новые, а все как-то кстати приладилось: и сами они в заплатах, и рабочие на них тоже с заплатами носят одежду. Барки приладились, нумера на них написали, первую букву завода на корме выжгли, воткнули в столб на носу палочку с маленьким флагом. Среди коломенок и барок, точно барыни какие, красуются три большие коломенки-караванки с мачтами, с разноцветными кружками на верху мачт и с флагами, на которых красуется название завода. Бурлаки большею частию отдыхают, поют песни, едят и поглядывают на другие барки и в особенности на караванки, на коих, сказывают, поплывут набольшие, кои бурлаков приняли, да, бают, ошшо палить станут. Бурлаки получили по полтора рубля денег, ходят по заводу, покупают хлеба, мяса, больше луку свежего; несколько человек купили балалайки. В барках и на берегу варят в больших котлах говядину, брюшину, баранину и едят дружно. Накопивши рубля три денег, покупают в заводе у рабочих чугунки, сковородники, утюги и разные вещи очень дешево и тащят в барки. Даже собирают бросовое железо, валяющиеся гвозди, скобки — все пригодится, может быть, кто и купит.

Подлиповцы торжествовали. Они никогда не живали в таком большом обществе людей своей братии и друг другу сообщали свои чувства.

— Вот, значит, я сила. Не я бы, так што было бы с вами? — говорил Пила своим товарищам.

— Уже што говорить! — откликались Пиле товарищи.

— Ошшо не то сделаю.

— Все бы Апроську надо,— говорил Сысойко печально.

— Надо бы...— и Пила задумывается.

— А пошто здесь баб нету? — спрашивают другие подлиповцы.

— А кто их знат!.. Да што бабам-то делать?.. все сробили.

Все они ждали той поры, когда они поплывут, и говорили об этом предмете, каждый по своему разуму.

— Вот теперь как барка-то стоит и зашевелится, побежит, бают, и не догонишь; а мы ее пехать будем весломту,— рассуждает Пила.

— А куда побежим?

— Куда... знамо, куда...— А куда — Пила не может объяснить.

— Как же мы теперь побежим? Смотри, сколь железа-то накладено, а нас-то сколь?..— спрашивает Сысойко.

— Уж побежим.

— Да теперь барку-то не сдвинешь. Поди, лошадь запрегут?

— Бают, водой поташшит.

— Экой прыткой!.. А как да нас запрегут?..

— Толкуй с дураком!

Каждый вечер был каким-то праздником на барках: выпившие водки плясали, тысячи бурлаков пели, в разных местах кричали, где-нибудь несколько бурлаков все еще рубят что-то. Все это веселит подлиповцев.

«Надо бы Матренку взять. Вот бы поглядела, курва!» — думает Пила и говорит об этом Сысойке. Сысойко вздыхает об Апроське, потом плюет и говорит:

— Ну их к лешим!

— Ну уж, мы теперь назад не пойдем,— говорит Пила.

— Так и будем робить,— соглашается с Пилой Сысойко.

Многие бурлаки курят махорку из глиняных трубок с коротенькими чубуками.

Пила тоже завел трубку и постоянно курит махорку с Сысойком. Сначала их тошнило, а потом они втянулись. Для чего они курили, не знали, а так завидно стало: прочие бурлаки курят, да и баско, веселее ровно, как покуришь.

V

От берегов отъело лед, и он готов тронуться, как только прибудет вода. Барки прикрепили канатами за сваи, вбитые в землю. Вот пустили из заводского пруда воду; вода с силой вырвалась из своего заключения, быстро большою массою хлынула из плотины и пошла катать: все, что было на пути, неслось водой. Вот бросилась вода в реку, сначала покрыла лед, потом лед поднялся, треснул, заколыхался... Вода все больше и больше прибывает, а лед то и дело ломает, вертит, словно в омуте. Бурлаки стоят с разинутыми ртами на барках, на берегу тысячи заводчан... С берегу слышны крики.

— Тронулся... тронулся! — Многие бросали в реку медные монеты.

Но лед только кружится, чернеет.

— Пошел, пошел! — кричит народ.

Действительно, река на большое пространство очистилась. Лед впереди все более и более напирал на берега, трещал, ломался и наводил на бурлаков ужас до того, что некоторые из них крестились. Барки покачивало.

— Пошла Чусовая! пошла Христовая...— кричит народ и кидает в нее грошики.

— Нет ли у те копейки? — спрашивает девица свою подругу.

Подруга дает ей копейку, она кидает ее в реку и что-то шепчет.

По местному понятию, при вскрытии реки нужно подарить ее для того, чтобы не утонуть в ней.

Ни одного бурлака не было такого, который бы не радовался в это время. Все были заняты вскрытием реки, как точно дождались светлого праздника. Река шумела, издали слышался треск и какой-то гул, бурлаки кричали:

— Смотри, как льдину-то шарахнуло!

— Гли, што диется! эк ее раскололо!..

— Смотри, шитик тащит!

— Зевай! Лови поносную!.. Черти!

— Я вас, я вас! Што глазеете!.. Пехай льдину, пехай!

С этого дня началась работа бурлацкая.

Вода все больше и больше прибывала. Мало-помалу вода подходила к баркам, и на третий день все барки стояли в воде. Крик, беготня, стукотня не умолкали.

— Спехивай барки! спехивай! Что стали? — кричали лоцманы.

Бурлаки берутся за шесты.

— Не так, с этого конца!

— Канат опусти!

— Вяжи... Заматывай, дьявол!.. Подай чалку!

Барки подвигались все ближе и ближе к реке и, наконец, были уже в ней.

— Сто-ой! Ах вы, лешие!.. Брось чалку на энту барку!

— Цепи́!.. што рот-то разинул!.. Да подай ты, леший, веревку!

Бурлаки метались на барках и на берегу. Все из рук валилось.

Подлиповцы были на берегу. Их очень удивило, что барки так скоро попали в реку, и удивлял переход от льда к воде. Все был лед, а теперь — па́ вот! Ишь, сколь воды-то!..

В каждой барке была уже вода.

— Откачивай воду! живо! — кричат лоцманы в одном месте.

— Чини барку! — кричат в другом месте.

Павел и Иван назначены в водоливы. Стоят они в барке друг против друга и большим черпаком, привязанным веревкой за потолок барки (палубу), помахивают, как очепом, и выливают им воду в отверстия, сделанные на боках барки.

Лед шел уже меньше. Бурлаки долго дивились по вечерам: куда это лед идет? И порешили на том, что идет куда-то в море-окиян. Сверху стали приплывать барки все больше и больше. Теперь было уже до ста барок, и на каждой от пятидесяти до восьмидесяти человек бурлаков.

Через три дня, как прошел лед, бурлакам опять нечего делать. Большая часть лежала на барках, суша онучки на солнышке, или ходили в завод за хлебом. Все чего-то ждали, чего-то боялись, хотели скорее плыть, рассказывали разные страхи. Сысойко и Пила с детьми попали на коломенку. Эта коломенка, как и другие коломенки, построена из соснового леса, имела плоское дно, которое к корме и носу постепенно суживалось, и имела палубу.

Пила и Сысойко сменяли Павла и Ивана, когда им нечего было делать или надоедало лежать. Была ли то привязанность к ребятам, жалость к ним или желание поробить — решать не берусь. Только Пила сильно начинал надоедать лоцману своими услугами. Скажет лоцман бурлакам: «Подтяните поносную!» — Пила летит со всех ног с поносной, Сысойко тоже за ним, и примутся оба за поносную. Лоцман видит, как они и взяться-то не умеют как следует,— обругает их. Пила спрашивает: «А ты скажи, как?..» Велит лоцман какому-нибудь бурлаку сбегать на другую барку зачем-нибудь, Пила опять бежит от работы.

— Ты куды! Ты знай свое дело! — говорит лоцман.

— Сделаю то и то...— говорит Пила и идет на другую барку.

Лежит лоцман в коломенке на железе и думает что-то, смотря на ребят, откачивающих воду. Пила и Сысойко гонят ребят.

— Подь, чучело! И тут робить не умеешь.

— Вот, умеешь!.. Пусти! — кричит Иван.

— Дурень, подь побегай...— говорит Пила Ивану. А ребятам давно хочется погулять.

— Не трог! Што пристал к ним? Знай свое дело,— облает Пилу лоцман.

— Экой ты, Терентьич! Мальчонкам-то трудно ведь.

— Мало ли что! взялся за гуж, будь дюж.

— Да парни-то родные.

— Мало ли что родные. Знаем мы родных-то,— кто с борка, кто с веретейки...

Пила и Сысойко откачивают воду. Покачают, покачают, спины заболят, сядут и ждут, чтобы скорее лоцман ушел и им бы лечь поспать.

— Качай, што стали!

— Да мы так...

— Я те дам — так!..

Этот лоцман заводский человек и уже четырнадцатый год бурлачит по Чусовой и Каме, лоцманом служит шестой год и знает все опасные места на реках, за что и получает хорошее жалованье.

Лоцман на барке или на коломенке — глава; без него ничего не поделаешь. Лоцман отвечает за целость барки, казенного имущества, здоровье людей,— одним словом, он должен в целости сдать то, что принял. Поэтому не удивительно, что лоцман обращается со всеми, как ему вздумается.

Вот к этому-то человеку и старался втереться Пила, понравиться, для того чтобы ему лучше было. Он понял, что все его товарищи бурлаки — такие же люди, как и он, что от них ничего не получишь хорошего, а еще наживешь худа, пожалуй, лоцман возьмет да и прогонит, как прогнал шестерых бурлаков за то, что они стащили ночью с барки две полосы железа.

Лоцман же, бывши сам бедным бурлаком, всех считал равными себе, знал нужду каждого, не налегал ни на кого слишком работою и требовал только, чтобы все исполняли свое дело как следует. Одно только в нем было скверно: зная, как и что сделать, он хотел, чтобы все так делали и делали живо.

Чтобы больше втереться к лоцману, Пила стал ему наговаривать на бурлаков.

И действительно, лоцман по вечерам сидел с подлиповцами, расспрашивал их об родине и сам рассказывал им свои делишки.

— Вот ты пошел теперь бурлачить, и ладно. Города посмотришь разные, и жизнь-то лучше будет. Я, брат, тоже прежде мыкался так-ту, да поправился. Трудно было, зато теперь любезно поживаю: в заводе баба, летом весело.

Пила слушал рот разиня.

— Как походишь годов десяток, и сам будешь лоцманом.

— А теперь нельзя?

— Экой ты дурень! Ты знаешь ли, што за штука лоцман?

— Э!

— Точно. Возьмешься ты за это дело и покаешься. Вот теперь Чусовая. Уж я знаю все, где какое место опасное, а кто ево знает, что случится? Вдруг как коломенка-то разобьется, ну и потонет. А я отвечай... Дура!..

Пила не понимал, как может потонуть коломенка. Лоцман растолковал ему.

— Эко дело!.. Научи ты меня, Терентьич! — говорил Пила.

— Вот и учись. Ты стой возле меня. Я тебя заставлю попосной водить.

— Уж ты и Сысойка заставь.

— И его заставлю. Только смотри делай, как я буду велеть.

— Уж не бай! А ты, Терентьич, и ребят туды поставь.

— Ребят нельзя. Работа их легкая. И им с эким бревном валандаться неподходящее дело... Надо тоже и чувствие иметь.

— А если можно, ты лучше со мной поставь.

— Толкуй с дураком! Ты то пойми: што им здесь делать-то? Какая у них сила? Ишшо захворают, горе будет с ними.

— Ну так и ладно.

Терентьич очень понравился Пиле, но Сысойко почему-то невзлюбил его.

Не долго постояли барки, не долго нежились и бурлаки. Надо же и плыть в дальний путь... Поплывайте, добрые молодцы, за богачеством. Не знаете вы, что богачество-то вы сами спроваживаете: барки-то полны, да не для вас все это.

VI

Приказчики сосчитали всех бурлаков. Беглых оказалось двадцать четыре человека. Барки были осмотрены старательно. Дали бурлакам по полтиннику денег и велели готовиться в путь; а тронуться назначено завтра. Окончив поверку и осмотр барок, приказчики сказали лоцманам:

— Ну, ребята, завтра мы поплывем. Смотрите, берегите барки и народ.

— Уж в эвтом не сумневайтесь,— было ответом лоцманов.

— Ну и ладно. А вы, ребята бурлаки, во всем слушай

тесь лоцманов. Если кто ленив окажется да буянить будет, того мы прогоним и денег не дадим.

Бурлаки на это ничего не сказали, а стояли без шапок, переминаясь с ноги на ногу и почесывая свои бока.

— А когда в Пермь приплывем, тогда получите половину денег сполна.

Бурлакам это любо показалось. Кто поклонился приказчику, а кто и так стоял и смотрел на приказчика, как будто говорил про себя: больно ты хорош человек, только не обидь бедного человека...

Когда ушли приказчики, деятельность оживилась: лоцмана кричали на бурлаков, бурлаки бегали, кое-что прилаживали и починивали, готовили барки к отплытию. Вечером, накупивши в заводе хлеба и лаптей, все бурлаки загуляли — пропили свои трудовые деньги. Вечером в заводе было большое веселие: у бурлаков много было знакомых из рабочих, и они теперь угощали их за хлеб-соль. Наши подлиповцы тоже были пьяны, даже Павел с Иваном выпили косушку, и лоцман Терентьич тоже был пьян и бахвалился тем, что он лоцман не на барке, а на коломенке и шесть лет благополучно проводил барки. Песни и пляски стихли далеко за полночь, и многие бурлаки вовсе не спали, потому что в четвертом часу утра приехало заводское начальство с духовенством. Священник отслужил молебен на караванке, окропил барки водой, раздался выстрел; бурлаки дрогнули, а он глухим раскатом залился в горах. Выстрелили с караванки еще раз, еще раз, и пошла пальба... Народу на берегу много было.

— Отчаливай! Живо!..— крикнул кто-то с главной караванки.

Бурлаки бегали как угорелые по баркам, перебегали с барки на барку, кто брал весло, кто держал поносную, кто веревку...

— Отчаливай вон ту! что стали! — кричали с караванки. Барки трещали, скрипели...

Одна барка пошла, понесло и людей вместе с нею. Подлиповцы рот разинули.

— Крестись! — командовал лоцман.

Крещеные бурлаки перекрестились.

Барку повернуло боком, и она так и поплыла.

— Гре́би возьми!..— Бурлаки схватили весла. Одно весло держали двое.

— Греби сильней! греби-и!!

Бурлаки опустили в воду весла и стали промачивать их.

— Отчалива-ай!!

Поплыли еще две барки, потом три, десять...

Пила и Сысойко стояли посреди коломенки, ничего не понимая.

— Сысойко! — сказал Пила с боязнью и вцепился в полу Сысойкина полушубка.

— Боюсь,— ответил Сысойко.

Дети Пилы перестали откачивать воду. Они тоже стояли около отца и, ухватившись за полы полушубков Пилы и Сысойки, дико смотрели на удаляющиеся барки.

— Эй, вы! Пила! Сысойко! на корму! — кричит лоцман.

Пила и Сысойко подошли.

— А вы што глазеете! Пошли в барку,— кричит лоцман на детей Пилы.— Эй, вы! у весел стойте!.. Пошли на нос! еще шестеро сюда! — командовал лоцман, толкая бурлаков и тыча в их подбородки.

Стали стаскивать в воду поносные. Стаскиванье сопровождалось песнею: обхватит бурлак поносную, напрет на нее всею силою и закричит: «Дернем-подернем, да раз!.. ха!!» — и двигается поносная, а не запоет бурлак этой простой песни,— и силы нет...

— Смотри, ребя, не робеть. Что скажу, то и сполняй. Теперь, братцы, боязно, как раз потонем! — говорит лоцман.

Все бурлаки струсили, а Пила спросил лоцмана: «А пошто?» Лоцману не до рассуждений было: у него много дел.

Все приготовлены, каждый держит в руке что-нибудь: кто весло, кто поносную, кто шестик, лежащий на коломенке, кто веревки.

— Отчаливай! — закричал лоцман Терентьич.— Отвязывай веревку-то!

С другой барки отвязали веревку с кормы. Коломенку двинуло в воду и живо поворотило кормой вниз по реке.

— Мужланы! Анафемы!! Я вас! — ревет лоцман...— Да отвязывайте носовую веревку!.. Ах, беда!.. Греби к берегу!! стой в носу!.. Не тронь канат!

Бурлаки забегали, напугались. Сдвинули поносную — и стали; погребли веслами — и стали. Лоцман вышел из терпения.

— Ах, мука какая! Да будьте вы прокляты, дьяволы эдакие! Загребай воду-то! Не так: в ту сторону!.. Ах, беда! От себя, черт, от себя!..— Бурлаки работали что есть силы. С них катил пот, а все не в толк.

— Что вы стали, дьяволы! — кричали на эту коломенку с берега и с караванок.

— Отчаливай нос! Принимайся в гре́би! загребай в реку! — Коломенка пошла, и пошла боком поперек реки.

— Сильнее, сильнее! Эй вы, носовые, вглубь! вглубь!.. А вы к берегу... Стой весла, иди сюды!

Кормовых и носовых пробрало. Пот так и катил с них Коломенка скрипела, покачивалась и ушла уже далеко от заводов. Бурлаков приветствовал резкий ветер. Воздух свежел.

— Стой! — кричит лоцман. Бурлаки сели, на руках мозоли, а коломенка идет животом вперед.

— Слава богу — начин хорош, а там не знаю, что будет,— говорил лоцман и крестился. За ним крестились и прочие.

Бурлаки сидят и удивляются, что они плывут; впереди и позади тоже барки плывут. Много их пущено. Сидят они, смотрят на деревья и дивуются: ровно коломенка-то стоит, только деревья бегут, вон и камни бегут, и мужик какой-то бежит. Чудно! Ничего не поймешь. Коломенку несло очень скоро. Бурлаки не долго сидели. Минут через пять лоцман опять поднял всех на ноги.

— Заворачивай корму! живо!.. — Корма повернулась вкось.— Греби к тому берегу, смотри, тут плот — это заплавь называется. Кабы не тронуться...— Дело в том, что дно реки Чусовой каменистое и сама она очень быстра и извилиста, так что нередко барки ударяются в береговые камни огромной величины, какие выглядывают даже из воды на середине реки. Поэтому, в отвращение несчастных случаев, придумали ограждать эти камни, носящие разные названия, вроде: Косой, Бражка, Узенький, Писаный, Дужный, Печка, Горчак, Разбойник,— заплавями состоящими из двух плотин, из которых каждая половина состоит из трех *прясел* (бревен) длиною до десяти сажен, толщиною до семи вершков, связанных между собою веревками. Они привязываются к деревьям, растущим на берегу, так, чтобы, плавая по воде, могли принять на себя барку, если она силою течения будет плыть прямо на камень. Но эти заплави мало приносят пользы, потому что ударом барки о бревна далеко относит, и барка все-таки разбивается о камень. В двух верстах показалась черная гора.

— Греби, не робей, ребятушки... Выручи, водки куплю!..

Работа началась на всей коломенке, работали носовые, кормовые и греби. Весла и поносные шумели, вода от плеска тоже шумела, ветер свистел и проницал каждого человека до костей. Все умаялись, все молчат, дико смотря на приближающуюся гору. Каждый трепещет и молится горе: матушка, горушка, выручи!.. Лоцман несколько раз перекрестился, поминутно мерял шестом глубину реки и

сам помогал грести поносную. Гору миновали благополучно. Лоцман перекрестился и сказал: «Брось!» Все бурлаки сели.

Так плыли бурлаки каждый день.

И хорошо как плывут барки! Люди сидят измученные и что-то думают, вероятно о трудной работе, какой они еще не делывали, и весело им кажется: барка плывет, лес и камни мелькают. Ишь, какое дерево-то хорошее промелькнуло! Вон какой лес показался, речка бежит, а там вдали деревушка под горой стоит, и серые поля с грядами видятся... Вон село какое-то с деревянной церковью, ишь, какие крыши-то высокие, так вот и кажется, что дома друг на дружку лепятся. Вон опять поле, плетнем огороженное. Какой-то мужик в тележке едет... А вон, налево, лес горит, и тушить-то его некому. А вон мужики куда-то бревна везут. Вон в лодке мужик с бабой реку переезжает... И все плывет, идет, бежит куда-то, все смотрит на бурлаков, кивает им приветливо: здравствуй, мол, поштенный! Куда те бог несет?.. Бурлаки действуют веслами и поносными; вода плещется, барка скрипит, точно как плачет, обмывается водой, смывая бурлацкие слезы... Бурлаки работают: то и дело нагибая спины, наклоняются, поднимаются, шлепают тяжелыми, усталыми ногами, думают что-то, вероятно об том: ах бы лечь и отдохнуть... Рубашки смокли, прильнули к горячему телу, по бородам текут крупные потные капли и падают то на весла, то на рукавицы... А барку несет боком леса, поля, деревни, люди — все и все куда-то несет. Эх ты, жизнь, жизнь горе-горькая! Только одно солнышко стоит на одном месте, ласково так смотрит на мир божий, да и то ненадолго, — возьмет и спрячется за серые тучи, словно дразнится.

Опять впереди утес, крутой и страшный. Так вот и кажется, что тут и конец реке, так вот и хлобыснется об камень барка... Но одна барка спряталась, другая нашла на утес, треснула; раздался гул, крики мужиков... Ничего не разберешь! Видно только, что люди копошатся, плывут в шитике, слезли на берег, и барки не стало... Бурлаки дрогнули и, выпучив глаза, смотрели на то место.

— Валяй на всех! — кричит лоцман. Опять возня, ругань. Гора приближается все ближе, чернеет, такая страшная, голые утесы, точно страшилища какие, висят над рекой: берегись, мол, зашибу!..

— Греби! Греби! Что стали?..

— Эка беда! — ворчат бурлаки. — Скоро ли уж конец-то!..

— Греби сильней!.. Валяй! в землю смотри... — И лоцман сам принялся грести.

Миновали утес. Там, по колено в воде, стояли бурлаки на потонувшей барке и просили пощады у Терентьича... На гору лепилось несколько бурлаков; к барке плыли в шитике два лоцмана и четверо бурлаков.

— Пусти! — говорили они.

— Греби! что стали?..— говорит лоцман Терентьич.

— Ради Христа...

— Ну вас!.. Греби сильнее, вон там опасно...

Барка завернула за утес. Впереди плывут барки.

— Вот оно што!..

— Беда...

— Эк ее хлобыснуло! — рассуждают бурлаки.

— А еще два лоцмана! — говорит лоцман Терентьич.

— Как же теперь? — спрашивает лоцмана Пила.

— А так: барка потонула, а может, и люди потонули, лоцману беда. Ах, злочесь какая! — тужит лоцман.

— Эй ты, мужлан, сворачивай вглубь! — кричит лоцман на лоцмана одной барки, плывущей впереди.

— Э! — отозвалось с барки, и слышится оттуда крик: — Вали к берегу! вали!

Бурлаки плывут молча. Темнеет. Слышны скрип барок, глухой плеск воды да песня: «Разом да раз! дернем-подернем, да раз!.. Ха!..»

Вечером пристали к прочим баркам. На барках рассуждали об убившейся барке. Много бурлаков хотело идти посмотреть на ту барку и потужить с бурлаками, да идти-то далеко, и отдохнуть хочется.

— Эдак и мы помрем,— говорит Сысойко.

— Не помрем. У нас лоцман — беда! — говорит Пила.

Бурлаки наелись сытно и улеглись спать в барки. Во сне им снилось: как они плывут, как кричит лоцман, как хлобыснется барка об утесы, как они поднимаются на горы и падают в реку...

Ночью приплыло к баркам несколько бурлаков с разбившейся барки. Утром их приняли на две барки. Эти бурлаки говорили, что потонуло два бурлака, один лоцман убежал куда-то, а другой уехал куда-то к набольшим.

В третьем часу утра бурлаки уже отчаливали барки. Берега опять огласились бурлацкою вознею, скрипом весел и поносных, руганью лоцманов, песнями: «Дернем-подернем, да раз!..» И каждую весну оглашаются так берега Чусовой; страшилища-утесы, пугалища-камни любуются трудом бурлаков, издеваются над людским горем... И сколько по этой Чусовой барок пройдет! Не один десяток тысяч людей, плывя по этой быстрой каменистой страшной реке, дрожит

от страха и молится горам: «Не ударь — проведи... всю жизнь буду молиться тебе... что хошь возьми, только не убей!..» Только по ночам опасности забываются, и идут рассказы про Ермака Тимофеича, о камне Ермаке-разбойнике, да воздух оглашается скрипочной игрою с караванок, на которых с утра до вечера буянят и пьянствуют приказчики.

VII

До Камы барки плыли восемь дней. Ночью приставали где попало. Приставали и днем около селений, в которых закупали хлеба.

Можно бы написать про то, как бурлаки плыли восемь дней, да не стоит, потому что первый день плавания походил на прочие: тот же крик лоцманов, те же песни бурлаков, та же возня их, те же думы бурлаков. Бурлака мало интересует природа: видит он баское место, да что толку? Не про него оно устроилось так... Ему бы поесть только хорошенько да поспать в тепле... А там, может, и лучше будет... Только работа больно как тяжела! Почти четверть бурлаков чувствуют боль, и половина этих больных лежит, да и на них покрикивают лоцманы:

— Что дрыхнете!

— Ой, помираю! — стонут бурлаки.

— Я те помру! Пошел, робь!..— кричит лоцман.

А бурлак и пошевелиться не может.

Два бурлака умерли. Их зарыли на берегу. А зарыть очень легко, легко и в реку с камнем бросить, потому — можно сказать, что они убегли. Сельское начальство не скоро отыщешь, надо ждать дня три, да оно еще привяжется. Уж лучше, как зарыли; все знают, что человек-то помер; ну и спи, родной; по крайности не мучишься!.. Пожалеют бурлаки мертвеца, да и забудут в тот же день, только ночью иным мерещится во сне что-то страшное.

У заводов и больших сел барки и коломенки останавливаются для закупки провизии. Приказчики дают бурлакам деньги на харчи, и с прибытием барок набережные заводов, сел и деревень оживают. Бурлаки запасаются хлебом, наполняют кабачки; жители навязывают им разные сласти — мясо, брюшину, яйца, лук, огурцы и т. п. — и продают сравнительно с приволжскими местами очень дешево. Бурлак, имеющий деньги, непременно покупает что-нибудь и, главное, непременно вернется на барку навеселе.

Пила с Сысойком пробавлялся даром. Ни у него, ни у ребят его, ни у Сысойки не было денег. Хлеб, купленный

в заводе, давно весь вышел, так как каждый съедал в сутки по полковриге. Когда не стало у них хлеба, они воровали из котомок других бурлаков. На рынках, в селах и заводах Пила на хитрости пустился. На рынках обыкновенно кричат:

— Хлеба купи! луку купи!

Пила и говорит:

— Давай,— и наберет пять ковриг. Сысойко наберет огурцов и луку.

— А вы деньги подайте?

— А ты подожди. Нас, гли, сколь — не убежим.

— Знаем мы вас!

— Толкуй ошшо! Сказано, прибегу.

К торговке или к торговцу приходят другие покупатели. Пила и Сысойко уходят на свою барку; а как ушли,— и поминай, как звали.

Таким же манером он и мясо покупал.

На пристанях бурлаки отдыхали; этот отдых был для них каким-то праздником. Накушавшись хлеба, доставши сластей, они дружно ели кучками, и ели очень много, так много, что другой крестьянин не съест столько: возьмет пленку луку — съест, мало — еще съест; возьмет огурцы — съест, у другого попросит; нальет из котла щей в большую деревянную чашку, накрошит в нее хлеба, водицы речной подольет и хлебает огромной бурлацкой ложкой. Целого котла недоставало на толпу, и они, выхлебав щи, нальют в чашку воды и опять хлебают с крошками. Да и щи-то какие: вода да мясо, без всякой приправы... Зато все едят дружно, не сердятся, не завидуют, как будто все родные братья. Наестся бурлак и начнет проминаться — что-нибудь ладить; кое-кто лапти чинит, кое-кто спит, развалившись на палубе, так что только ветерок развевает волосы да бороды. Вечером сто́ит посмотреть на бурлаков, чего-то они не делают: и поют, и пляшут, и играют, на гармонийках, точно забыли денной труд, точно радуются, что они миновали опасность, не нарадуются, что дождались-таки волюшки-свободушки, и не думают, что завтра опять будет тяжелый труд... Почти каждый бурлак, плывущий не в первый раз, знает песню «Вниз по матушке по Волге», и песня эта часто поется разом на трех, шести барках. Больно нравится бурлакам эта песня,— почему, они не дадут отчета, только чувствуют, что она хорошая песня и лучше ее нет другой песни.

Дети Пилы тоже радовались вместе с бурлаками. Работа их была легкая, и брат с братом постоянно толковали об чем-нибудь.

— Слышь, как лоцман ревет! — дивуется Павел.
— Ну уж и горло! — ребята смеются.
— Это он на Сысойка кричит.
— Э! пусть кричит... Слышь! Во как честит!
— А вот на нас так не кричит.
— А пошто он те вчера бил?
— Уж молчи! Самово тебя бил.
— Вот што, Пашка, пошто эта барка-то пишшит?
— А кто ее знат.
— Поди, мужикам-то трудно?
— Што мне... А мы вот качали-качали, а воды все, гли, сколь! Как ты ее не отливай, а ее все больше да больше.
— Вот што... сделам дыру в барке-то, вода и выбежит...
— Дурень! Да ведь вода-то оттого и бежит в барку — дыры в барке-то. Ты сделай дыру — и потонем.
— А тятька-то вор: гли, сколь хлеба украл.
— Отколотим его.
— У него сила, Ванька,— прибьет! Вон и Сысойко не может с ним справиться.
— Да Сысойко вахлак; я, что есть, прибью.
— Пойдем спать?
— Давай лучше барки пускать.
— Давай.
Ребята бросают в воду щепку и смотрят: идет щепка или нет. Щепка стоит...
— Умоемся.— И ребята умываются грязной водой, покрывшей на полторы четверти дно барки. Читатель, может быть, удивился: зачем ребята умывались грязною водою, накопившеюся в барке, когда они могли бы умыться в самой реке? Во-первых, они были еще глупы,— прежде они умывались и купались в речке, находящейся в трех верстах от Подлипной, да и я забыл раньше сказать, что в Подлипной бань не существовало; во-вторых, они были водоливы, и им было мало времени на то, чтобы бегать на берег, а достать воды ведром... они, вероятно, не додумались до этого в тот момент, когда им пришла мысль,— есть вода под ногами — и ладно.
Больше всего их занимало то: идет барка или нет.
— Смотри, Пашка, как лес бежит.
— Уж я смотрю.
— Ну и врешь: лес бежит, и барка бежит.
— Диво!.. Пошто это барка-то бежит? Ведь ее никто не везет?
— То-то и есть.

Ребята старались сами узнать, почему это так. Спросить некого. Они знали, что бурлаков не стоит спрашивать. Вот они раз бросили с барки доску, доска поплыла; бросили камень, камень утонул. Спустили шест на воду, шест потянуло книзу, и они никак не могли удержать его.

— Эка сила!

— Вот поэтому и тащит нас.

— А мы попробуем, зайдем в реку — поплывем али нет.

Раз они зашли в воду по колено, их перло книзу.

— Эка сила — утащит!

Они хотели идти дальше, и потонули бы, да их лоцман испугал:

— Потонуть вам, шельмам, хочется!

— Мы, дядя, так...

— Я те дам — так! Ступи-ко еще и утонешь.

— А и то утонешь: вон камень потонул тоже...

Лоцман говорил им, что есть люди, которые не тонут, а умеют плавать. Они не верили.

В устье реки Сылвы, впадающей в Чусовую, много было барок, приплывших из других заводов; барки эти тоже двинулись вниз.

Всем хотелось скорее увидать Каму, по которой плыть не опасно, а как вошел в нее, и делать нечего. Подлиповцам больше всех хотелось увидать Каму. Бают, она широкая, глубокая, сердитая такая. Сколько рек прошли, а все, бают, в Каму бегут. «Знам мы Каму-то, она от Подлипной недалеко, так там махонькая, а глубокая, рыбы пропасть, а здесь, поди, и конца ей нету, а рыбы-то, поди, людей едят...»

VIII

Наконец, барки стали в устье Чусовой, против деревни, и загородили все устье. Чусовая здесь шире и глубже, а Кама шире Чусовой в три или четыре раза. Берега как Чусовой так и Камы низкие.

Бурлаки обрадовались.

— Гли, Кама! Экая большая!..

— Баская река, и конца-то ей нет.

— Супротив Камы теперь все реки дрянь, и Чусова пигалица против нее.

— Вот уж река дак река — никому зла не сделат.

— Одново года беда тут была. Пошли, знашь, барки да стали в Перму, и поди ты, братец мой, лед сверху. И лед-то

какой — ужасти! Как царапнет барку, и пошла ко дну... Много барок перетопило.

— Ну, а теперь ничего?

— Теперь ловко. Теперь мы долго ошшо стоять будем; кто его знает, этот лед-то, прошел он али нет.

— Бают в деревне: весь прошел.

Барки здесь простояли два дня. В это время бурлаки больше спали, а лоцман, имевший в деревне родственника, пошел к нему с Сысойком, Пилой и детьми его, сытно пообедал, выпарился в бане и принарядился. Здесь все лоцманы выпили водки, надели красные рубахи и навязали на шляпы красные ленточки. Все были веселы, покуривали махорку, пели песни.

— Ну, ребята, доехали до Камы, а там как по маслу пойдет,— говорил лоцман.

— Баско,— говорили бурлаки.

— А все я вас провел. Молиться вы должны за меня.

— А ошшо далеко бежать-то?

— Да больше того, сколь прошли.

— А Подлипная близко? — спросил Пила.

— Какая Подлипная?

— Ну наша-то деревня?

— Чердынь-то?

— Ну, Чердынь-город.

— Да как тебе сказать, не солгать? Мы одново разу судно тянули от Перми до Чердыни; пошли — тепло было, а пришли туда — холодно стало, потому, значит, долго шли — река больно мелка. А так ходу неделя.

— Вре?

— Только неделя. Вот теперь там хлеб больно дорог, а суда ходят только до Усолья да до Соликамска, а в Чердынь редко, потому река мелка, да и Чердынь в стороне верст за сорок стоит.

— Да мы в Усолье-городе были. Там ишшо соль делают. А оттуда шли-шли... Пошли — стужа была, а пришли к баркам, тепло стало.

— А можно бы в две недели дойти.

— Ну, и врешь! — Подлиповцы думали, что лоцман морочит их.

— Вы круг дали: вам бы по Каме надо идти, по большому тракту.

— Вре?

— Вам можно всего только неделю дойти до Перми, а там бы на пароходы наняться.

— И то бы лучше там было.

— Я вот теперь Каму хорошо знаю и на Волге бывал годов с пять. Хотел на пароход наняться, да прохворал зиму-то; а ныне наймусь беспременно зимой.

— Там баско?

— Да лучше здешнего, работы меньше.

— Так ты и нас возьми.

— Можно будет, и вам доставлю работы.

Пила с Сысойком задумали поступить на пароходы, еще не зная, что это за штуки такие.

IX

Барки тронулись по Каме. Кама бушевала, дул снизу сильный ветер, шел дождь. Бурлаков пробирало ветром очень чувствительно, полушубки их смокли. Барки покачивало от больших волн. Подлиповцы в первый раз увидали такие волны и дивовались.

— Экая большая, как гора! Смотри, как хлобыснулась! Ишь как! Шумит больно...

Барки плыли врассыпную, боком. Бурлаки работали с час. Их хорошо пробрало, да и грести не стоило. Бурлак так гребет: спустит весло в воду, обмакнет и поднимет, кое-кто разве гребнет, да и то редко. Работа очень скучная. А в ветер немного так нагребешь: спустил бурлак весло в воду, волна и ударит его, а иное и не достанет воды. Лоцманы, наконец, прекратили работу, да и не стоило работать, когда барка шла посередине реки. Вон два острова миновали уже, а теперь и спи часа два, а там Мотовилихинский остров будет — и Пермь в двух верстах.

Подлиповцы, кроме Елки, который хворал, по-прежнему находились у кормы. Пилу и Сысойку больно пробрало ветром, вымочило дождем: они дрожали. Им страшно надоело сидеть на корме, а лоцман не пускает в коломенку.

— Сиди, чего еще надо? Вот скоро Пермь будет, выдрыхнешься.

Однако Пила увел Сысойку в нутро коломенки и лег на железные доски. Оба дрожали. В коломенке лежали семь бурлаков.

— Ну их к лешим! Не станем робить! — говорил Пила.

— Бают: город скоро, там и останемся,— говорит Сысойко.

— И мы с вами? — напрашивается Павел.

— Вас не возьмут.

— Возьмут.

— Коли возьмут, ступай. А уж мы здесь не останемся. Ну уж, и край! Эк вымокли. Помрем тожно...

— А лоцман бает: сила он. А тоже и без него барку-то тащит.

— Послушай только его, наврет он тебе.

— Наплевать нам на лоцмана! — говорит один из бурлаков.

— Уж больно криклив. А мы вот, как он закричит на нас, и не пойдем! — ворчит Пила.

— Ты за меня держись; уж не пойдем! — говорит Сысойко.

— Город, бает, близко. Да, поди, ошшо врет: сколько водил по рекам-то да обманывал!

— Вот он теперь нас бьет. А пошто? — говорит Павел.

— А ты не давайся. Мне скажи, я ему задам,— ворчит Пила.

— Бает, прогоню.

— Ишь, командир какой, черт! Сам восемь медведев убил...

— Лоцман бает, нам в городе денег дадут.

— А не дадут разве? Ну-ко, не дай... попробуй!

— Эй, вы, черти! — что спрятались? — крикнул в дыру лоцман.

Пила и Сысойко ни с места. Павел и Иван тоже перестали откачивать воду.

Лоцман еще крикнул. Сысойко и Пила хохочут: эк, испугались! Лоцман вошел в барку. За ним вошло бурлаков двадцать.

— А вы куда! Пошли!..— закричал он на бурлаков.

— Не слушай ево, лешева. Заведет он нас в чучу! — кричит Пила.

Бурлаки развалились спать. Лоцман руками хлопнул.

— Да что вы, анафемы? Пошли!

Бурлаки хохочут.

— Бурлака водка бар! Пьеп-се, шайтан те заешь,— проговорил черемис.

— Пырни его, пырни! — кричит Пила одному бурлаку.

Лоцман стал бить Пилу. За Пилу вступились прочие бурлаки.

— Так вы так! Начальство не хотите знать? Пошли вон!

— А ты деньги подай! Тогда и распоряжайся! — кричит Пила.

— Деньги подай! — говорят бурлаки.

Лоцман струсил. Все бурлаки вооружились на лоцмана, и никто не шел на палубу.

«Беда, еще убьют, пожалуй!» — думает лоцман.

— Братцы, да не сердитесь! ну чем я вас обидел?

— Знаем мы, чем обидел. Подай деньги, и робить станем.

— Ребятушки, ведь эдак мы и город проплывем.

— Ты город кажи!

— Да скоро. Вон за тем углом и город.

Бурлаки не шли на палубу. Лоцман ушел.

— Што? Али я не сила? — бахвалился Пила.— Пусь один поробит. Пусь...

— Да и што робить-то! Барка-то и без нас идет,— заметили бурлаки.

Лоцман не знал, что делать. Напугать бурлаков — убьют; соврать им что-нибудь — не поверят. Он стоял, закручинившись. С ним стояло трое бурлаков. Лоцман решился пугнуть бурлаков острогом.

— Послушайте, братцы: если вы делом на хотите робить, я, как приеду в город, начальству вас отдам. Пусть в острог посадит.

— Экой прыткой! — говорил Пила.

— Тебе хочется? Не бывал разе в остроге-то?..

— Был, да теперь не затащишь.

Пилу окружили несколько бурлаков.

— Так ты, бат, сидел?

— Беда!

— Значит, бежал?

— Прибил ошшо, самово прибили. Вон и Сысойка прибили.

— А ты за што сидел — за убийство?

Пила осердился, но смолчал.

— Уж знаю, нехороший человек! — сказал лоцман.

— Он, ребя, ошшо убьет! — заметили некоторые из бурлаков и пошли на палубу. За ними пошли остальные и лоцман.

— А вы вот еще связались с ним! — сказал бурлакам лоцман.

— Не говори с ним.

— Хлеба не ешь...

— Убьет...

— Я, бат, туда пойду! — говорил Сысойко, скучая от лежанки на железе.

— Ну и черт с тобой.

— А пойдем!

— Ну те к лешим. Спи, знай.

Иван и Павел смеялись над Пилой и Сысойком.

— Пашка, дерни Сысойка-то!

— Сысойка, хлобысни тятьку!

— Я те хлобысну! Ну-ко, подойди!

Иван подходит к Пиле, дергает его за полушубок; Пила схватывает его за волосы и теребит. За Ивана пристает Павел; Пила прибил и Павла.

Сысойко вышел на палубу. Показался город.

— Тятька, гли-кось, там што,— крикнул Иван Пиле, увидав в дыру город.

Пила посмотрел, улыбнулся и ткнул в бок Елку.

— Вставай! Перма уж.

— Ой, пусти! — стонет Елка.

Пила ушел на палубу. Все бурлаки смотрели на город и дивились.

— Эко баско! Ай да Перма-матушка! Вот так городок! Гли, церквей што, домов белых... А барок-то, судов!

Здесь река была в версту ширины, и больно она большою казалась впереди: далеко-далеко там что-то черное видно,— там, видно, и конец. Выглянуло солнце и опять спряталось.

— Греби! — вскричал лоцман. Работа началась. Пила и Сысойко тоже принялись за поносную.

— Ты не тронь,— сказал один бурлак Пиле и оттолкнул его от поносной.

— Потолкайся, што я не свисну! Ты вишь, город.

— Бей ево!

— Я те дам — бей... В воду столкону!

— Греби, греби! что ругаетесь! Мало ли что вам скажут, так вы и верите,— заступился лоцман за подлиповцев.

Пила и Сысойко не могли понять, что такое сделалось с бурлаками. Они и не залюбили бурлаков...

И опять работают бурлаки молча, нагибая спины, опуская весла в воду и поднимая их,— только и слышатся их тяжелые шаги, да барка скрипит. Что думают бурлаки — бог весть. Они то и дело смотрят на приближающийся город; на лицах видится тоска, какое-то желание и что-то такое, что бурлак не в состоянии не только передать другому бурлаку, но даже понять. Один только лоцман стоит у столба посреди барки и важно, жадно глядит на город: знай, мол, наших!

— Брось гребú! брось носовые! Загребай к берегу! — кричит он бурлакам.

Город близко. Около берега, возле города, стояло несколько барок, коломенок, караванок, с кружками на верху мачт и флагами на мачтах, баржи, два парохода, из которых один готовился к отплытию. Мимо подлиповцев прошел пароход с двумя баржами и оглушительно просвистел: бойся, мол, дрянь ты экая! Все бурлаки смотрели на него, как на чудо; особенно дивились те, которые в первый раз видели пароход. Их забавляли колеса, дым, свисток и то, что он бежит кверху да еще вó какие огромные домины прет. Больше всего дым занятен: эк он из трубы-то валит, черный, да много сколь и выходит, да как лошадь ржет.

— Ну и черт!

— Эк он,— рассуждают бурлаки.

— Вот ошшо! — Впереди шел пассажирский пароход.

— Гли, как он колесами-то загребат!.. Эво! воно как, ах, будь он проклят...

Раздался свисток. Бурлаки дрогнули.

— Экая у него пась-то. Варнак... право!

А лоцман издевается над бурлаками да хихикает:

— Оболтусы вы экие!.. Ничего-то вы не смыслите... Право, дурачье экое. Вы то поймите, он паром ходит и названье ему: пароход.

Бурлаки хохочут. Больно уж смешно лоцман бает.

— Там котлы поделаны для паров, и печь большая устроена. Он сажен двадцать в день съедает.

Бурлакам опять смешно.

— Ишь ты, черт! А пошто?

— По то, что пароход. Парами ходит.

— Прокурат, право, ты! Экой зубоскал!..

— А там машины такие устроены, кои сами действуют.

— Ну уж и сами?

— Ей-богу.

— Так-таки сами?

— И люди только дрова бросают, да машинист около машины сидит, наблюдает.

— Так он сам бежит?

— Экие вы дураки! — Лоцман плюнул в реку.— Врать вам стану,— нужно поди-кось!

— А пошто же у него веслов нету?

Лоцман рукой махнул и отошел от бурлаков прочь.

— А ведь прокурат лоцман-то. Ишь, што сбрехал: сам, бает, ходит,— толкуют бурлаки и хохочут.

Причалили к берегу против почтовой конторы. Здесь было уже барок двадцать. Бурлаки сидели и ходили на барках, на берегу, плелись на гору в город. На горе гуляла губернская публика. Все это занимало подлиповцев, и они тоже сошли на берег, постояли под горой, потолковали, идти или нет, и решили, что идти незачем: нет денег, да и поздно,— ушли опять на свою барку. Наелись сытно хлеба с водой и легли спать; но никак не могли уснуть. Больно их забавляли пароходы и публика губернская. Разговоры шли теперь вроде следующего:

— Ну, а теперь доплыли в Перму. Отдохнем. Супротив Перми да Елабуги уж не будет таких городов.

— Там еще Нижной-город есть. Огромнеющий, дома — эво какие. А это супротив Нижнего пигалича.

— Это, бают, губерня, потому, бают, все набольшие живут, страшные такие... Всем городам правят, и Чусова тоже на Перму молится.

— Вре! А Чердынь? — спросил Пила.

— И Чердынь тоже.

— А Подлипная?

— Тоже.

— Ну, брат, врешь... У меня только и было начальство — поп да становой! — ворчит Пила.

— Ну, значит, ты вячкой.

— Я те дам — вячкой! Сам ты вячкой...— бранится Пила.

Барки то и дело прибывали. К каждой барке приходили солдаты, служащие в дистанции путей сообщения, осматривали барки, билеты, считали бурлаков, придирались к лоцманам за больных, кричали и получали от лоцманов деньги.

Первый день прошел скучно для бурлаков. Все они умаялись и рано легли спать. Некоторые из них ходили в город, да только так, поглазеть. Ночью еще приплыло несколько барок, и вновь приплывшие бурлаки не давали спать приплывшим раньше, потому что кричали: «Бери чалку!», потом наступали на ноги спавших на барках бурлаков. Бурлаки ругались.

X

В полдень на другой день бурлаки получили по полтиннику денег. До этого времени некоторые из них продавали в городе за дешевую цену сковородки, чугунки и прочие железные вещи и на деньги покупали хлеба, булок,

огурцов, сушеных судаков и луку. Соленые и сушеные судаки бурлаки разрубливали на несколько частей, и большею частию глотали не размоченные, прикусывая хлебом и свежим луком.

Бурлаков, не бывавших в больших городах, очень занимала Пермь. По правде сказать, город этот неказист, жители бедны, хорошие дома построены большею частию на одной улице, идущей от сибирской заставы к дому В., а потом к будке, стоящей на краю лога. Но бурлаки эти в первый раз видели большие дома, в первый раз ходили по прямым улицам. Их все забавляло: и люди, и кареты, и телеграфные столбы.

В этот день Пилу и Сысойку с ребятами лоцман не отпустил в город, а заставил чинить барку. Посмотрим ближе на жизнь бурлаков в Перми хотя в третий день, когда подлиповцы пошли в город.

Четыре часа утра. Барок больше сотни; но барки все еще приплывают. Посреди их красуются четыре караванки с разноцветными кружками и с надписями на флагах, означающими название заводов. Бурлаки почти все встали, и каждый что-нибудь ладит. Стук, звук от железа, скрип и говор не умолкают и слышаться далеко. Несколько бурлаков кучками сидят или лежат под горой и на горе; сидящие разговаривают, или зевают, или едят хлеб, лежащие дремлют или смотрят на барки, на реку, на небо... Хорошо сидеть на горе против реки, так бы все и сидел, и мысли все какие-то хорошие появляются в голове... И часто бурлак засыпает, нежась на сырой земле... Он отдыхает, и хочется ему все бы так отдыхать.

Пять часов утра. В это время к баркам идут городские и мотовилихинские[1] торговки и приносят на досках, положенных на головы, хлеба и калачей и на коромыслах луку, квасу и огурцов. Бурлаки берут нарасхват или хлеба, или луку. Квас пьют все. Пила старался достать хлеба даром, да здесь торговки оказались хитрее его; сами мастерицы обманывать, а хлеб большею частью продают с закалой.

В восьмом часу бурлаки идут толпами в город, кто в полушубках, кто в одних рубахах. Лоцманы отправляются к начальнику дистанции, за ними идут и приказчики и другие старшие лица над бурлаками, плывущие на караванках. Зачем они идут к начальнику дистанции,— об этом редкий житель Перми не знает, а мы умолчим.

---

[1] Мотовилихинский завод, находящийся в трех верстах от города. *(Примеч. автора.)*

Бурлаки валом валят в город, а на барках все еще много их: там все не умолкает стук, скрип. Несколько барок уже отплывают.

Пиле и Сысойке лоцман не дал денег за то, что они нагрубили ему. В этот день лоцман велел им не отлучаться с барок, а сам ушел. Их взяло горе.

— А мы побежим,— сказал Пила Сысойке.

— Куда подем? здесь баско.

— А мы подем поглядим.

Пила пошел к детям.

— Сколько он дал? — спросил он Павла.

— Ишь! — Павел показал медные деньги — двадцать копеек.

— Много,— говорил Иван.

— Пойдем! — скомандовал Пила детям.

— Да он велел воду откачивать.

— Што откачивать! Хоть ты качай не качай, а воды — гли, сколько.

Ребята пошли.

— А вы нам дайте денег, как получим, отдадим.

Ребята не давали.

— Вы насобираете. Право, дай!

Ребята поругались, а как стали всходить на гору отдали по пятнадцать копеек каждый. Деньги взял Пила.

Взошли они на гору с двумя бурлаками. На горе в нескольких местах сидели горожане, глазевшие на барки и на бурлаков. Подлиповцам хорошо сделалось, когда они посмотрели на реку.

— Ишь ты! — улыбаясь, говорил Пила. Они вошли в улицу. Проехала карета. Пила долго ломал голову и не мог понять, что это за штука такая.

Пройдет ли хорошо одетый господин, подлиповцы шапки снимают и смотрят на него; попадется ли офицер, они тоже снимают шапки и долго дивуются: кто же это такой? Попался им навстречу молодой дьякон, без пушка на лице, в шелковой рясе. Пила долго смотрел на него, рассуждая, кто это. Ему казалось, что это женщина, и он хотел догнать дьякона, посмотреть на него, да товарищи отговорили. Куда ни посмотри, везде хорошо. Вот бы пожить тут. В нескольких местах на деревянных тротуарах сидят бурлаки и едят; несколько человек лежит около заплотов на траве.

— Вы откелева? — спрашивают подлиповцы бурлаков. Те скажут.

По улицам идут бурлаки: один несет чигунки, другой

коты, третий пять ковриг черного хлеба на спине, обвязав их веревкой, двое тащат на палке брюшину, осердие, старую, почти засохшую говядину. Кто ест, а кто и так идет; попадаются даже пьяные.

Увидали они телеграфные столбы.

— А это што?

— А это соль добывают,— решил Пила.

Однако они подошли к одному столбу, около которого стояла кучка бурлаков.

— Што, ребя, диво? — сказал Пила, думая, что в столбах ничего нет удивительного.

— Да, бают, тут беда. Сказал ты слово, и пошло качать,— говорит один бурлак.

— Поди ты к лешим!.. Вишь ты, тут соль добывают?

— Попал! Ты видал ли, как соль-ту добывают?

— Эво!

— Там столбы-то не экие, да и перекладины поделаны, а тут железки, да еще четыре.

Пила в тупик встал, однако подумал: «Может, и здесь соль делают, только иначе».

— Эй, поштенный! Это што? — спросил один бурлак мещанина.

— Это телеграф.

— Как?

Тот повторил.

— А што же тут делают?

— Письма отправляют.

Бурлаки не знали, что за штука такая письмо.

— Теперича, как пошлешь письмо за тысячу верст утром, оно вот и побежит по проволоке и к обеду там будет.

— Худо место! — сказал Пила. И бурлаки отошли прочь.

Перед окнами одного дома пели двое зырян. Им что-то подали. Пиле завидно стало, и он пошел просить под окно ради Христа; ему не подали ничего.

— Не баско здеся,— сказал он.

Подлиповцы шли посереди дороги. По полу, как называли они тротуары, они боялись идти: ишшо прибьют.

Они пришли на рынок. По всему рынку бродили и терлись около торгашей и торговок бурлаки. Торговцы кричали, ругались и силой навязывали бурлакам купить чего-нибудь. У подлиповцев глаза разбежались: чего-то нет на рынке!.. А какие еще есть булки белые да махонькие, крендели да штучки какие-то... Так бы вот и съел все! Пила

купил пекарскую булку[1]. Эта булка так понравилась Пиле и Сысойке, что они ее в четыре приема съели.

— Што? — говорит Пила.

— Давай ошшо! — просит Сысойко.

Они купили еще и съели, и все-таки не наелись, потому что такую мягкую булку они ели в первый раз; они, на вкус подлиповцев, были только сладки, но, сравнительно с черным хлебом, далеко не питательны.

Пошли все в питейную лавочку, взяли у ребят последние деньги и пропили.

— А ись хочется,— говорит Пила.

— Беда!..

— А больно баско тамо! Все бы ел да ел.

— Денег нет. Лоцман не дал.

В лавочке было восемь бурлаков, из коих два с той барки, на которой был Пила. Подлиповцев попотчевали. Они захмелели. Ребята ушли сбирать милостинку и через час пришли с семью кусками хлеба; в руках у них было двенадцать грошиков.

Подлиповцы вышли из лавочки. На улице били их лоцмана, Терентьича. Пила и Сысойко пристали за лоцмана.

— Ну, спасибо, братцы, выручили,— говорил лоцман и поцеловал Пилу и Сысойку,— таперь подемте пить.— Лоцман был пьян.

— А ты пошто мне не дал денег? — ворчит Пила.

— А пошто ты ослушаться вздумал? Ты знай, я сила!.. Я барку по Чусовой провел.

— Сама прошла.

— Ну и не дам денег, не дам... Не перечь мне! Не пере-е-ечь!

Лоцман привел подлиповцев в питейную лавочку, купил полштоф водки и угостил их, даже Иван и Павел выпили. Лоцман дал Пиле рубль.

— Пей, ребя! Таперь, праздник! — кричали в лавочке бурлаки.

— Уж таперь нет опаски!..— Лоцман повел подлиповцев в трактир и там угостил супом и жарким. Подлиповцы сладко наелись.

---

[1] Нисколько не походит на французскую, как заметил один критик, отозвавшись о подлиповцах с полным непониманием этих людей, сравнивая их с петербургскими судорабочими. Пекарская булка в Перми — продолговатая, весит около фунта и по роду муки называется или казанской сайкой. или сибирскою пекарской булкой. *(Примеч. автора.)*

Из трактира лоцман и подлиповцы вышли пьяные и по выходе на улицу сейчас же запели песню. Даже Павел и Иван пошатывались и что-то пели. По улицам было очень много пьяных бурлаков. Большая часть их пела и играла на гармонийках и балалайках. Горожане смотрят на них да посмеиваются. Но никто не обижает бурлаков.

Несколько бурлаков нашли себе теплые гнездышки в домах бедных мещан. Хозяева домов пускали бурлаков по три копейки в сутки, от шести до пятнадцати человек. И крепко спали бурлаки в теплых избах, и хорошо им было, хотя они и на грязном полу спали. Давно уже они не спали так, и долго еще им не придется так спать.

Подлиповцы с лоцманом едва добрались до своей барки, и как только пришли, так и завалились спать и проспали весь вечер и всю ночь.

На барках точно праздник под вечер: все сидят кучками; одни хлебают щи, другие едят колодку судака, третьи хлебают вареное прокислое молоко. Перед каждым лежит коврига хлеба. Пьяные спят. На барки возвращаются тоже пьяные. Из города слышны бурлацкие песни. Наевшись, бурлаки начинают петь, играть на инструментах и пляшут. На одной караванке кто-то играет на скрипке, на другой кто-то играет на гитаре, визжит женщина, звенит посуда.

Был тихий, прекрасный вечер.

Губернская публика, человек до двухсот, ходит взад и вперед по маленькой набережной, называемой загоном. Любуется ли она бурлаками, бог весть. Для нее играет музыка на возвышении посреди площади. Далеко разносится эта музыка, заключающая в себе польки. Музыканты играют скверно, но все-таки около загородки стоят бурлаки и боятся войти в загон, слушают они музыку: хорошо и весело играют, долго бы слушал, да непонятно что-то. Постоит бурлак, заноет у него сердце, и пойдет он невеселый на барку. А там поют родные песни, выигрывают родные же песни, пляшут,— все как-то лучше, отраднее...

— Баско играют, да не по нам,— рассуждают бурлаки.

— И люди-то там какие!.. Сморчи... чучелы...

— Эх, бат, сыграй веселую... Вот тут болит! — говорит один бурлак, указывая на грудь или на сердце.

— Што там! У них свое, у нас свое. Им так-то не спеть.

Затягивай! Знай наших! — кричит какой-нибудь пьяный лоцман.

И выпеваются бурлацкие песни, грустные, заунывные, и далеко-далеко и долго разносятся эти песни. А поют-то как они; сидит бурлак, подопрет щеки руками, задумается точно, в глазах жизнь видится, на лице горе, и смотрит в воду... Слушаешь эти песни, все бы слушал их, а слов разобрать не можно, только и слышится какой-то стон протяжный.

В прежние годы, когда не плавали еще пароходы по Каме до Перми, Кама была запружена до половины барками, и тогда город наполнялся бурлаками. Теперь только десятая часть прежнего: пароходы с каждым годом все более и более сокращают число бурлаков. Что будет с этими людьми, когда им негде будет бурлачить?

Есть люди, которые называют бурлаков самыми последними, бросовыми людьми. Есть даже и такие, которые называют их негодяями, вредными. Но они ошибаются: бурлаки только люди необразованные, грубые, самые бедные люди. Ведь у бурлаков только и есть богатства, что на нем надето да что он съедает... и для этого он трудится больше, нежели другой. А терпенье переносить зной, холод, дождь?.. «Надо же кому-нибудь быть бурлаком...» — обыкновенно говорят люди, насмехающиеся над бурлаками и не понимающие бурлацкой жизни.

В Перми барки простояли еще три дня. В последний день бурлаки с утра скучали: делать нечего, а хочется делать; сходит бурлак на рынок — денег нет, лоцманы не дают, говорят: приказчики не дают; просто задор берет. Есть же такие богачи, что у них и хлеба-то множество и всякой всячины пропасть! Походит, походит бурлак по рынку и по городу, погорюет, что напрасно он пропил деньги, и идет на барку.

Подлиповцам хорошо казалось жить на барках. Хотя и бывает работа, зато не всегда, а хлеб-то у них всегда есть, даже еще много. Жалко, нет Матрены!.. Ну, Апроська померла, куда с ней, больной. Здесь и без баб хорошо: татары да зыряне смешат; и городские смешат, говорят както инако да над ними смеются.

Подлиповцы узнали здесь больше, нежели они знали в деревне и в Чердыни: они узнали, что миру божьему нет конца, что деревни их дрянь, люди совсем другие, чем они, что им уж не быть такими, какие ходят в городе в бо-

гатой одежде. Им хотелось еще побывать дальше и приискать себе такое место, где бы было хлеба много и можно бы было спать подольше.

XI

Между тем барки постоянно приплывали и, выправивши билеты и заплативши положенный с них сбор, плыли вниз. Когда отправились караванки, то с них палили из пушек.

В воскресенье назначено было плыть лоцману Терентьичу. Пила с Сысойком и ребятами отпросились у лоцмана купить хлеба. Лоцман отпустил на полчаса. Звонили к обедне. Пила и Сысойко несколько раз проходили мимо собора и заглядывались на него. Идя теперь мимо его и увидав, что в ограду идет много людей, в том числе и бурлаки, подлиповцы вошли в собор. Ребята пробрались в народ, на самую середину, а Пила с Сысойком стоят у дверей. Видят они, посреди церкви одевают кого-то и надевают-то на него все хорошее... Нигде таких одежд они не видали. Нигде не слыхали такого хорошего пения... Никогда не видали такой хорошей церкви... И расписано-то как! Певчие пропели очень громко... Сердце дрогнуло у Пилы. Настала тишина. Пила не утерпел.

— Баско! Ай, баско!! — сказал он.

— Ишь ты. А! — проговорил Сысойко.

Их вывели на улицу казаки.

Они долго терлись на крыльце; заглядывали в стекла, видели только архиерея да много людей; хотели пробраться в церковь, но их не пустили.

— Эко ты диво! Что же это? — удивляется Пила, отходя прочь от церкви.

— Я баял, не надо идти.

— Уж нам где! А ты, Сысойко, поди, скличь ребят-то, а то без них барки не пойдут.

— Сам скличь.

— Поди, право. Боюсь.

Они пошли к воротам. Им попался офицер. Они сняли шапки. Офицер прошел.

— Поштенный! а поштенный! — окликнул офицера Пила.

— Что вам? — спросил тот.

— Кликни там Пашку да Ваньку, тятька, мол, зовет, плыть тожно надо.

— Ступайте сами.

— Да не пушшают.— Офицер ушел. Пила и Сысойко постояли несколько времени, попросили еще кого-то послать к ним ребят, да тот и не ответил даже им. Они пошли на рынок.

— Эко дело... Как таперь без ребят-то? — говорит Сысойко.

— Ты говори!..

— Ходить бы не надо.

— Ты вот то говори: они, поди, богачество там получат.

— Эк ты!

— А получат. Ишь, как там баско... Вдруг бог-то и даст им богачество. Эвот сколько! Эво! — говорит Пила, указывая рукой на большой дом.

— Пожалуй. Толды мы вместе станем жить?

— А не то, так и Матрену скличем.

— Апроську бы надо...

Пиле грустно сделалось. Теперь ему казалось, что у него и родных вовсе нет, кроме Сысойки, а ребята так и пропали. Жалко!

На рынке они купили по три ковриги хлеба и печенку. Сысойко нес хлеб. Пила печенку. Они опять подошли к архиерейской ограде.

— Пойдем туда,— говорил Сысойко.

— И! Гли, туда какие всё идут.

— А вон бурлаки.

— Нас не пустят, ошшо в острог засадят.

Однако они вошли в ограду, взошли на крыльцо и хотели войти в церковь. Их опять прогнали... Они пошли на барки.

— Может, они уже там, откачивают...

Их барка отваливала.

— Шевелись! черти!..— кричал на них лоцман.

Барка уже плыла. Пилу, Сысойку и еще трех бурлаков посадили на шитик.

— А ребята здесь? — спросил Пила лоцмана на барке.

— Ждать мне твоих ребят!

— Врешь?

— А ты пошто их бросил?

— Да они в церкви остались, не нашли... Эка беда!

— Поди, глазеют там впервые-то!

— Как же теперь?

— А так... На другу барку, может, пустят, только едва ли пустят без билета.

— Не здесь ли они, Сысойко? погляди,— спросил немного погодя Пила.

— Может.

Пила сходил на барку. В барке отливали воду два бурлака. Пиле и Сысойке еще скучнее сделалось.— Эко горе! Как же теперь без ребят-то! Помрут они там.

А барка между тем плыла да плыла. Города уже не видно.

XII

До Елабуги плыли полторы недели. В это время они на сутки останавливались для починки барок и для закупки провизии в городах Осе и Сарапуле. О житье бурлаков в это время сказать нечего: оно было такое же, как и на Чусовой и в Перми, с тою только разницей, что работы было меньше, чем на Чусовой. Бурлаки уже привыкли к бурлацкой жизни, мало сетовали на свою судьбу; не удивлялись, как прежде, над пароходами, попадавшими им навстречу и обгонявшими их раза по четыре в сутки; не удивлялись над величиною баржи: им теперь все пригляделось, надоело.

С потерею детей Пила сделался очень скучен и еще более привязался к Сысойке.

— Нету у меня теперь ребят, только ты один,— говорил он Сысойке ночью, лежа с ним в барке.

— Идти бы назад в церковь.

— Што делать! Уж ты не отставай от меня.

— Ты только не брось.

— Я не брошу. Што мне одному-то? Вон наши подлиповочи,— што им,— своих приятелев завели.

Елка и Морошка работали на носу и редко говорили с Пилой и с Сысойком. Им почему-то не нравились Пила и Сысойко, и они даже наговаривали об них бурлакам, что они колдуны, в остроге сидели и прочее.

Каждый раз, когда нечего было делать, Пила и Сысойко садились куда-нибудь, вдалеке от прочих бурлаков, смотрели друг на друга и жалели друг друга.

— Плохо, Сысойко! Аяй плохо... Так вот и болит нутро; уж болит!

— Как болит!.. Помереть бы...

— Сысойко, зачем ты не баба?..

— А пошто?..

— Да так. Все бы оно лучше.

— А мы подем назад?

— Да надо ребят найти. Как найдем, и подем сюда.

Половина барок поплыла из Елабуги к устью Волги и

в Саратов. Подлиповцев и прочих бурлаков заставили выгружать железо на берег, а потом нагружать в баржи. По окончании нагрузки Пила и Сысойко получили по четыре рубля денег, а прочие больше и меньше, смотря по тому, кто сколько забрал раньше вперед. Несколько бурлаков поступили на баржи, тысяча человек пошла в Вятскую губернию, кто по реке Вятке, впадающей в Каму недалеко от Елабуги, кто проселочными дорогами. Человек двести нанялись вести суда до Осы, Перми, Усолья и Чердыни. Груз был большею частию с хлебом. Пила и Сысойко нанялись с прочими подлиповцами до Усолья по шести рублей и получили задатку по полтора целковых.

XIII

Работа для подлиповцев теперь была еще тяжелее. Судно дожидалось попутного ветра. Ветер подул. Подняли паруса с песнями: «Ухнем! ухнем! разом да раз!!!» Ветер натянул паруса и потянул судно. Подлиповцы удивлялись первый день, как это их тянет ветер. Прошли они так верст десять, судно вошло в такое место, где ветер не мог тащить судно. Судно подплыло к берегу посредством гребли и стало на якорь.

— Бери бичеву! — сказали лоцмана. Бурлаки, в том числе и подлиповцы, положили в лодку бичеву — веревку, привязанную за верхушку и середину мачты, с кожаными петлями или лямками, и приплыли на берег.

— Бери бичеву!..

Бурлаки надели на груди лямки. Всех их было пятнадцать, на судне было десять бурлаков.

— Трогайся с богом! трогайся! Што стали?

Бурлаки тронулись, пошли и стали: веревка точно за гору была привязана.

— Што стали! Шевелись, натягивай! — кричат мужики с судна.

Бурлаки потянули бичеву — и все ни с места.

«Ухнем, ухнем! Да раз!..» Они натянулись вперед всей силой, их подало вперед.

«Ухнем, ухнем, да раз!.. дерни, подернем, да раз!..» И они уже шли, нагнувши спины, опустивши голову вниз, руки болтаются, ноги переступают едва-едва... «Дернем-подернем, да раз!» И они идут, не увеличивая скорости шага; на плечах их точно что-то тяжелое лежит, такое тяжелое, что ужасти... Идут они так час, груди у них болят, ноги устали; с них каплет пот, большие шапки их закры-

вают глаза... Идут они тихо и покачиваются из стороны в сторону.

Идут они сегодня по песку — солнышко их жжет; на другой день идут болотистым берегом — ноги вязнут; выбились из сил, а лоцман то и дело кричит:

— Што стали, пошли живо!

На третий день идет дождь, гремит гром, сверкает молния, а они идут и тянут богачество... Вот судно встало на мель. Пошли они к судну по колено в воде, вошли на судно и сталкивают его шестами с мели — и опять их пробирает пот, солнышко или дождь. Вон стоят суда с высокими мачтами.

— Стой! — кричит лоцман.

Они хотят встать, их пятит назад.

— Брось бичеву!

Они снимают лямки и бросают. Бичева подбирается на судно. Много ловкости нужно иметь лоцману, чтобы провести судно к верху. Много труда для бурлаков, нанявшихся вести судно на своих плечах!..

Как трудно подымается судно кверху, это видно из того, что наши подлиповцы пришли из Елабуги в Пермь через месяц, потому что они большею частью тащили его, а ветер дул редко.

Пила и Сысойко везде спрашивали про Павла и Ивана, но никто не знал об них. В Перми они не шли бичевой, а сначала стояли против речки Данилихи, потом, когда подул ветер снизу, их протянуло до речки Егошихи, и здесь они простояли два дня, в которые выправили билеты. Пила справлялся на трех баржах и ничего не узнал об детях.

— Померли! — решил он. — Ну, хоть не мучатся. А то што им жить-то... А вот на нас так нету смерти.

— И мы, поди, не помрем? — спросил на это Сысойко.

— Как не помрем — все помирают. А все бы теперь лучше...

— А ты живи: я-то как без тебя?

— Ну, и ты помри.

— Утонуть?

— Ступай на Чусову, хлобыснись.

— Боюсь...

— Вот мы таперь муќу прем, а небось ее не дадут нам, а дают когда гривну, когда полтину.

— Знамо, они богатые.

— Вот, бают, и в Чердынь муку плавят, а пошто она там дорога?

— А по то; кто плавит-то,— богат. Вот те и богачество!

— Уж именно! Как преж жили, так и таперь придем без всего, до ошшо ребят нет.

— Што делать!.. Вот те и бурлачество!

— Трудно. Оно и баско там, да што? А мы, Сысойко, не подем уж в Перму, лучше соль будем делать: ишь, как там тепло, и денег, бают, больше дадут.

— И то ладно. Только на чучелу бы попасть, што с колесами бегат.

— Попробуй — попади! Прогонят. Везде гнали, и из Перми прогонят. Народ там, бают, злой...

— Все бы поплавать...

— Черт ты экой! Ты погляди, што у те на груди-то? У меня, смотри, кожа слезла... А спина-то? Самого так и пошатыват,— хоть помереть тожно... Сысойко! Пошто мы родились-то?.. Вон лошадям так славная жизнь-то...

— Ну их!.. А мы соль будем делать.

Через день Пила и Сысойко ведут такой разговор:

— Ошшо бы так-ту поплавать, как по Чусовой плыли... Людей сколь, барок!.. города разные... И хлеб там был...— говорит Сысойко.

— Так оно. А таперь и люди-то побегли, бают, домой.

— А нам куды?.. што нам в деревне-то?..

— Там, Сысойко, бают, города баские есть. Бают, Перма супротив их пигалица... Походим ошшо тамока?

— Подем.

— Бают, город есть такой: дома все каменные, а вышина-то... в Перми нет таких домов. Там, бают, царь живет.

— И туды подем... А денег дают?

— Бают, баско там.

— А мы и таперь подем!

— Куды таперь подешь? Я чуть иду, так бы вот и лежал. А мы полежим в Усолье и подем...

Через день опять другое:

— Гли, Пила, траву косят!.. Што бы нам землю дали,— уж и бурлачить бы не пошли.

— Э! людям счастье, а нам где уж! Вон, бают, много есть бросовой земли, а не дают — богатые люди продают, да дорого... Здесь ошшо што: все лес да лес, а вон ниже Пермы видали мы, какие земли-то; бают, хлеба много.

— Пожить бы там... Гли, плот плывет!

— Пусть плывет. Ты вот то суди: люди-то на нем такие

же, как и мы. А ты погляди, как рыбу тащшат неводом. Вот дак ремесло. Лучше этова ремесла ничего нет.

— И легко!

— Поймал и съел, и продать можно.

— Подем рыбачить.

— Подем... Поспим и подем.

— Слышь, Сысойко, какой я сон видел... Ходили мы в Перми, дома все инакие, огромнеющие — ужасти! Церквей сколь!.. Хлеба так и накладена целая гора... Набрали мы много хлеба... Идем-идем, да и очутились в реке, и хлеба нет,— невод тащим... Вытащили — ничего нет; ошшо пошли, много достали рыбы... Столь много, што ужасти... Потом мы в варнице очутились... Печь большая-пребольшая; все дрова, и вижу я в печке-то Апроську... Кричит она: «Тятька, вытащи! тятька, вытащи!..» Ужасти... Стою я и не смею в печку водти, а только тебя жгет-жгет, и сам будто ты в полыме стал. Кричу я эдак, а меня в печку толкают... Вот дак сон.

— Беда!

— А как худо жить!.. Ходили мы, ходили с тобой, а што выходили? Смотри, лапти-то у нас куды гожи?.. а гунька-то, гунька-то!..

— Ну и жизнь!

— Походим ошшо; может, лучше будет.

— Кто ево знат. Ты считай, сколь бед-то.

— А поп баял, как помрешь, бает, на том свете лучше будет,— баско... Значит, и дом будет, и лошадь, и корова...

После этого разговора оба друга весь день ничего не говорили.

Предоставляю читателю самому судить о положении Пили и Сысойки. А таких бурлаков очень много. Пила говорил правду, что ему бы родиться не следовало: родился зачем-то человек; в детстве терпел горе, вся жизнь его горе-горькая, уж как ни пробовал выбиться из нищеты, нет-таки — стой! Куда лезешь, лапотник?..

XIV

До Усолья осталось верст тридцать. Полдень. Идет дождь и немилосердно мочит бурлацкие полушубки. Идут бурлаки часа четыре то по колена в воде, то по болотистому берегу, то перескакивают через ручейки, переходят ложки́. Все устали, измучились, как загнанные лошади, у всех пересохло горло. Все молчат уже с час.

Пила идет впереди. Сысойко рядом. Елка и Морошка позади и́х. Пила и Сысойко страшно исхудали и походят на мертвецов. Они целую неделю пролежали в судне, теперь немного поправились, и, хотя едва-едва переступают ногами, хотя у них кружатся головы, лоцман заставил-таки их тащить судно. Две недели не пели бурлаки песен, говорили мало. А это худой признак. Водку пили только в Перми.

Идут бурлаки по отлогому берегу около плетня, которым огорожен чей-то покос с лесом: ноги скользят, запинаются за пни; все они покачиваются из стороны в сторону, свесивши головы, опустивши руки. Один только бурлак, молодой парень, то и дело тараторит, изде́вается над вятскими мужиками.

— Пошли, значит, вячки утку стрелять, а никто и не умеет стрельнуть. Штука, значит, забористая...

— Ты уж баял. Лонись баял, давече баял...

— Толды не все; таперь как есть скажу.

— Ну бай.

— Ну и пошли, значит, стрелять семь мужиков одну утку, а ружье у них у всех одно, да и то забарабали у богатого хресьянина... Ладно. Увидели утку и закричали: «Лови ее, халяву!» Побегли, она и спряталась. Потом выбегла и сидит на озере... Вот они и стали ружье затыкать порохом; один положил горсть, другой бает: погоди, я положу! моя, бает, копеичка не щербовата... Третий тоже бает: моя копеичка не щербовата и пехает горстоцку пороху... И все так бают и пехают горстоцку пороху... Ну и положили все по горстоцке пороха, затыкали семью тряпками... Ну, вот один бает: я стрельну, другой тоже хочет стрельнуть — и расцапались, а потом и обхватили все ружье разом... Ружье как бзданет их всех,— кому руку ушибло, кому лицо — беда! а один, как стоял, так и упал — покойник сделался. А они бают: «Скрадыват! скрадыват!» — и полегли с ним головами врозь... Так и лежат, а встать не смеют... Только едет мужик и видит их... Едва-едва сдогадались, што один мужик помер. Ну, их сцапали опосля, приволокли к начальству.

Бурлаки даже не улыбнулись и молча слушали рассказ. Они уже в четвертый раз на этом дню слышали этот рассказ. Молодой бурлак обиделся, зачем бурлаки не смеются, и начал другой рассказ, как вячки онучи сушили...

Судно пошло на мель. На нем шесть бурлаков работали шестами.

Бичевники стали.

— Трогай сильней, трогай! што стали? — понукал бичевников лоцман с судна.

Бичевники натянули бичеву, наперлись, закричали: «Дернем-подернем, да раз! ухнем да ухнем! да раз!..» Судно стоит на одном месте.

— Пошло, родимое, пошло! Прибавь силушки! Вот у речки отдохнем...— понукает лоцман.

Бичевники наперлись пуще прежнего, запели; судно подвинулось, они пошли, но шли так трудно, словно невесть что тащили... Идут они, ни о чем не думая, а только далеко-далеко раздается их песня: «Ухнем! ухнем разом да раз!.. ха! дернем-подернем да раз!..»

Вдруг бичева лопнула, все бурлаки упали... Кто ударился головой о плетень, кто коленкой о камень, кто расшиб нос и губы, кто свалился к воде, кто упал на товарища...

Восьмеро встали. У одного окровавлено лицо, другой жалуется, что бок ушиб, третий кажет руку, двое кричат: «Ой, брюхо болит! оёченьки!»

Пила и Сысойко лежали без чувств в разных сторонах, облитые кровью. Бурлаки окружили их и стали смотреть. Пила разбил лоб, переломил левую ногу... Сысойко разбил грудь...

Все запечалились.

— Померли!.. Родимые...

— Эх-ма! Вот те и жизнь!.. Ох-хо-хо! — И бурлаки утирают черными жесткими ладонями глаза...

Пилу и Сысойку накрыли полушубками и отошли прочь.

Приплыл на берег один лоцман с бурлаками. Все погоревали, долго судили: что делать с Пилой и Сысойком — и решили свезти в деревню. Пилу и Сысойку положили на рогожки, завернули рогожками, приплавили в шитике на судно и там положили на палубе. Бурлаки не отходили от них, обмыли водой обоих и положили так, как мертвецов. Сысойко пришел в чувство, застонал, взглянул в левую сторону, где лежал Пила... Лицо Пилы было страшно.

— Пила! — простонал Сысойко.

— Дай водицы ему,— сказал лоцман одному бурлаку. Бурлаки почерпнули в ведро воды и влили в рот Сысойке воду. То же сделали и с Пилой.

Пила пошевелился, но не издал звука.

Сысойко смотрит на Пилу дико.

— Пила! — опять стонет он.

Пила издал глухой стон.

— Больно? — спрашивали Сысойку бурлаки.

Сысойко смотрит на всех дико, стонет... Вот он повернулся на бок и смотрит на Пилу. Пила открыл глаза, пошевелил губами и ничего не сказал... Потом он протянул к Сысойке руку и умер...

— Помер!

— Добрый был, добрый...

— И мы так помрем...— рассуждают бурлаки, чуть не плача.

— Тятька! — стонет Сысойко.

— И он помрет...

— Сысоюшко! поживи ошшо чуточку!..— говорят Сысойке бурлаки.

Лоцман никак не мог заставить бурлаков тянуть судно.

— Не трог! — говорят.— И мы помрем.

— Братцы, спехнем хоть судно-то. Смотрите, ветер!

— Нет, братан... Гляди!

Лоцман привык уже к подобным сценам и перевез Пилу и Сысойку в деревню, находившуюся недалеко.

Пилу схоронили бурлаки. Не одна слеза упала на Пилу. Холодные были эти слезы, слезы бурлацкие...

Сысойку оставили в деревне, и судно кое-как сдвинули с мели. Оставили Сысойку в деревне без бурлаков у одного крестьянина, и через четыре дня после отплытия судна он умер...

Родился человек для горе-горькой жизни, весь век тащил на себе это горе, оно и сразило его. Вся жизнь его была в том, что он старался найти себе что-то лучшее...

Вот таково бурлачество и каковы люди бурлаки.

Елка и Морошка благополучно добрались до Усолья и там поступили на варницы. От работников они узнали, что жена Пилы Матрена за воровство попала в острог, а Тюнька воспитывается какою-то нищею. Эта нищая каждый день бьет его, берет с собой, заставляет говорить: «Подайте, ради Христа!», пропивает насобиранный хлеб и деньги и часто оставляет его без хлеба.

Положение этого ребенка очень незавидно. Ведь и он вырастет, и каким он будет человеком?..

XV

Что сделалось с Павлом и Иваном? Они не нахвалятся своею судьбой; жизнь им кажется хорошая. У них заведен сундучок, в котором хранятся сапоги, зеркальце, чай, са-

хар, две ситцевые рубашки, два тиковых синего цвета халата. Они летом кочегарами на пароходе, а зимой работают на пристани. Летом они бывали в Нижнем, в Саратове, в Астрахани, едали яблоки и арбузы, очень развились и даже умеют читать.

Пила оставил их в Перми в соборе. Там они стояли около архиерейского места (престола, по-церковному) и глядели, как одевали архиерея. Когда они услыхали слово б а с к о! то думали, что это так и должно быть, и не обратили внимания на волнение в народе, когда выводили из собора Пилу и Сысойку, потому что они в это время смотрели на архиерея, на духовенство, на певчих и на живопись. Их все удивляло. Когда был великий выход, Павел сказал Ивану:

— А тятьки нет!

— Он, поди, смотрит.— И простояли всю обедню. Они бы, пожалуй, два дня простояли, если бы два дня шла архиерейская служба. Когда стал выходить народ из церкви, они спохватились, что нет отца, забегали на дворе, везде выглядывали его, ушли опять в церковь, там уже не было людей. Они зашли и на хоры, и там нет, пошли в алтарь, но оттуда их прогнал староста. Погоревав на улице об отце, они пошли на рынок, походили там часа с три, насобирали Христа ради милостинки, наелись, спросили бурлаков об отце, ничего не узнали и пошли глядеть на народ.

— Где же тятька-то? — говорил Павел.

— Кто ево знает.

— Он, поди, уплыл?

— Без нас не уплывет.

— А мы как?

— Мы здесь останемся... Ишь, баско!

— Все тятьки жалко...

По городу они ходили с час и зашли на бульвар. На бульваре начала собираться губернская публика. Они выспались в канаве, и когда пробудились, то бульвар уже был полон народа; играл военный оркестр; в шалаше играли фокусники. Ребята все высмотрели, всему дивились: их очень забавляли офицеры, наряд людской, гимнастические упражнения, качели, танцы в зале.

— Баско!

— У нас нету так-то.

- И на барках инако.

— Вот так город!

— А мы уж здесь останемся...

— А как протурят?

— Смотри, бурлаков сколь. Где же тятька-то?

— Он, поди, смотрит: ишь, сколь людей-то! Ишь, што диется! — говорят ребята, указывая на круглую качель.

Ночью они уснули на бульваре. Утром на бульваре никого не было, и ребята заплакали с горя.

В городе им попались бурлаки.

— Видели тятьку? — спросил их Павел.

— А вы бурлаки?

— Бурлаки.

— Откедова?

— Чердынские.

— А откелева с барками-то идете?

— А завод Шайтанский есть, оттоль и плывем. А тятьку-то Пилой зовут, да ошшо Сысойко с ним.

— Не знам мы твово Пилы, и Сысойку не знам.

— Шайтански отвалили уж.

Ребята запечалились и пошли с бурлаками на рынок. Они заплакали. Куда идти? где жить?

Пошли они сбирать милостинку. Два дня собирали милостинку, исходили весь город, а ночами спали у соляных амбаров. Потом они наткнулись на одну пристань, увидели, как и что работают люди, сами стали работать и получили за работу по двадцать копеек серебром за сутки. Целую неделю они спали под лодками, а потом над ними сжалился один водолив, узнавший от них о потере отца, и пустил спать в барже. По совету этого водолива ребята и поступили на пароход с жалованьем по шесть рублей в месяц.

Житье на пароходе ребятам кажется хорошим. Когда идет пароход, они постоянно бросают в печь дрова и в это время ходят черные, как трубочисты, и только изредка любуются людьми. Они узнали, что такое пароход, и знают каждый уголок в пароходе, каждую вещь, для чего она тут хранится или приделана. Товарищи любят их, в особенности любит их подручный повара и часто дает им то кусочек пирога, то кусочек жаркого или иных каких сластей понемногу, а главное, в свободное время, когда пароход стоял, учит их читать. В это свободное время Павел и Иван купались в реке, смывали с себя сажу, надевали чистенькие рубашки и ходили по городу, или спали, или починивали свою одежду. Зимою они отскребают снег, метут, колют дрова, носят воду и дрова то смотрителю пристани, то служащим на пристани, и часто исправляют должность кучеров.

Они часто вспоминают про отца и Сысойку. Сидят они у печки пароходной, покуривая трубки, и горюют:

— Жаль, Пашка, что отца нет. Все бы вместе лучше.

— Куда же он пропал? Вот и Сысойка нет.

— Уж Сысойка от отца не отстанет. Они, поди, все бурлачат.

— Да теперь уж поздно бурлачить: вон, суда плывут к верху. Я, знаешь, ходил на палубу, а бурлаки судно тянут. Жалко мне стало.

— Поди, отец так же тянет.

— А мы как увидим где отца да Сысойко, дадим им денег и звать будем с нами жить.

— Ладно.

Обедают они и говорят:

— Жалко, Ванька, что отца нет! Поел бы он с нами. Ведь он никогда так не ел.

— Жив ли он, Пашка?

— Не потонул ли с баркой?

Оденутся они прилично и говорят:

— Как посмотрел бы на нас отец да Сысойко, удивились бы... Ишь, какие мы!

— А мы, как накопим денег, полушубки хорошие купим, а то дали нам какие-то большие да старые.

— Они, поди, теперь и не узнают нас.

— Я бы, знаешь, как стал бы жить с нами отец с матерью да с Сысойком, про людей бы да про города разные стал им рассказывать, а не то и читать им станем.

— Не поверят.

— Нам бы поверили: ты рассуди, ведь они родные нам. А вот скажи другой им, и не поймут.

— Пошто же они такие?

— А бог их знает. Так уж, верно, бог устроил. Один богато живет, а другой бедно, а живут-то везде по-своему. Один сыт, а другой кору ест.

— А пошто же не все богаты?

— Ну уж, и не говори больше... Ты говори спасибо, что и так-ту живем...

ГОРНОЗАВОДСКИЕ ЛЮДИ



(РАССКАЗ ПОЛЕСОВЩИКА)

1. ЛЮДИ

Скажу я тебе, хороший человек, про наших горнозаводских людей, что это за люди такие. Вот, слушай-ко! До той поры, как нашего брата, божиею милостью, не уволили всех совсем, мы были люди казённые, подначальные, самые такие маленькие, потому, значит, нашим братом всякий чин понукал, потому, опять, нам на роду было написано быть так: как ты родился от рабочего или мастерового, так и умрешь рабочим или мастеровым... Да. Наш брат смекал тоже, что крестьянин или иной какой мужик бородастый все же лучше нас живет, потому, значит: заплатит он подать да отбудет кой-какие повинности — и шабаш; вольный человек; на все четыре стороны ступай, только билет выправь; делай, что хочешь, а если капитал имеешь,— в купцы можно махнуть, а наш брат — шалишь!.. Твердо оно-то, да приперто!..

А почему это так? У нас, на матушке Руси, много разных заводов и промыслов, казенных и таких, которые принадлежат богатым людям. Вот к этим-то заводам, рудникам да промыслам и были давным-давно, по указам государевым, навечно причислены или подарены люди, земли и леса. Люди эти как жили в этих местах, так и стали казенными или господскими навсегда, и звания им разные дали, а казенные были уравнены с военными и бород не носили. Всех их наделили покосами и домами.

Вот эти-то казенные люди, земли да заводы и стали управляться разными чинами, должностными людьми да присутственными местами, которые и назывались горным ведомством. В маленьких заводах заведены конторы заводские и полиции, которые управляли людьми, заводом, рудниками и землями, которые находились около завода. Над всем этим был управитель — горный инженер. В боль-

ших заводах были главные конторы, которые заведовали несколькими заводскими конторами, заводами, рудниками или целым округом, которым управлял горный начальник — тоже горный инженер, подполковник или полковник (или, как прежде было, обер-бергауптман или бергауптман). Всеми этими горными начальниками, людьми, заводами и начальниками управляло уральское горное правление, которое было сперва в Перми, а теперь в Екатеринбурге, и город этот назван горным; потому, значит, в нем главное управление уральским горным ведомством и живет главный начальник, который еще выше горного правления и глава надо всем, а выше главного начальника есть еще министр финансов. Еще есть горные правления в Сибири и других местах, да там меньше заводов и людей, чем у нас. Наше горное правление не одними казенными правит, но и частными заводами и промыслами, которых много в Екатеринбургском уезде и еще более в Пермской губернии, и начальствует чуть не надо всем Уральским хребтом в Пермской, Оренбургской, Вятской и Казанской губерниях, где есть заводы, земли и люди — казенные и частные.

В казенных заводах, селениях, рудниках и в городе Екатеринбурге жили горнозаводские люди. Люди эти были вот какие чины: горные инженеры и другие чиновники, нижние и рабочие, и сословие рабочих. Все они слушались своих командиров, знали свои места, исполняли обязанности по горной части, не могли отлучиться из своего места без воли начальства и не могли выйти в другое состояние (если родились в горном звании). Всем им была служба тридцать пять лет.

Кроме инженеров, вот какие были названия: нижние чины назывались урядниками, унтер-шихтмейстерами, межевщиками, чертежниками, фельдшерами и аптекарскими учениками; нижние рабочие чины назывались: уставщиками или кондукторами, мастерами и писарями; прочие назывались сословием рабочих людей и были: мастеровыми, урочно-рабочими, писцами и цеховыми учениками. Были у нас еще баталионы и лесная стража. Баталионы с первого начала набирались из солдат, а потом составляли его дети их, записанные к горному ведомству. Люди из баталионов стерегли казенные места: сторожа рассыльные и казаки — все из баталионов, и все носят горную форму и имеют командира — главного начальника. Наши леса стерегли наши же люди. Леса разделялись на округи или лесничества, объезды или дистанции и обходы. Они управлялись лесничими и их помощниками, а стража называлась объездчи-

ками, стрелками, полесовщиками и сторожами. Все эти люди получали жалованье, провиант, имели дома, которые строили на казенный счет, и покосы.

Нижние рабочие чины командовали над рабочими людьми — мастеровыми и урочно-рабочими. Мастеровые знали какое-нибудь ремесло и занимались работою дома, а в казну нанимали работника. Урочные работники не имели ремесел и работали на заводах, фабриках, в рудниках и исправляли все работы в казну. Эти урочно-рабочие делились на конных и пеших. Конным давались от казны две лошади, и они работали на казну двести дней в году; пешие — сто двадцать пять дней, и, кроме того, летом, с первого мая по первое ноября, половину месяца работали на себя, потому, значит, давалось время за уходом покосов. Конные и пешие делились на десятки и сотни, коими управляли десятники и сотники, а всеми — старшины. Каждый десяток, сотня отвечали за свой участок или десяток и сотню и обязывались сделать все, что им назначалось особо от другой сотни или десятка, и каждый работник отвечал сам за себя и следил за другим работником, для того, значит, чтобы работа в участке шла для всех поровну и кончалась в срок.

Все рабочие, сверх жалованья, получали провиант и дрова. Холостые получали провианта по два пуда в месяц, женатые — четыре пуда; на сына полагался пуд; на дочь, до восемнадцатилетнего возраста,— полпуда или где как назначено. Конные, сверх всего этого, получали по шести копеек за рабочий день, на две лошади, а если они ездили на работы менее пятнадцати верст, то получали еще по две копейки в сутки на пропитание, а если дальше пятнадцати верст от своего жительства — по три рубля в месяц, если только не работали куренные работы, за кои платилось по особым положениям.

После тридцатипятилетней службы мастеровые и рабочие получали пенсион — половину годового жалованья или несколько копеек в месяц; за сорок лет — две трети, а кто не хотел пенсии — получал единовременно трехгодовой оклад жалованья. Жены, после смерти мужей, получали пенсион от шести рублей восьмидесяти семи копеек до одного рубля семидесяти двух копеек в год, а дети, до двенадцатилетнего возраста, — по десяти копеек в месяц, с двенадцатилетнего — по двадцать две копейки. Дочерям давался пенсион до пятнадцатилетнего возраста.

Каждый мастеровой и урочно-рабочий был женат с семнадцати лет, потому, значит, что без жены нельзя жить; муж уйдет на работу, а дома хоть шаром кати. С женою

потому хорошо: она и накормит мужа, и хлеба на дорогу напечет, и провианта больше дают, и детей она родит, кои тоже провиант получают и помогают отцам. Значит, хорошо и весело, и без бабы жить нельзя. У жен наших были свои работы: они управляли домами, смотрели за детьми, садили летом в огородах разные овощи, коров и овец держали, нитки пряли, работали на свое семейство. Значит, простые были, такие же, как и мы, грешные,— мужья. Мы были командирами над ними и всем своим имуществом; они орудовали над детьми и скотом.

Наши сыновья с осьмилетнего до пятнадцатилетнего возраста назывались малолетками и если не учились в школах, то работали дома или с отцами на казну и получали провианта по полтора пуда в месяц; с пятнадцатилетнего до осьмнадцатилетнего возраста они назывались уже подростками и употреблялись на легкие работы на заводах, за что и получали по два пуда провианта в месяц; и кроме провианта, дети наши за работы получали от пятнадцати до двадцати двух копеек в месяц жалованья.

Для наших сыновей были устроены в заводах школы, куда они брались осьмилетние, и за учение получали по пятнадцати копеек в месяц. По окончании учения они брались в работы или их переводили в окружные училища, кои были в тех заводах, где главные конторы и где жил горный начальник. Там они жили в казенном доме и учились четыре года. После учения в этих училищах их определяли в конторы писцами или в другие места, в той части, чему они научились в училище. Хорошие ученики поступали в уральское училище, которое находилось в Екатеринбурге; учили четыре года горные науки и выходили с званием урядника на службу, или в управление, или в заводы.

Для нездоровых у нас были поделаны лазареты и богадельни. Там были наши же фельдшера и лекарские ученики, только присылали лекаря или аптекаря не нашего ведомства.

Вот кто мы такие были. Начальство тоже заботилось о нашем брате, только не выпускало нас из нашего звания. Уж так, верно, нам на роду было написано. Ничего бы и это, да то скверно: много у нас начальников было; много от них непорядков делалось; больно они уж важничали и худо обращались с нами. Ближайшее наше начальство были сотники и старшины. Они назначали нам места работ, требовали сделать какое-нибудь дело непременно к такому-то дню, и если кто-нибудь из нас не слушался их — они

того драли и приказывали ему работать в те дни, когда он должен быть свободным от работы. Бывало, наш брат никакой вины за собой не знает, а работает весь год в казну; нет ему спуска, а стал говорить — хуже: отдерут и провианта лишат. Богатому еще можно было отлытать от работы, потому, значит, стоило только подарить старшину, а бедный и жаловаться не смел, потому, значит, жалобам высшее начальство не верило. И бывало то: конные часто имели одну лошадь и не получали на нее денег; когда ездили далеко, не получали жалованья; и конторы хитрили в выдаче провианта, так что вместо шести пудов рабочий получал два пуда, а за остальными ходил круглый год, да иному и ходить некогда было, так и попускались, потому, значит, боялись жаловаться и работали через силу. Досадно нам было больно, что нами всякий чин понукает; думали мы: «Как же, мы работаем исправно, а почто нам за наши труды не дают всего, что требуется по закону?»

Зато с своим братом, рабочим или мастеровым, мы жили дружно, душа в душу; любили выпить компанией и все ругали своих командиров. Тогда никто не попадай нам под руку — поколотим, как шельму, и если что набедокурим, ни за что не выдадим друг друга. И жены наши между собой жили дружно, а если ссорились, то скоро мирились. Все мы не любили тех, кто из нашего брата важничал. С таким мы даже не говорили.

В частных заводах такие же были заведены порядки, как и на казенных: люди получали жалованье, провиант, имели дома и покосы, и такая же была у них служба, только рабочие назывались непременными работниками, и ими командовали нарядчики, смотрители работ и приказчики. На малых заводах там были заводские конторы, в больших — главные конторы, которыми управлял управляющий заводами какого-нибудь заводовладельца. От каждого владельца были один или несколько управляющих, например у Сергинских было трое. Управляющие определялись заводовладельцами, по доверенностям, из генералов, чиновников и заводских людей (например, были в Верх-Исетском заводе тамошние заводские люди), такие, кои знали горную часть. Вот эти управляющие управляли всеми людьми, землями, рудниками и заводами хозяина, распоряжались работами и были главным лицом, потому, значит, многие хозяева не жили в своих заводах. За это они получали сверх квартиры до двадцати тысяч рублей в год жалованья, ну — и в карман клали, отчего иные заводовладельцы разорялись. Заводовладельцы эти получали от уп-

равляющих отчеты такие огромные, что им не хотелось их проверять самим, да они в них и не понимали мудростей управляющих и верили своим управляющим, людям багатым и кои были дружны со всеми властями в нашем городе. Управляющие, по доверенностям, предоставляли части управления заводом, людьми и рудниками приказчикам, которые тоже доверяли своим помощникам части управления — нарядчикам и смотрителям работ. Не все управляющие входили в нужды жителей, а предоставляли надзор за ними и работами приказчикам, которые делали все что хотели и делили свои барыши с управляющими. С людьми они обращались строже казенных начальников, били правого, драли и не выпускали из рудников. Больно трудна была работа в рудниках. Там иные по неделе из шахты не выходили и ползали так в земле с тачками с рудой на расстоянии сажен десяти и пятнадцати от поверхности... Там за малую провинку стегали работника и заставляли работать не в зачет, из выгод управляющего. Особенно трудно было на сысертских заводах незадолго до манифеста о воле. Там управляющий давал приказания приказчикам достать к такому-то числу столько-то руды и выгнать на такой-то рудник столько-то людей, и если рабочие не могли достать, работы усиливались, и их драли. Приказчики, нарядчики и смотрители были мучителями рабочих, и рабочим жаловаться было некому. Управляющие к себе рабочих не допускали, приказчики драли, а хотя и были там исправники, кои определялись горным правлением, но они не разбирали жалоб рабочих на приказчика и управляющего. Жаловались немногие горному правлению и главному начальнику, но таких отсылали обратно в заводы с приказанием наказать[1]. Пятнадцатилетние дети там работали наравне с отцами в рудниках, и их били и драли за л е н ь!

Тяжелые были времена, и ты, милый человек, поди, не веришь этому. Было, братец мой, много мук было... а пристать за народ некому.

Были там еще поверенные чиновники и заводские люди.

---

[1] В 1859 и 1860 гг. по жалобам мастеровых Сысертского завода, по приказанию главного начальника, было произведено следствие чиновниками Фоком и Алтуховым. По этому следствию обнаружено много злоупотреблений со стороны управляющего К. и его доверенных лиц. Управляющий К., вследствие его подсудности, был уволен, а приказчики успели, еще до производства следствия и до поступления дела в уездный суд, выйти на волю и записаться в купцы. О дальнейшей судьбе этих лиц мне неизвестно. *(Примеч. автора.)*

Они жили в нашем горном городе и ходатайствовали по делам в суде в пользу управляющих и богатых людей. Они обирали управляющего и своих доверителей и делали в суде что хотели. Если они хлопотали за бедных, кои давали им последние свои деньги, то они все-таки держали сторону богатого и заводских властей. Через них-то правому и не было в суде защиты, и правый делался виноватым или лишался своего имущества, а виноватый делался правым...

Однако не во всех заводах частных было так. Вот в яковлевских да демидовских хорошее было житье людям, оттого, значит, там хорошие были управляющие, кои сами присматривали за работами и не обижали людей. Все не жаловались на свою жизнь; и в Нижне-Тагильском и Верх-Исетском много было богачей, и заводы эти богатые. Демидовские и яковлевские люди приобретали тайком металлы, делали из них вещи и продавали в то время, когда отправлялся караван весной по воде, или изделия свои они продавали на ярмарках и в городе. Зато там большая половина жителей была единоверцы или раскольники.

От непорядков в других заводах многие воровали, убивали, делали серебряные и бумажные деньги, за что их ловили и ссылали в Сибирь. Деланием кредитных билетов, воровством и убийством славились невьянские; с других заводов бегали и говорили, когда ловили их, что они непомнящие родства, или уходили в леса к раскольникам. Им лучше нравилось идти в Сибирь, чем терпеть в заводе.

Ну, а теперь, слава тебе господи, воля вышла. Шабаш!.. Всяк вольный стал: хочешь — работай, не хочешь — как хочешь, силой никто не заставит. Сначала, как прочитали нам манифест, мы и руки сложили, лежим себе дома; а как потребовали нас на работу, мы и говорили: «Знать никого не хочем... Дождались мы матушки-воли — и шабаш!..» А когда нам растолковали, что еще два года останется прежний труд, мы долго не могли понять: зачем еще два года! Коли манифест прочитали — и давай билет на все четыре стороны! Мы еще до манифеста слышали, что нас уволят, только не могли понять, как уволят. Что будет с нашими домами и покосами? А многие богатые да начальники наши печалились, что их от команды отставят; ну, да им можно было, а мы-то как? Терпели-терпели, а потом и выдворят нас из своих домов?.. Урядники тоже побаивались: им хорошо жилось, а как погонят их метлой из службы, куда

они денутся? Нынче, братец ты мой, хороший человек, писарей-то воно сколько развелось, и чиновникам местов мало, а нашему брату и подавно. Ну, а когда мы прочитали положение и поняли дело — ничего: домов не отнимут, а кто выслужил года — покоса не отнимут, а не выслужил — деньги плати. Хорошо, ей-богу! Хочешь работать — работай, денежки будут давать, а драть да бить по морде уж не станут, значит, воля, и сам можешь сдачи дать. Слава те господи! Мы, казенные люди, рады были воле, только,— по привычке, что ли, или бог знает отчего,— нам как-то неловко казалось вдруг сделаться вольными: работал ты, били тебя, драли как сидорову козу, и вдруг ты вольный, хоть в купцы ступай! Это диво! Эко счастье! Эвоно куда пошло!.. Да мы, братец ты мой, хороший ты человек! — да мы, скажу я тебе, целую неделю, как прочитали положение, из кабаков не выходили, а дома все батюшку-царя родного благодарили! На что наши жены — дуры, и те себе по обновке купили да по гривенной свечке за царя поставили в церкви... Ай да батюшка-царь! Большое тебе спасибо: не ты бы, голубчик, так поедом бы нас заели...

Два года мы еще работали по-старому, только наши начальники затихли: не стали нас драть. В частных заводах бунты затевали, оттого, значит, что там усилили на рабочих работы, для того, значит, чтобы рабочие больше сделали, а то, пожалуй, после рудники станут; к тому же находились там такие умники, кои сбивали народ, что работать больше не следует. Ну, а у нашего брата, сказал что один толково, и все в один голос говорят: так! Ну, и не шли на работы, к управляющему лезли, побить его хотели... Их усмиряли солдаты и губернатор и драли потом, а все-таки не объясняли толково... Потом, как уволили нас совсем в нынешнем году, начальство и давай упрашивать нас остаться при тех же работах, плату нам назначило. Ну, мы, бедные люди, казенные и бывшие господские, подумали-подумали — куда пойдешь? Да и на одном месте камешек обрастает, говорит пословица; денег нет, и стали опять работать по-прежнему; только теперь уж — вольные люди, и денег больше дают. Да и опять, как подумаешь,— ведь без нас казна не обойдется; кто, кроме нашего брата, пойдет на фабрику да в рудник: крестьянин или иной какой к этой работе не сроден, а мы сызмалетства привыкли к ней. Нам и холод и голод — все нипочем. Ну, так все и остались при своих местах, и теперь лучше стало как у нас, так и в бывших частных заводах. Иные, богатые, в мещане да купцы записываются, другие куда-то разъехались, а мы,

маленькие люди, так и будем маленькими людьми; только теперь мы — вольные люди, никто нами не смей понукать... А все батюшка-царь это добро сделал. Ну, как не молить нам за него бога... Вот, значит, он один понял да вникнул в наше положение...

II. ПОЛЕСОВЩИК

Теперь скажу я тебе, братец ты мой, что я за человек такой. Видишь ли: отец мой был лесной сторож, самый последний, маленький человек, ничтожный, то есть: всякий подначальный его мог бить, сделать с ним что вздумалось бы. Звали его от рождения и до самой смерти Иваном Фотеичем Ивановым, а как умер теперь, по поминальникам, кои у детей поделаны, в церквах, в радовницы да в день его святого,— поминают только рабом божиим Иваном или Иоаном, как в поминальнике у него написано. Вот этот раб божий да подначальный, самый маленький человек, был женат на Степаниде Егоровне, от которой и родилась ему куча ребят, целая семья: Гаврило, Петр, Семен, Тимофей, Павел, Агафья и Палагея, и я после них. А окрестили меня Иваном, и стал я Иван Иванов Иванов же. Вот что. А почему не иначе меня назвали, я скажу тебе, братец ты мой, историю, которую отец мой часто рассказывал своим приятелям. Он так говорил:

— Этот шишкотряс, Ванька, больно мне солон, костью в горле стоит... Потому, значит, меня через него с кордона стурили в сторожа, и с его родин я совсем обеднел. У меня, знаешь ли ты, было уж пять сыновей: Ганька да Петька, да Сенька, Тюнька, да Пашка, да две дочери Агашка и Палашка; и не рад был я этой ораве, потому, значит, в избе стало тесно, и одеть их не во что было... А если были какие доходы, все на мясо да водку шло, потому выпивал я баско... Ну, я уже и не думал, чтобы жена еще кого-нибудь родила, потому, значит, она ничего не говорила, да и я не замечал... Ну, и ладно... Был я, знаешь ли ты, одного раза, летом, на кордоне; пробыл уже два дня и мастюжил себе сапоги. Вдруг и прибежали Ганька да Петька и говорят мне: «Мамка тятька, парня родила... нас за тобой прогнала; крестить говорит, парня надо; помират тожно... Денег велела нести...» Озлился я на парней, оттаскал их за гривы, и жену выругал, и стал парней домой гнать. А они что: хоть кол им теши на голове, пристали, бестии: парня, говорят, мамка родила, ревет уж он больно... маленький, говорят, такой да красный зачем-то... Ну, я подумал-подумал: коли родила, не бросать

же в пруд, пригодится; по крайности провиант на него буду получать; дал им три гривенника и протурил домой: скоро, мол, буду; только вместо себя кого-нибудь оставлю... Парни домой побежали. Хохочут, на одной ноге скачут да деньги ловят, а я все вижу с дороги да ругаюсь им и кулаки кажу... В это время пришел на кордон сосед-полесовщик, ну, я и попросил его остаться за меня денька на два и заказал, если спросят меня лесничий или помощник, сказать, что у меня-де жена парня родила. Только я вышел на дорогу и сел на лошадь, и увидел, как недалечко из леса два порубщика выезжают с бревнами. Скликал я товарища и напал на них... Они было артачиться стали: куды-те — кулаки тоже кажут... А когда мы хотели у них поводья изрубить да дуги отнять — они и дали нам два рубля... Ну, мы и отпустили... Поехал я домой, посвистываю себе: денежки, мол, есть; попу есть что дать... Да попался мне навстречу сосед, будь он проклят, Егоров. Поедем, говорит, выпьем, у меня деньги есть... А он уж выпивши был. А как я подъезжал уже к своему краю, в Мельковку[1], и недалеко был от кабачка, и зашли выпить, а лошадь я привязал к столбу фонарному, какой был около кабачка, один во всем этом краю. Ну, зашли, выпили по косушке, мало показалось, еще взяли полштоф, уж на мои деньги, а тут еще знакомый мастеровой гранильной фабрики подвернулся, еще нас угостил. Изрядно-таки мы выпили, долго дубоширили из-за чего-то с целовальником и выбили его; нас за это и спровадили в полицию... Как повели нас в полицию, хватился я лошади — тютю!.. Ах, капалка, черт бы тебя подрал! Куда лошадь делась?.. Стал спрашивать то того, то другого; не знаем, говорят... Вот какие свиньи! А казаки гонят нас... Досадно мне стало; взбунтовал я двух мастеровых, да еще четверо пришли: оттузили мы казаков. Ушли они от нас... Куда делась лошадь? Злость меня берет; да и своя братия, мастеровые, тоже жалеют... а нашему брату без лошади как без рук житье. Сказали мне, что Гаврилко Заикин увел ее. Вот я к нему — дома нет. Марш в полицию, а меня, вместо того чтобы мою жалобу разобрать, в чижовку посадили... Ах, досада какая! Хотел

[1] Название края города Екатеринбурга. Эту часть города отделяет узкая грязная речка Мельковка, впадающая в городской пруд. Дома в Мельковке старенькие, построенные на заводский манер. Если только зайти в Мельковку и пройти несколько грязных улиц и переулков да посмотреть на дома, людей, коров, коз и ребятишек, бегающих и расхаживающих по улицам, так и кажется, что какая-то деревня. Все-таки это город. *(Примеч. автора.)*

я все стены проломать, людей, воров да мошенников, которые тут были, хотел избить, да силы и воли такой не было... Так я и ночевал в чижовке, а утром меня высекли. Уж как мне досадно было... Стал было я просить одного служащего просьбу накатать, да он рубль запросил; выругал я его, варнака, и пошел к лесничему. А тот уж узнал, что я в полиции сидел, никаких оправданий не принял, а снова спровадил меня в полицию, высечь велел, а потом идти в лес,— и назначил меня сторожем на другую площадь... Что ты станешь делать: просить некого больше... Просидел еще день; выпустили, спасибо хоть не высекли снова; жалко, должно быть, стало... Прихожу я домой: жена ругается, стерва, а меня злость берет; ударил я ее по голове кулаком и сказал все как было. И она запечалилась; троих парней, которые постарше были, послала лошадь искать. А когда я спросил· как парнишка назвали? — она и сказала: Иваном.— Это, говорит, так было. Я, говорит, по всем соседям бегала, да едва-едва с полтину выклянчила денег; спасибо, Петрович (знакомый мастеровой, человек капитальный) кумом захотел быть: и денег два рубля дал и медный крестик с гайтанчиком парнишке купил. Ну, принесла я парнишку в церковь; Петрович пришел, да Гурьяновна с Трофимовной пришли в церковь... Трофимовна рубашку ситцевую ребенку сшила и кумой была... Насилу-насилу мы уговорили священника окрестить: некогда, говорит, после придите... Вот и стал он спрашивать меня: «Какое ребенку имя дать?» А я почем знаю? Грамотная я, что ли? Ну, и говорю: «Хоть какое, батюшка, только поскладнее да полегче...» — «Какое же?» — думает он и спрашивает кума. И осердился тожно: «Вы, говорит, раньше должны обдумать...» Кум, не будь робок, сказал: «Вы, говорит, батюшка, не горячитесь, потому, значит, люди бедные, а тоже, коли окрестите, мы денег дадим, а не окрестите, к архирею пойдем...» Батюшка осердился и вскричал: «Да какое же имя-то?» — «Ну, каких всех больше,— говорит кум,— коих больше в году, такое и дайте...» — «Иванов больше»,— сказал священник. «Ну, Иван так Иван, все едино»,— сказал кум. И окрестил поп парнишку Иваном...— А лошадь я так-таки и не нашел... Год целый на чужой ездил, целый год лес продавал да копил деньги, и купил хоть дрянную, да все же лошадку, а просил из казны — не дали: не стоишь, говорили».

И стал я расти да расти. А что было до четвертого года, не помню. На четвертом году я уже бегал, а на пятом стал понимать. Звали меня Ванькой да Ванюшкой все братья да сестры и отец с матерью. Старшие братья и отец с ма-

терью то и дело меня завертывали да колотили, потому, значит больно уж я баловник был. Да и не я один баловник был, братья да другие наши ребята еще получше меня были. Только мне больно доставалось. Я скажу тебе, братец ты мой, отец был бедный человек, жили мы все в одной избе, спали, летом — кто на сеннике, кто в чулане, кто в избе, где попало, а зимой мать с отцом на печке лежали, если отец был дома, мы — на полатях да в печке; потом значит, у отца не было шубы, а ходил он в сером кафтане да большой меховой шапке, а на руки надевал собачьи рукавицы, большие-пребольшие, такие, что мне, пятилетнему, как я надевал отцовскую рукавицу, она по горло была... У матери была еще шубейка, вроде нонешнего пальта, а у нас, кроме рубашонок да у старших братьев — худых-прехудых штанов, ничего не было. И у отца-то с матерью всего-навсего было по две рубахи: а умываться мы не умывались, только в бане каждую неделю мылись. Когда мне пятый был год, я с отцом, да с матерью, да еще маленькой сестренкой Машкой, какая через год, сказывали, после меня родилась, вместе мылись в бане, потому, значит, нас мать мыла и парила, — аяй, как жарко!.. Отец-то уж тогда больно парился и смешил меня да мать; на что и Машка мала была, и та кричала весело и махала ручонками да показывала на отца. Он заберется это на полок, сгонит мать на лавку и давай хлестаться веником. Жара нестерпимая... Отец выпарится и пойдет зимой из бани прямо на снег и сядет и пыхтит да любуется на себя... А у нас баня без крыши была, и предбанника в ней не было, а прямо залезали с огорода в баню и в ней раздевались и рубахи вешали на шест; оно и хорошо: и рубахи не мочатся, потом, значит, вши да блохи издохнут от жара, и мы их же надеваем, а не то мать их в бане же вымоет и высушит, пока мы моемся... Летом отец не выходил, после парки, из бани, а окачивался холодной водой. Прочие братья ходили все вместе, а сестры особо.

Семья у нас была большая. День у нас так начинался. Встанем мы и подходим к матери: «Ись! ись!..» Как заголосит человек пять «ись», она и деться не знает куда. Одного колонет, другого оттеребит, третьего ухватом прогонит, а ее передразнивают: язык выставляют да хохочут... Кто плачет, кто друг друга колотит да за волосы теребит... А скажет она кому-нибудь: поди-ткось, принеси то-то — никто нейдет... Подоит она корову, принесет нам кринку молока да каравай хлеба, две ложки деревянные, мы и начнем драку: кто хлеб отнимает, кто ложку, кто кринку

к себе волокет... Крик, и смех, и плач... просто содом и гомор...

Летом мы весь день терлись на улице и играли с ребятами в разные игры. На пятом году я боек был, и доставалось мне от всех. Волосы у меня были белые, курчавые такие, лицо некрасивое, корявое,— говорят, оспа изъела. Как это я выбегу из ворот, и зовут меня ребята: «Векша! векша! бычья голова!» На улице мы барахтались, кувыркались, в лошади бегали. Обхватишь, бывало, промеж ног палку и задуваешь по улице в рубашонке, только волосы трясутся, а тебя погоняют с криком да свистом. Или возьмешь в зубы веревку за середину, двое держат ее за концы и давай понукать тебя. Ну, и стрелешиваешь[1] и свету божьего не видишь; бывало, и упадешь,— поплачешь маленько и опять за старое. Я тогда бойко бегал; были парни, кои бойчее меня бегали, ну, да те старше меня были. Бывало, пустишься бежать взапуски, бежишь-бежишь, а как нагонит тебя кто-нибудь, собьет с ног, сядет на тебя верхом — вези! — и везешь; другой подскочит, подплетет ноги — падешь, начинается барахтанье... плач и смех... Кои из нас постарше были, те в бабки играли да через голову перекувыркивались, и я этому научился. Больно мне хотелось научиться на руках да на голове ходить. Это я видел на бульваре, как один фокусник на голове ходил... Ну, мы, ребята, были переимчивые, нас фокусы больно занимали, и многие из нас учились на голове ходить, да не могли. Редкий день проходил, чтобы я не ложился на середину дороги да не поднимал кверху ног. Поднимаешь это ноги кверху — неловко становится, а тут еще подвернется кто-нибудь и потащит тебя за ноги; к нему другие подойдут и тащат кто за ногу, кто за руку да кричат: «Волоки его, качай на все стороны!» С этими парнями я научился кукишки показывать, глаза косить да делать глаза красными, через заплоты лазить, с крыш скакать да в трубу с вышки пролезать на крышу. Бывало, вылезешь это из трубы весь черный, как дьявол, и соскочишь с крыши, а потом и побежишь умываться из лужи или на реку. Придешь домой; как увидит мать черную рубаху — и давай полысать вицами из веника. Я и в бабки играл. Бабок у нас было богатство, потому, значит, мы их сами промышляли. Пойдешь куда-нибудь на неделе да где сору больше и пероешь место — нет ли бабок. Нашел гнездо, и слава те господи. У меня не много было бабок, потому, значит, играть я

[1] Бежишь. *(Примеч. автора.)*

не умел: не мог в гнезда попадать. А другие по лукошку имели. Поставят это гнезд восемь или пятнадцать и давай кидать за черту бабки. Если бабка падет сакой — на брюхо, значит, тому первому и бить, а пала бокой — тому после бить. Вот набросаем мы бабки и давай спорить: ту бабку, коя сакой пала, бокой делаем, а боку — сакой, ну, и барахтаемся да ругаемся. Я любил слепым бить. Так и норовлю, чтобы моя бабка пала между чертой и гнездами. Ну, как падет, зажмурят мне глаза, я кину бабку — и переброшу через кон... Побегу, схвачу с кона гнездо, сшарабошу ногой все гнезда и марш наутек... Меня догоняют, колотят. Пробовал я и налитками бить — бабками со свинцом — все плохо попадал, бросал и кобыльи бабки — большие — и тут мимо, а все-таки уносил домой пару гнезд,— воровал, значит. Не нравилось мне, как дразнили меня наши ребята. Как завидят они меня и кричат: «Векщица! векщица! бычья голова! шаршавая собака!..» Я бежал к ним и хотел ударить кого-нибудь, а они подходили ко мне, протягивали руки и уськали, как собаку: «Векщица, векщица! усь! усь!» Я хотел поймать их всех и заодно прибить, а они бежали и опять дразнили... Я кидал в них каменьями, и они в меня кидали. От этих шалостей у меня вот и теперь на лбу медаль сидит: камнем попали. Когда попали, я с воем пришел домой, а отец в то время дома был, ремнем меня отдул... Большое удовольствие было для нас коров сердить. Схватишь хвост коровы и давай его таскать, а если корова бодливая, песку ей накидаешь в глаза... Прохожим, особенно девкам да таким ребятам, которые в сертуках ходили, от нас не было спуска. Пройдет девка, мы с нее платок стащим; если она воду несет — наплюем в воду или прольем. Она дерется, а нам смешно. Идет барич какой (мы не любили баричей или тех, которые в сертучках ходили), мы и давай плясать перед ним да глаза косить. Неймется ему, мы рядышком пойдем с ним и давай толкать его в бока, для того, значит, чтобы рассердить. И если он заругается,— нам и любо. Мы и давай его передразнивать, как он ходит, и говорим: «Барчук пичук, в чужой огород залез, козу съел... свинья ему избу лизала». А если ему невтерпеж будет да он каменьями станет кидаться, мы убежим от него и кричим: «Пырни его! камнем его!..» И кидали каменьями, а сами убегали...

Любили мы также в огороде воровать да топтать, что насажено. В огородах у нас и теперь чучелы поделаны. Стоит шест с перекладиной, и на него рубаха или рогожа надета, а внутри, за рубаху или рогожу, солома натолкана,

как есть человек с руками, только ног нет, а вместо головы к туловищу бурак или худая-прехудая шапка надета. Это, значит, для того, чтобы вороны да кои другие птицы в огороды не летали и растения не клевали. Ну, мы заберемся в огород, перетопчем все гряды, повытаскаем лук да редьку или картофель, и чучелу на землю свалим, и тычинки, которые воткнуты в гряды с горохом, выдергаем. Придут наши матери — только ахают да коров и коз ругают, а как заметят нас — выдерут, да что нам бабья дерка! Для чего мы гряды топтали — никто из нас сам не понимал, а делалось как-то спроста, ни с того ни с сего, и нам после этого смешно было; либо воровали с чужого огорода морковь — тоже не знаю для чего, а так, хотелось побаловать. А отчего мы такими баловниками были, так потому, смекаю, что отцы наши дома редко бывали, а если бывали, то били только за то, если мы их не слушались. Матери нам нипочем были: они только с утра до вечера ругались, а если и били больно, так нам только обидно было: мы видели, как отцы наши их били да веревками драли, и мы в это время смеялись и говорили друг дружке шепотом: «Ай да тятька! ну-ко, ишшо прибавь!..» Любо нам почему-то было, когда отцы матерей били, и мы не боялись матерей, а часто, когда они колотили нас, мы притворялись, что плакали, и грозили: «Погоди, тятьке скажу!»...

Летом в дом мы ходили только есть. Много мы тогда ели. Зимой сидели дома на печке да на полатях, а если отец куда-нибудь посылал которого-нибудь из нас, тот надевал отцовскую курточку, его большие дировитые сапоги, огромную его шапку. Пойдешь это по дороге в таком облачении — рукава по снегу волочатся, сапоги тяжелые такие, снег то и дело в них набивается... Шлепаешь-шлепаешь, запнешься и упадешь, а шапка так и закрывает рот, а поднять ее рукава мешают...

Кроме бегания да колотушек друг с дружкой, мы досаждали своим сестрам. Больно мы не любили их за то, что они на нас жаловались, ну, и пакостили им. Завидим только где-нибудь чулок, и распустим его; увидим на полатях или в углу прялку с куделей да веретешком, вытащим веретешко и забросим куда-нибудь, под лавку или за печку; или когда они половики ткали, мы разрезывали их. Пройдет которая-нибудь из них мимо нас, мы ноги подставляем да хохочем; или когда они обедали отдельно от нас, мы в щи плевали. А все на эти штуки я был горазд.

— Вот что, Тюнька, сделаем мы штуку? — говорил я брату Тимофею.

— Сделаем.

— А ты не скажешь?

— Ты только молчи, я — шабаш.

— Пойдем, вымараем грязью нитки, что Агашка сушить положила на траву.

— Айда! — Пойдем, вымажем — и хохочем.

Однако наши братья не все дружно жили. Семен да Павел часто жаловались на нас сестрам да матери, и отцу жаловались. Отца мы все боялись. Придет он домой и как только заметит, что кто-нибудь балует, ударит кулачищем по чем попало и скажет: «Я те, шельмец!» Ну, мы и притихнем, только втихомолку возимся; а увернется отец, опять пошла писать. Как только скажет которому из нас: «Поди-ко, балбес, распряги лошадь!» или другую какую работу даст, да тот не пошел, он брал витень или ремень, коим опоясывался, так-то драл, что искры из глаз сыпались; и слушались мы отцовскую команду...

Отец меня больно не любил, часто заставлял делать что-нибудь не под силу, и если я не мог да ленился, он так долго и больно теребил меня за волосы, беда! И часто ни за что бил, мать часто на меня жаловалась отцу.

— Уйми ты, чучело, Ваньку. Я с ним, разбойником, способиться не могу. Он вот сегодня кринку молока пролил...

— Я те, шельмец! — ворчал отец, а я забивался на полати и говорил: «Мамка сама пролила, а на меня сваливает; ишь, какая».

— Поговори ты еще! — кричала мать.

— Чего говори! Сама, поди-кось, съела...— ворчал я. Отец стаскивал меня с полатей и бил не на милость божью.

Больно мне не хотелось качать Машку, когда она еще маленькая была. Закричит мне мать: «Ванька, качай ребенка».

— А Агашка-то што?

— Тебе говорят!

Сяду я качать зыбку и плачу: «Вот Агашку да Палашку небось не заставляешь... Что они за барыни за такие! Все лытать бы им... А я качай тут...»

Мать ударит меня по голове и погрозит пожаловаться отцу. Как только ребенок затихает, я и марш — летом на улицу, зимой на полати, и не вытащишь меня оттуда. А когда приведет она меня силой, я опять плачу, и ругаюсь, и думаю: «Уж сделаю я с этой Машкой штуку! не станет меня мать заставлять!» И давай качать зыбку что есть мочи: все хочется очеп переломить, а он, как назло, только

гнется да Машку то и дело перебрасывает из стороны в сторону; она ревет; мать подойдет, прибьет меня и прогонит...

Много я принял побоев в детстве, да и не один я: все мои братья и прочие ребята так же росли, только первым, сказывают, будто лучше было.

Зимой, в масленицу, мы делали катушку и катались на лубках да рогожках; кубарем скатывались и сестер своих толкали с горки. В масленицу в жмурки играли: завяжет кто-нибудь глаза полотенцем или тряпкой и ловит прочих. Его колотят, а он бегает с распяленными руками. Как поймает кого, тот и завязывает себе глаза и ловит. Это и теперь у нас есть. Ты, братец ты мой, извини уж меня, что я тебе про игры да кое-что рассказал. Уж таково мое воспитание было, и вся наука в том была.

Когда мне был двенадцатый год, отец брал меня с собой в лес и заставлял рубить дрова и возить их в город, домой. Он караулил лес верстах в десяти от города и жил в нем по неделе, а другую жил дома, что-нибудь работал на себя, шил матери да сестре ботинки, кое-кому сапоги, и на эти деньги мать покупала ситца себе да сестрам. Только в люди отец мало шил сапогов, потому, значит, худо шил, а больше починивал.

Братья Гаврило и Петр были взяты на золотые прииски, а брат Павел и сестра Марья умерли. В доме у нас свободнее стало, только отец провианта стал меньше получать, да и этот не весь отдавали: всё обсчитывали.

У отца бал покос. Летом, в страду, он гнал нас всех на покос и давал там по литовке. Любо было мне косить траву. Машешь литовкой направо да налево и смотришь, как отец ловко да бойко косит и ругает нас, что мы литовки тупим о кочки да деревья. На тринадцатом году я ногу порезал литовкой, и теперь она болит к ненастью... Сена у нас много накашивалось, и мы лишнее продавали в город.

Братьев Семена и Тимофея взяли тоже в работу на пятнадцатом году. Они до осемнадцатилетнего возраста кучонки жгли, а на осемнадцатом году Семена сделали лесным сторожем в той же дистанции, где был и отец, и он скоро женился, а Тимофея послали тоже сторожем верст за тридцать и там отвели ему землю для дома и дали покос, и он тоже женился. Сестра Агафья ушла в стряпки и вышла замуж за кучера, а на Палагее женился полесовщик Емельян Сидоров. В нашем доме остались только мать с отцом да

Семен с женой и я. Подумаешь это: куда делась такая семья? Давно ли, пяти годов нет, в одной избе жило одиннадцать человек, а теперь всего-навсего пятеро... От Семена опять пошли дети, опять стали прибывать новые люди, опять началась возня...

На шестнадцатом году я уже хороший был работник отцу. Заставит он меня дров нарубить — живо нарублю, складу в телегу, увяжу и домой привезу. Едем мы с ним домой, увидит он большое да широкое дерево и говорит: «Ну-ко, Иван, свали это дерево! А я вот то!..» Ну, и срубим и домой привезем. На семнадцатом году меня заставили кучонки жечь. Нарублю я дров, складу их в кучу, обсыплю землей, а для дыма отверстие сделаю и зажгу внутри. Прогорит этто часа два, я взойду на кучонку и давай топтать. От этих дров только угли оставались. Угли эти возили на фабрику. Не нравилась мне эта работа; выпросил отец меня у начальства в лесные сторожа. Сначала меня не заставляли стеречь лес, а заставляли рубить дрова на лесничего да в казну. За это я получал на себя по два пуда провианта и несколько копеек в месяц жалованья. Стал я ходить с отцом по лесу и учиться службе. Обязанность отца была легкая: он ходил по своей грани или спал в балагане — и редко ловил порубщиков, потому что в его стороне порубщиков было мало. Порубщики были люди бедные, наши же городские жители — мастеровые; были и такие, которые промышляли себе деньги воровским лесом. Эти люди знали отца вдоль и поперек и рубили лес в том месте, где они надеялись уехать так, что их не поймают. Да и сам отец попустился следить за порубщиками. Он и по лесу ходил редко, а больше спал, и если заслышит, что кто рубит лес, да кажется, что далеко,— не пойдет, а если близко да днем — он пойдет со мной в лес; там его поколотят, и мне достанется, и мы без всего уйдем назад; а другие сторожа были далеко. А если порубщик был трус, отец брал деньги и пропивал их. Он говорил в это время: «Слава богу, послужил. Пора бы и на спокой, да года не выслужил. Денег мне теперь не надо: сыновья накормят...» Было у него ружье казенное, да оно без употребления висело в балагане. И стал я справлять службу такую же, как и отец. Лес был разделен на площади, и мне назначено было ходить по одной делянке, на грани по восточной стороне, верст на пять; рядом, по другим делянкам, были другие сторожа: мой отец и еще двое наших соседей. У каждого из нас был балаган, а на дороге кордон, где жили двое полесовщиков — один старший, другой младший,— и заезжали объ-

ездчики, которые наблюдали только за нами и объезжали лес. Лесничий к нам ездил раз в месяц и драл нас всех за то, что находил лес вырубленным. Помощник его да подлесничие ездили каждую неделю; но их полесовщики поили водкой и давали им денег. Жизнь в лесу была хорошая: ходи либо лежи, только скучновато, и ответственность большая На кордоне было лучше наших балаганов, потому, значит, что там изба была устроена с полатями, печью, и окно настоящее было. Полесовщики редко выходили на дорогу, а сидели в избушке или спали, и оттого порубщики часто провозили лес. Объездчики были нашими начальниками, но им давали денег. Я был тогда молод, но бойкий парень. Как только услышу, кто-то рубит лес, сейчас в лес, и топор с ружьем возьму с собой. Поймаю порубщика, обрублю оглобли и закричу кого-нибудь. Придет другой сторож с ружьем, станет просить денег; тот не даст, мы его скрутим и отдадим на руки объездчикам. За это мне давали награды, и как я часто ловил, то лесничий со мной был ласков и часто брал к себе в денщики. В лесу скучно было. Ходишь-ходишь, дровец порубишь, выстрелишь в белку или в птицу какую. Зверей у нас не было, а птиц было мало, только рябки. В лесу я познакомился с полесовщиком Степаном Ермолаичем. Славный он был человек, седой уже, весельчак такой. Как начнет рассказывать что-нибудь, только знай слушай. Он всё книжки разные читал, светские и духовные. Захотелось больно мне выучиться грамоте от него. До этой поры я ни аза в глаза не знал. А просить его мне казалось стыдно, что такой большой я, а читать не умею. Думал я: где уж мне выучиться, коли отец не знает грамоте. А почему он не знает? Отчего все сторожа спрашивают у Степана Ермолаича: это как, а это почему? Видно, грамота больно тяжка...

Прихожу я однажды в избу. Степан Ермолаич сидит в очках с медной оправой и читает житие святых. Его слушают человека три.

— Что, скучно, братан? — спросил он меня.

— Скучно, дедушка.

— Плохо.

— Ты о чем читаешь?

— Да как святая Екатерина мучилась.— И стал он мне рассказывать, как она мучилась.

В это время я не утерпел и сказал:

— Как бы это мне научиться да все знать?

— Научиться можно, а все знать нельзя.

— Нет, уж мне не научиться.

— Только прилежание имей — выучишься. Я сам на двадцать первом году выучился.

— Научи меня, дедушка!

— Ладно.

Ну, и стал он учить меня так. Взял какую-то книжечку и стал показывать буквы и говорит: вот смотри, как эта буква напечатана, а эта вот иначе, тут опять так. Вот, к примеру, возьмем: «изба». Вот тебе и, вот земля, вот буки, вот аз. Потом рассказал мне, сколько у нас букв всех, пересчитал и мне велел запомнить. Часа три он мне толковал азбуку без книги. Я половину запомнил; как пошел к своему балагану, все твердил: аз, буки... а как лег спать, все перезабыл. Ночью я то и дело просыпался, так у меня и вертелись на языке аз да буки. Когда пробудился, половину вспомнил и стал отыскивать в книге. Много было в ней букв, много походящих одна на другую. Долго я старался отыскать избу — не нашел, а нашел только бог, они. Бога я знал, а они никак не мог понять, что за штука такая. Попалось мне колесо — ну, это знаю, попалось добро — не мог понять. Пошел опять к старику. Растолковал он мне все как есть. Так я учился полгода, а в год совсем выучился. Стал у него просить книжек и читал. Потом, когда я бывал у лесничего, правил должность денщика, времени свободного много было; стал просить у него книжек; он, спасибо, давал. Лесничему я понравился, и он велел учиться мне писать. Писать меня учил тот же Степан Ермолаич. Только сам он плохо писал. Все-таки я и писать умел. За это и за то, что я был исправен, и за то, что старался всячески угодить лесничему, он меня полесовщиком сделал, дал денег на лошадь и послал на кордон в другую площадь. Вот, значит, ученье мне помогло: чином повысили. Стал я копить деньги от доходов и покупать старые книжонки на рынке. Купишь и читаешь; хоть дрянь, а все лучше, чем сложа руки сидеть. И узнал-то я от книг больше и удивлялся, как это я так скоро выучился. А все спасибо Степану Ермолаичу. Славный он был человек, дай ему бог царства небесного. Умнеющая голова был. Только — не тем будь помянут — с женою не жил в ладах. Жена жила в городе, детей имела, а он на кордоне жил со вдовой мастерской, Анисьей Панкратьевной. Не любилась ему жена, хотя и молодая была баба, красавица, на коей он в третий раз женился, потому, значит, что она лесничему просто прислуживала.

«А это так было,— рассказывал Степан Ермолаич.— Приехал к нам новый лесничий, не молодой уж, холостой.

В это время я был женат третьим браком и как раз в день его приезда дежурил у него. Только, значит, он переночевал и говорит мне: «Послушай, любезный, не знаешь ли ты такой женщины, которая могла бы мне рубашки вычистить?» Я говорю: «Насчет этого не сомневайтесь, ваше благородие, я жене своей отдам».— «Умеет ли твоя жена чистить белье?» — «Отчего не умеет, ваше благородие».— «Ну, так ты ее пошли ко мне». Послал я жену к лесничему, ну, а там и пошло; стал он ей денег давать да чаем поить, а меня на кордон послал и не велел оттуда выходить. Я и говорил ему, что, мол, ваше благородие, у меня дети. А он и говорит: «Черт ли мне в твоих детях? Ты слушай, что тебе приказывают...» Я опять и говорю: «Да ведь, ваше благородие, жена моя вам не пара, вы не имеете права обижать меня...» Он и говорит: «Если ты еще поговоришь, я вздуть тебя велю...» Ну, я так и ушел на кордон и жене попустился, потому, значит, жаловаться некому, а коли пожалуешься — хуже будет... Была у нас гулящая баба, молодая; ну вот, я ее и подговорил и стал жить с ней, потому, значит, без бабы нашему брату нельзя жить...»

С Анисьей Панкратьевной Степан Ермолаич жил пять лет, до самой смерти. Я знал его жену и дом и с детьми игрывал. Насчет жены все наши мастеровые толковали, а ей нипочем было. Дети Степана Ермолаича, постарше, были взяты в работы, а помоложе — росли так же, как и я, только часто голодом сидели от непорядков матери и воровством занимались.

Не нравился мне один объездчик, Филатов. По его милости часто лесничий наказывал нашего брата, полесовщиков да сторожей, потому, значит, он фискалил лесничему. Придет, например, ко мне в избушку и говорит: «Что ты, Иванов, не ловишь мошенников? Я сколько сегодня видел, как они с дровами ехали. Покажи книгу?» У нас велась в избушке книга, в коей мы записывали, сколько тогда-то из леса увезено дров да бревен. Если дашь ему денег — ничего, а если нету — он лесничему пожалуется; приедет подлесничий или сам лесничий и передерет меня и прочих рабов божиих. Меня он крепко недолюбливал за то, что я не кланялся ему, и хотя я исправно вел себя, но часто меня драли, неизвестно за что...

На девятнадцатом году задумалось мне жениться. Скучно стало одному жить, да и куда ни посмотришь — все женатые; на что и товарищи мои, с коими я маленький играл,— все переженились. Была у меня на примете девка Офимья, бойкая такая была. Хоть она и некрасива была, а нрави-

лась мне: привык я уж к ней, потому, значит, маленькие мы вместе бегали, а жила она с матерью вдовой и двумя братьями, женатыми, против нашего дома. На что, кажется, я уж парень был толковый, а от шалостей все еще не отставал. Попадется это навстречу Офимья, я ее за бок ущипну, а она подлецом меня называет; несет она воду, я ведро брошу на землю, она в спину меня коромыслом колотит... Разные разности я с ней делал.

Один раз, летом, она попалась мне навстречу — нитки на палке несла на реку Мельковку. Я подошел к ней и ущипнул ее руку.

Она заругалась:

— Я те, варнака! Что ты балуешь? — и она ударила мена палкой. Я ее опять ущипнул.

— Да что ты, в самом деле, за разбойник такой! — Она плюнула мне в лицо.

— Экая ты толстая! Ишь какая жирная.

— Типун бы тебе на язык! Чтой-то, Ванька, от тебя прохода нет?..

— А выходи за меня замуж, и проход будет!

— Вот уж! за разбойника экова!

Ну, и стал я уговаривать ее, как только увижу ее. Согласилась. Она жила в бедной семье, и там ее постоянно корили чем-нибудь, называли дармоедкой и заставляли делать за всех.

Сказал я об этом отцу; тот поругался, зачем я беру бедную, да как понял сам, что богатых в нашей улице не было, согласился. Ну, дело и уладилось. Брат между тем пристроил к дому еще горенку и жил с женой в горенке; только мне не хотелось жить с ним: жена его уж больно капризна была. Пошел я к лесничему: он выхлопотал мне место за Вознесенской церковью и покос и велел строить дом, а на свадьбу дал три рубля денег.

На свадьбе весело было. А на другой день после свадьбы меня выстегали. Поехал, значит, лесничий леса смотреть и нашел много порубок; ну объездчик Филатов и нажаловался на меня. Меня и потребовали утром к лесничему, а тот в полицию спровадил. Обещался в сторожа сместить.

Скверное было житье моей жене с братом: постоянно ее упрекали голью да ленивой; она жаловалась мне, и я увез ее в кордон. На кордоне мы весело жили. Хорошее было житье с Офимьей. На что и Степан Ермолаич — завидовал мне. Только он не долго прожил после моей женитьбы: уколотили его, голубчика, порубщики. Анисья Панкра-

тьевна после его смерти где-то в стряпках жила, да жила, кажется, с месяц, потом нищею стала.

Жену свою я научил дрова рубить и с ней возил в город к своему месту дрова и лес. На месте сначала маленькую избушку состроил, в виде бани, и жил в ней свободную неделю. В ней Офимья хлеб пекла, щи варила, и мылись мы и парились по субботам, а между тем я делал срубы на дом да на погреб, а Офимья землю копала да гряды ладила. Так мы и маялись два года. Сынишко у нас родился; Александром назвали. В два года я с отцом да с женой выстроил себе дом с кухней и комнатой, сарайчик и погреб, а избушка осталась баней в огороде, который мы огородили тыном. И стал я настоящий семьянин, и к дому моему дощечку прибили, что этот дом полесовщика Ивана Иванова. Отец мой со мной жил, да помер через год, как мы вошли в дом, а мать и теперь жива, только живет у Семена, которого она больно любит.

Нашего брата, лесную стражу, часто меняли на разные места. Это так уж лесничему хотелось. Так и я до воли на шести кордонах был и почти всю дистанцию знаю, как свой покос: знаю, где какой межевой столб стоит, где какая речка пробегает, где какой лес растет. Часто я бывал от города верстах в пятнадцати и жил там по месяцу, а дома жил только неделю; часто работал на казну: прикажет лесничий леса нарубить да траву косить, и делаешь с прочими к сроку, а не сделаешь — выстегают: уж такой порядок был заведен, а мы были люди все равно что рядовые солдаты, и делали с нами что хотели. У нас был такой лесничий, что он, кажись, норовил только карман набить. Поймаю, например, я его порубщиков. Они выругают, приколотят меня и говорят, что лесничий велел рубить. Пойдешь к лесничему, станешь жаловаться на порубщиков, а он тебя же и выругает: «Какое дело тебе, скотина, до такого-то? Я велел и только...» А лес такой, из которого он сам никому из нас не приказывал даже на себя рубить, не только что отпускать по билетам. Или посмотришь на билет того, кто хочет рубить лес. На билете написано чернилами: отпустить по закону столько-то и денег столько-то взять следует,— а на боку написано лесничим, карандашом: отпустить ему столько-то бревен и не заносить в книгу. Это, значит, он с богатыми людьми сам дела имел и деньги себе брал. Вот и мы, глядя на лесничего, спускали лес за деньги и сами продавали. Потому мы это делали — жалованье было маленькое, да и то часто не давали, или если давали, так мы делились с писарем лесничего да объездчиками, а те —

с лесничим. А продашь дров да бревен, и поправишься. За нами некому было, кроме лесничего, следить, а если не дадут деньги порубщики — ничего не сделаешь. Они же пойдут к лесничему, дадут ему денег. Тем и кончится все. А если представишь кого-нибудь к лесничему, да тот бедный — его под суд упекут, да и ты попадешь под суд. Вот, например, я уже по двум делам попался и по одному в подозрении оставили. По первому делу я так попался. Привел я порубщика к лесничему, стал лесничий просить с него денег, а у того нет. Началось следствие. Стали смотреть место порубки и нашли, что леса много вырублено, а порубщика я поймал только с четырьмя бревнами. Кто вырубил лес? Ну, и потянули меня. Я отпирался, что не видал и на этом кордоне был недавно... А по другому делу — кто-то лес зажег. Стали спрашивать объездчиков, полесовщиков и сторожей — никто не видал. А это часто делают городские мастеровые, для того что пальник дозволяли возить свободно. Ну, и оставили нас всех в подозрении.

Плохо было, братец ты мой, наше управление, и при нашей бедности да строгости над нами и наказаниями лесничего мы спустя рукава караулили лес и редко-редко представляли порубщиков к лесничему, потому, значит, боялись, как бы ни за что под суд не попасть. Оттого у нас в редкой площади был один лес, а то все больше лес был только по краям грани, и с вида казалось, что леса много, а внутри одни пни да поле большое. Лесничие нас драли за худой присмотр, а сами наживали лесом деньги и отписывались, что леса много — столько-то-де десятин, чего и не бывало вовсе... Подлесничие мошенничали с объездчиками, сами продавали лес и делились с лесничими. А главный лесничий хотя и бывал в лесу редко, но лесничие умасливали его.

Под конец доходов у нас мало стало, потому порубщики платили мало. Мы брали со всех от рубки леса по закону и по своему разуму, а все-таки денег у нас не водилось, потому, значит, у каждого было большое семейство и мы любили изрядно выпить.

Все мы, наша братия, жили в своей улице дружно и часто менялись временем работ. Любили и подраться и пьяные не спускали никому.

Скажу я тебе, братец ты мой, еще про жену свою. Четыре года она была у меня золото баба: такая работящая да послушная — любо, а потом сбилась с панталыку. Придешь домой, везде разбросано, двое ребят плачут, а она лежит на кровати и корове, что есть, сена не хочет дать и не слышит, как та у крылечка шею чешет да мычит. Ну, я

изругаюсь, она тоже. Спрошу есть — она ни тпру, ни ну! «Сам, говорит, доставай, а я нездорова...» Только выйду я из дома, пройду немного по улице, обернусь — и вижу: моя Офимья бегом бежит в Терентьев дом. А там жил молодой мастеровой Терентьев, женатый. Я, конечно, ничего. Только досадно, зачем дома у ней непорядки?.. Чем дальше, тем хуже, а один раз я увидел, как Терентьев выходил из моего дома... Ну, я поругался маленько, побил ее за непорядки и пошел к соседу на именины. Там, слово за слово, речь дошла до меня. Один хвастался своей женой, другой укорял; ну, многие передрались и сказали мне: «Ты, брат, Иваныч, смотри, бей жену. Она у тебя того-с!..»

— А что?

— А ты не знаешь?

— Она у меня отбиваться начала, братцы, изленилась.

— То-то и есть. Она, брат, с Терентьевым таскается...

Я рассердился, чуть было не расцапался с ними. А один сказал: «Я, брат, сам видел часто, как он по ночам к ней ходит. Ты вон, смотри: Терентьев стоит у твоего дома. А почто его жена вон у ворот стоит и ругается?»

Вышел я на улицу. Жена Терентьева ругает его всякими словами и жену мою поминает. Вот я и прибил Терентьева, а жену свою веревкой отодрал и из дома выгнал. Она было пошла к Терентьеву, ее жена того протурила. Пошла было она к соседям, и там ее прогоняли, потому, значит, наша баталия на всю улицу была. Темно уж стало. Я запер в стойку корову, дал ей сена, лошади овса дал и лег спать в комнатке, а двери запер за крючок. Дети тоже спали. Вот я лежу и думаю: «Что это сделалось с женой? Ну, чем ей дома не жизнь? Ест она вволю, носит одежду лучше, чем прежде носила, в девках...» Никак я не мог понять, что сделалось с женой. Досадно мне стало, и ее жаль: как она ночь проведет? «Ну, пусть, думаю, потрется ночь на улице...»

Только, братец ты мой, вышел я утром на двор, моя Офимья и дает сена корове. Я повеселел маленько, только молчу да хмурюсь и жду, что будет дальше,— и стал доделывать себе сани. Она подоила корову, печку затопила; потом, немного погодя, смотрю, вышла она на крыльцо и смотрит на меня.

— Иваныч, подь пироги ись,— сказала она мне.

— Не хочу я твоих пирогов!..

— Поешь... право.

— Ты еще отравишь меня.

Однако я пошел. Она эдак ласково с детьми говорит, молоком их поит и мне хочет унаровить. Поставила на стол

две тарелки жаренных с говядиной пирожков, молока кринку принесла. Я сел есть, а она у печки возится.

— А ты што, гадина, не ешь? — закричал я на нее.

— Я уж здесь наемся.

Все-таки она села со мной за стол и стала есть, а сама все на меня смотрит и боится, чтобы я ее не свистнул кулаком. Я таки ударил ее по щеке ладонью. Она заплакала и голосит: «Нету мне житья от разбойника! Все он меня бьет...»

— Пошла к Терентьеву!

— Да что ты меня Терентьевым тычешь! На весь город острамил...

Я еще ей задал встряску.

С этого времени моя Офимья ровно шелковая стала. Все это в дому приладит, никаких непорядков нет. А с Терентьевым все-таки имела штуки тайком. Тот, подлая харя, каждый день бил жену; плакала она, бедная, жаловалась соседям, укоряла мою жену. Соседи не кланялись моей жене и говорили про нее разные разности. Так у нас тянулось года три. Я перестал бить жену, попустился; ребят только жаль было: они без присмотра росли да колотушки принимали от нее. Стал я в это время пить, все доходы пропивал, заложил все платья жены, и стали мы жить — а-яй как бедно!..

Одново раза пришел я домой пьяный, прибил жену, выгнал ее из дома, прибил детей, посуду перебил и ушел пьянствовать. Прихожу на другой день домой — нет жены. Только стал я давать корове сена и зашел на сенник, и увидал: висит моя Офимья на веревке... Струсил я, страшно показалось, и жалко стало бабы... Пошел к соседям, обсказал, как есть; полиция пришла. Все дивились, что это такое сделалось с моей женой, и сам я не понимал. Уж не от меня ли она руку на себя наложила? — думал я. Жалко мне ее стало: больно уж я ее бил... Всплакал я, братец ты мой, как повезли мою Офимью и бросили без отпеванья в яму...

Детей у меня было трое. Александру был шестой год, и я его отдал портному в ученики; Петру было пять лет, а Опроксинье два года. Плохо им было без присмотра... Стал я искать себе жену и женился на сорокалетней вдове. Бой эта баба — никак я не могу с ней справиться: бьет меня. На ней уж я женат четыре года, и от нее родился еще сын.

А все жаль Офимьи. Славная она была сначала баба, да подвернулся ей плутина-мастеровой — сбилась она с панталыку и загубила себя. Может быть, и не повесилась бы она, да я уж больно круто с ней поступал. Бить бы не надо...

Пусть бы она гуляла... Да непорядки уж больно у ней были... А теперь вот навернулась жена, за все бьет, как пьяный я напьюсь, да говорит: ты думаешь, что первую жену погубил, и всем так будет!.. не на ту навернулся...

Теперь меня уволили из горного ведомства. Вольный я человек стал, уж никто не дерет меня. Не хотелось мне оставаться полесовщиком, да подумал-подумал я: ремесла никакого не знаю, в другую работу идти — много рабочих; так жить нельзя, потому, значит, у мена жена да дети... ну, и остался полесовщиком. Теперь уж жалованье дают, хоть небольшое, да все же можно биться, потому, значит, можно лесу продать да с порубщиков сколько-нибудь сдернуть, а начальство не увидит: оно такое же все, только бить не смеет. Воля, значит. Только все-таки я человек маленький, подначальный, а начальникам о нашем брате и горя мало: хорошо ты исправил свое дело — спасибо не скажет, а худо — обругает, денег не даст, прогонит — и тачай слань...

III. ТРИ БРАТА

Есть у нас старикашка такой: ростом не велик; ходит сгорбившись; волосы поседелые, долгие и постоянно встрепанные, и непременно в них пух от подушки застрял, потому, значит, не чешет он их никогда; лицо у него старое, постоянно красное, морщинистое такое, а веселое, и глаза такие бойкие, да плутовски смотрят. Редкий день его не увидишь у кого-нибудь: то он в шашки играет да ругается, как проиграет шашки, если сухари ему останутся, или все бахвалится: «Погоди ужо!.. погоди! я те запру...» То водку пьет в какой-нибудь компании нашей братьи; то идет по улице да песни подпевает и с бабами куры-муры строит, то в бабки с ребятишками играет; то рассказывает им, как он жил на свете. Ходил он в разной одежде, какая ему вздумается; тепло когда — в рубахе ходит; холодно когда — старенькой сертучишко, с двумя пуговицами напереди, наденет, да еще сверху халат, наденет и опояшется полотенцем или какой-нибудь тряпкой. Шапки у него две: одна какая-то смешная, с одной половиной козырька, из двух сортов сукна, синего и серого, клином сшита, а другая приличная фуражка — с целым козырьком. На ноги он надевает зимой валенки, по-нашему — пимы, кожей обшитые, да и пимы-то эти уж годов восемь существуют, потому на них везде заплаты на заплатах; а летом калоши носит. Дома он ест, да спит, да с маленькими детьми своего сына возится, да с женой сына или с сыном разговаривает, да дро-

вец расколет, во дворе приберет, корову погладит да куриц щупает... Вот этова-то человека и зовут Степан Еремеич Облупалов. Живет он теперь уж годов пятьдесят на свете, и звание его до сих пор — мастеровой. Прежде он портным был. Портничал он не то чтобы заправски, как настоящие портные, а работал один, сам собой, и шил нашему брату гуньки, а по-нонешнему халаты называются, да зипуны — и подчинивал их, а доски над воротами или над окнами, как делают портные, с нарисованными ножницами, у него не было. Шил он не очень красиво, да крепко. Иная жена наша лучше бы его сшила: ведь шьют же они себе да нам рубахи, только, значит, халаты шить они сноровки не знали. Сошьет это Степан Еремеич халат или зипун; ну, сначала и кажется, ровно ничего, так и следует, и когда наденешь, халат на халат походит, а через месяц смотришь — туда дира, там дира, подкладка отшилась, да все [illegible] швам, а не то чтобы как-нибудь, нечаянно, сам изорвал о гвоздь или что иное. Вот и пойдешь в этом халате к Степану Еремеичу и кажешь ему, да и говоришь: «Вот они, дела-то твои, разъехались!» А он и смеется: «Ишь ты!.. оказия какая. Ишь что стряслось!.. Ну, оставь — починю: неси тожно на шкалик...» Наша братья потому давала ему шить, что в нашей улице он один был портной, а других городских портных мы не любили, потому, значит, плуты они — никогда нам обрезков не давали и брали дорого, а Степан Еремеич был свой человек, брал дешево и обрезки отдавал сполна; а поколотишь его — ничего, не осердится. Ничего и то, когда он чей-нибудь халат в кабаке заложит: поколотим, а жаловаться не ходили и выкупали халаты. А халаты, скажу я тебе, у нас вещь необходимая, самая заправская, украшение то есть, потому, значит, мы шинели да пальты не носили — не по нам, не любили: плюнем да бросим, даром не надо; халат — одно слово халат: и в будни и в праздник надеть не смешно, потому, значит, таков уж обычай, и в нем нашего брата за версту видать. Вот что! Так вот и занимался Степан Еремеич, и деньги получал от нас, грешных, и в долг шил, после водкой поили, а в казну не работал — нанимал. Только денег у него не водилось — пропивал. Больно уж он зашибал.

Кроме портничества, он еще каменьями промышлял. Был у него такой человек — приятель, который покупал в заводах да рудниках или сам находил каменья разные. Вот эти-то каменья он продавал в городе разным людям, да и Степана Еремеича ссужал ими, а Степан Еремеич из них печати да бусы выделывал и гранил их на разные

манеры, чему, как он сам говорит, его еще отец выучил. Печати он продавал на рынке; топазовые по сорока копеек, а яшмовые по тридцати копеек за штуку, а бусы по рублю за сто. И эти деньги у него редко шли впрок — в кабаке с приятелями пропивались. Все же таки он жил лучше прочих соседей, потому, значит, у него деньги водились постоянно, а знакомых урядников у него было много, да один квартальный ему как-то родней приходился.

Вот у этого-то Степана Еремеича и было три сына: Елисей, Тимофей и Максим, а дочерей бог не дал. Росли они как водится, росли, как и я и все прочие ребята, и я с ними постоянно играл на улице. И выделывали же они разные штуки да колена! Все они ребята удалые были: держи ухо востро, не клади ничего близко — все перемуштруют да испакостят; не попадайся чужой навстречу... Бестии продувные были, и никакие страхи отцовские да людские их не пробирали... И как это подумаешь: откуда у них набиралось разных выдумок да сметливости? — подивишься только. Чего-то они не делали! — и наша братья, ребятишки, от них не отставали. Особенно боек был на разные штуки Елисей, самый большой. Он у нас коноводом был. Только скажет: «Ребя, айда коров мучить!» — и побежали за город с гиком да лаем, и гоняем коров, бросаем в них каменья да палки, и любо нам, как они, голубушки, скачут, хвосты задравши, да задние ноги высоко поднимают... Или скажет: «Ребя! айда на площадь мальчишек бить!» — и побежим на площадь, поджидаем школьников, а как завидим их — бросимся, приколотим. Елисей силен был: он десятерых на землю клал. Много было на нас жалоб, да ничего с нами не сделаешь: мы еще хуже становились. Дома Елисей ничего не делал — ленив был. Тимофея на девятом году отец и отдал в ученики к одному мастеру, столяру и резчику, по контракту, без платы, а только мастер должен был одевать и кормить Тимофея; а Максим приучался к работе и на седьмом году ездил уже с отцом в лес по дрова и помогал кое в чем матери.

Елисей не слушался и не боялся отца, хотя тот и бил его. Он на тринадцатом году стал водку пить и потягивал у отца каменья, за что отец водил его с казаками в часть и там драл. Но Елисей после каждой дерки выдумывал разные штуки и пакостил отцу. Степан Еремеич гнал его из дома, а он не шел. Наконец-таки, на пятнадцатом году, забрали Елисея на работу в гранильную фабрику. Елисею самому хотелось работать, ну, и стал он робить там каждый день, а ночью был дома.

У Максима был крестный — квартальный, тот самый, что приходился родней как-то Степану Еремеичу, а как у квартального были тоже знакомые люди, горноправленские и другие чиновники, потому, значит, квартальный, по-нашему, был важная птица в колеснице и командовал не только над нами, но и над прочими жителями города, то он и накачал Степану Еремеичу просьбу к горному начальнику, что-де я прошу ваше высокоблагородие взять моего сына Максима в училище,— и разные разности тут приплел и сам стал просить горного начальника. Скажу я тебе, братец ты мой, что хотя по нашему положению и было установлено так, чтобы дети с осьмилетнего возраста брались в школы, только это редко бывало, потому, значит, что в школы брали детей богатых отцов да кто хлопотал об этом или был знаком с каким-нибудь начальником; да и бедные мастеровые и рабочие сами не отдавали детей в школы, потому, значит, хлопотать не стоит, да и сын дома больше научится работе, а там избалуется. Вот я так и просил было лесничего, чтобы он похлопотал, чтобы детей моих приняли в училище на казенный счет, да он мне сказал: «Не с твоим, говорит, рылом туда соваться». Ну, и плюнул я, не стал просить больше. А у Степана Еремеича квартальный был, протекция, значит; Максима и приняли в окружное училище на казенный счет и заперли его там.

Теперь расскажу я тебе по порядку, как жили братья Облупаловы. Начну со старшего. Елисея.

История об Елисее небольшая, да пакостная. В гранильной фабрике он служил года четыре, и был уже два года женат, и сынишко уж был. Работа тут была легкая, и много делать его не принуждали, а заставляли приучиваться сызподтиха. Сначала — он таки работал ладно, а потом связался с каким-то работником. Пойдут они из фабрики и напьются дорогой, а пьют на то, что стянут что-нибудь из фабрики и заложат в кабаке. Придет Елисей домой и давай жену за волосы таскать. За тое Степан Еремеич пристанет. Ну, Елисей и уйдет куда-нибудь, и ищи его, семи собаками не разыщешь. Жена стала жаловаться начальству, мастерам да горному начальнику; сначала бабу гнали, а потом отодрали Елисея и усилили на него работы. Елисей не унялся: возьмет какой-нибудь камень и вытащит его ночью за ограду, а как пойдет домой часу в шестом, и уволокет его домой, а потом свезет к одному торговцу, плуту, который воровские вещи продавал. Смотрели-смотрели на Елисея, да и определили его на

монетный двор на такое занятие: днем караулить на плотине да выпускать и опускать с прочими воду на фабрику, а ночью печки топить. Пировать уж тогда не на что ему было, разве кто свой товарищ из жалости попотчует. Часто трезвый был и дома; когда бывал <трезв>, вежлив был со всеми и жену не бил. Она баба добрая была: когда он не приходил домой ужинать или обедать, она сама носила ему хлеб и молоко, а когда и пироги с говядиной да пельмени носила... Пословица говорит: побывает деготь в посудине, уж не выведешь его — так и Елисей наш был. С плотины он крючья срывал да гвозди выдергивал и продавал их все тому же торговцу, а из фабрики тайком медь таскал. Вот его и заметили раз, как он гвозди выдергивал; сказали начальству. То приказало отодрать и сослало в рудники, на какие-то заводы. Увезли его туда с женой и детьми и заперли в рудник. Он таки и оттуда удрал да прямо к отцу. Верно, родимая сторонушка тянула. Ну, тот и раньше ему не рад был, а теперь, как узнают про Елисея, и ему несдобровать; сказал кому следует, и Елисея опять спровадили в тот же рудник. Не унялся Елисей, опять убежал, да и стал грабить добрых людей. Поймали его, сокола ясного, судить стали, а потом сюда в острог привезли. Люди говорили, что ему не миновать каторги. Отец так и попустился ему, хоть и досадно было и стыдно добрых людей за сына. Однако Елисей из острога убежал. Хорош молодец! Стали его искать, долго искали, а не нашли, так и попустились, только сквозь строй бедных солдат прогнали. Вот что наделал, мошенник!

Прошло так года три с небольшим. Нет о нашем Елисее ни слуху ни духу. Жена его приехала опять к отцу, только без сына, умер, говорит; только не верится. Куда ей одной с ребенком маяться: взяла, поди, его, родименького, прихлопнула дорогой, и баста... У Степана Еремеича она не стала жить, а пошла к своей сестре. Матери да отца у нее в те поры не было. Стала торговать с сестрой калачами да пряниками около Гостиного двора — и теперь сидит то у плотины, то у главной конторы, то против горного правления, на самом виду, оттого, значит,— она сама говорит: «Не увижу ли я своего мужа да хорошего человека...» А Елисеюшка, братец ты мой, живет да живет себе в Шарташе, в четырех верстах от города! Диво! А пожалуй, и дива-то нет никакого.

В четырех верстах от города есть Шарташское горное селение; оно застроилось одной улицей, по берегу озера, на две версты. Прежде это озеро было огромное и глубокое, а теперь оно имеет в ширину и длину где четыре, где три, а

где и две версты. Глубина есть и на пять сажен. С самого начала в том месте, где теперь селение, был, давным-давно, раскольнический скит, и люда тут было много всякого. Потом сюда переселили с заводом непременных работников и свободных сельских обывателей, за разные разности и за раскол. Вот люди-то эти и стали тут жить да плодиться, и селение названо Шарташским. Из них немногие работали на казну, а большая часть жили свободно; иные платили повинность деньгами, а иные и так пробивались. Жить им тут можно было. В озере было пропасть рыбы, рыбу эту они ловили и продавали в городе; продавали разные поделки: кадушки да ведра и прочее. Кроме этого, все эти жители были злой народ, страшные разбойники. Лет двадцать тому назад по дороге в Березовский завод ночью боязно было ездить. Потому, значит, боязно: поймают какого-нибудь барина или купца, завяжут ему глаза, приведут в дом, разденут догола, зарежут и бросят с камнем в воду. И поминай как звали; ищи в воде, когда озеро тогда сажен восемь было глубины и ширины верст на десять. А с гостями-богачами или полицейскими чинами они так делали: накормят и напоят, что мое почтение, и спать уложат, а из дома не выпустят,— так сонному и петлю на шею: задавят и бросят с камнем в озеро или в бочку да посолят. Бочки они хранили в потаенных местах, в подполье, и места эти и воровские вещи никто не мог найти... Производить следствие боялись, потому раскольники сразу видели городских, которых они считали врагами и притеснителями, и держали нож наготове и за одного все стояли[1]. Наконец начальство строго стало следить за шарташцами, а главный начальник велел выпустить озеро; но они все-таки сделали плотину, и озеро хотя и убавилось, все-таки осталось, и в нем есть рыба. Теперь по дороге

[1] Мне рассказывали один случай. По поручению главного начальника один чиновник должен был найти мертвые тела в селе. Чиновник этот имел сведение, что один шарташец больше всех занимается этим. Раз вечерком приехал он в село к этому шарташцу в виде купца, а солдатам заказал быть на улице, неприметно, и по свисту или крику его броситься в дом. Шарташец угостил его на славу и велел ложиться спать, а окна затворил ставнями и припер железными болтами так плотно, что из дома не было никакой возможности выйти. Увидевши, что гость не раздевается, шарташец, наконец, велел ему раздеться и лечь. «Я не хочу спать»,— сказал гость. «Как хошь. Только уж теперь не выйдешь». «Как?» — «Так. Надо же тебя осолить». Шарташец вышел, затворил плотно дверь. Чиновник остался в темноте и крикнул солдат. Все окружили дом, разломали двери и окна и арестовали шарташца. Когда стали его спрашивать: нет ли тел?— он запирался. Все углы и места в доме были перерыты и пересмотрены, и только в чулане усмотрели ходы в подземелье. Там нашли шесть бочек с телами. На спрос, зачем они тут?— шарташец ответил: «Продавать хотел за мясо». *(Примеч. автора.)*

смирно, только разве у кого-нибудь корова потеряется, а потерялась корова — кроме шарташцев некому упятить. Ночью, пожалуй, не ходи один по заводу — ухлопают. Все, человек с тысячу, они раскольники, и теперь и городские купцы к ним ездят молиться в домы. Теперь живут там даже городские мещане и купцы. В селе хотя и есть единоверческая часовня, да в нее редкие ходят, потому, значит, у них в домах поделаны молельни, где общие, где в одиночку. Занимаются они теперь колотьем коров и продают в городе рыбу и разные вещи. Только между нашими городскими жителями есть много таких, которые не едят шарташскую рыбу, а едят с Верх-Исетского озера[1]. Шарташскую рыбу они называют поганой, потому, значит, по-ихнему, что-де там, в озере, и теперь на дне тела тлеют. Ну, а хорошие да небрезгливые люди едят и шарташскую,— еще сами теперь рыбачат. Прежде было в славе село, а теперь в славе озеро. Против села, на другом берегу озера, построено семь избушек с подвалами. В них живут, зимой и летом, заправские рыболовы — мастеровые и мещане — и рыболовят неводами, мережами, мордами, а иногда и удочками. Там пропасть окуней и карасей, по фунту и больше каждый. Каждый рыболов имеет двадцать или тридцать лодок. На левой стороне от этих избушек есть на берегу избушка шарташца; только туда городские не ездят, и шарташцы не любят городских, сердятся, что они ихнюю рыбу удят, и даже драки с рыболовами заводят. Летом на озере весело, потому на праздник да в праздник или в воскресенье там бывают городские чиновники, купцы и прочие, и барыни разные, перебивают нарасхват лодки, пьют на берегу чай и делают разные разности. Лодки отдают на сутки за тридцать копеек, а за полсуток по пятнадцать копеек; прежде и по рублю брали. Любо посмотреть в субботу или в праздник, в хороший день, на берег и на озеро. На берегу, около избушек, народ копошится, суетится, бегает, кто рыбу торгует, кто жаркое из карасей ест, кто уху варит — слюнки только текут! Извозчиков тут пропасть, кислых щец сколько, даже орехи есть. Собаки лают, и кошки бегают. А на озере видимо-невидимо лодок, песни непременно задирают где-нибудь, и как разносится по воздуху! Хорошо... А ночью огней двадцать горят на берегу, сотни людей дремлют или что-ни-

[1] Озеро это имеет около десяти верст длины и версты четыре ширины. Оно называется прудом, потому что в одной версте от города запружено плотиной Верх-Исетского завода г-д Яковлевых. Из озера этого, посредством речки, накопляется вода в городской пруд, имеющий длины более версты, и из этого-то пруда, через плотину и через монетный двор, выбегает река Исеть. *(Примеч. автора.)*

будь рассказывают и дожидаются, когда солнышко взойдет... Ей-богу, хорошо!..

Заговорился уж я больно, братец ты мой! Нельзя, место уж такое. Горожанам нашим тут и отдых, тут и развлечение, тут и жизни много, и поплавать есть где, а в городе скука.

Годов эдак восемь или семь, не помню, корова у меня пропала. Жена говорит, в поле выгнала; искала-искала, все дворы обегала, нет коровы. На рынке, говорит, была, все лавки обегала, все головы коровьи осмотрела — и там нет... Ну, и заплакала моя жена. А для нашей бабы корова все единственно, что мужчине без лошади быть. В корове у нее все богатство и вся утеха. А корова-то была какая славная да тельная, ростом высокая, полная! Рублей пятнадцать серебряных стоила, и вдруг как ключ в воду канула... Эко диво! Жалко мне стало жены, и самому досадно. Пошел к соседям, порасспросил сам хорошенько: не видал ли кто буренки? Нету. Ну, и пошел в Шарташ, под видом благочестия, что я, мол, корову хочу купить, а не то мясо, прямо стягом, парное. Вот обегал бойниц с десять — нету. «Эх, досада!» — думаю. Пошел по другим. Только в одном месте хожу это около коров, поглядываю на живых, как они, голубушки, тоскливо мычат,— жалость! да на заколотых, да на людей, как те, озорники, кожу сдирают,— и заприметил знакомое лицо. «Что за дьявол! — думаю,— Елисейко не Елисейко, а рожа, кажись, его, только бородой оброс да на лбу волоса подстрижены. Оказия,— думаю.— Как он сюда попал? Неужели уж раскольником стал?» Не утерпел-таки я, подошел к нему и говорю:

— Здорово, Елисей Степаныч!

Он как окрысится на меня да рявкнет:

— Какой тебе Елисей! Моисея не хочешь ли? Покажу...

У меня ровно дух в пятки ушел. Испугался я, а не трус. «Тьфу ты, дьявол! — думаю...— Эк он...»

— Аль не узнал меня? — спрашиваю его.

— Кто ты: городской или здешний? — спрашивает меня другой работник.

— Городской,— говорю.

— Ну, и проваливай, покуда цел.

Я опять-таки пристал к Елисею: все мне подделаться к нему хотелось,— и говорю:

— А ведь вместе прежде бегали?

— Знать тебя не знаю... Бегали! Заставлю ужо я тебя бегать.

Ну, думаю, тут дело дрянь, надо убираться. Пошел из

бойницы и думаю: сказать про Елисейку начальству или нет?..

— Эй, ты! черт! — закричал на меня Елисейко.

Я остановился.

— Куда ты теперь?

— В город.

— Небось жаловаться? Видишь это! — И он показал мне нож, коим коров колют.

Я и думаю: действительно, пожаловаться худо, его-то я погублю, а он мне — товарищ; да и не погубишь если,— потому, значит, он опять убежит в Шарташ,— так сам себя и сгублю, потому все эти шарташцы больно мстительны и за своего брата так стоят, что на дне моря сыщут врага.

— Экой ты какой,— говорю я ему:— почто же я на своего товарища скажу? Да я, если кто на меня скажет, тому голову сворочу...

— Ну, так слушай. Придешь в город — молчи. Значит: нашел — молчи, потерял — молчи.

— Уж не скажу, не беспокойся. Вот тебе рука.— Ну, и подал я ему руку, и он дал мне свою, всю в крови замаранную.

— А коли скажешь — беда, не скажешь — спасибо... Ну, теперь ступай.

— Вот что,— говорю я ему,— сделай ты мне, братец ты мой, службу. Сам ты знаешь, человек я бедный, а у меня корову угнали с поля.

— Какая твоя корова?

Я рассказал приметы.

— Ну, ладно. Приходи ужо сегодня ночью на нашу дорогу и жди в одной версте от села, и корову получишь. Только слово помни!

Я сказал спасибо и побожился, что не скажу.

Прихожу домой и говорю жене: не нашел коровы. А она тем временем к ворожее сходила, гривну меди издержала. Ворожея, говорит, сказала: «Твоя корова в хороших руках, только не найдешь, потому, значит, и купцу продана, и через неделю найдешь этого купца, да он не отдаст». Ну, я бабу свою выругал, что только деньги даром тратит: мало ли что эти ворожеи врут? А жена меня выругала. Вот часу в десятом ночи и пошел я к Шарташу и спрятался в лесок. Жду-пожду, час и два,— нет коровы. Досадно стало, что я топора с собой не взял, хоть бы лесу порубил. Покуриваю махорку и бранюсь: верно, леший, обманул. Все-таки стал ждать и задремал было. Только слушаю, хрустит где-то. Встаю и вижу: корова недалечко стоит. Я пошел. Моя корова, а из людей ни-

кого нет. Корова как увидела меня, так и пошла ко мне и мычит жалобно — узнала, значит, хозяина; чувствовала, верно, себе конец. Ну и пригнал я ее домой, обрадовал жену; пожалела она гривенника и выругала позаочь ворожею. А про Елисейка так никому и не сказал. Не мое, значит, дело. Значит, нашел — молчи, потерял — молчи, шито да крыто...

Все бы это еще туды-сюды, да вот я, хороший человек, хотя и много книг разных вычитал, а понять не могу, нужды нет, что не молод уж: отчего это люди не могут жить так, как должно? По-моему, живешь ты да худо тебе, ну, и старайся, чтобы не было худого, и сам не делай худого; хорошо — и слава богу. Так нет. Елисейко, как видно, там хорошо жил, потому раскольники хорошо держат беглых: мучениками да святыми их считают; мало, вишь ты, ему этого было; поясница у него чесалась... Пропащая, право, голова... Вчуже жалость берет...

Ездил туда каждое воскресенье из города купец один. Купец этот в городе незнатен был, жихимора такая был и с женой-то своей, потому, значит, денег у него чертова пропасть была, а отчего была — бог знал да он сам. Вот у этого купца и жил кучер да стряпка — мастерская баба, как-то еще родней приходилась Степану Еремеичу. Кучер да стряпка между собой таскались и вздумали обокрасть купца да и уехать с денежками куда-нибудь далеко и обвенчаться, потому уехать — у кучера была жена, да он не жил с ней. Раз, летом, Елисейко и подговорил кучера вместе украсть деньги. Уж как согласился кучер — не знаю, верно, потому, что ему стряпка надоела и он ухлопать ее захотел. Ну, вот, как только кучер привез в село купца с женой — и марш к Елисейку, а тот мигом запряг лошадь в телегу — и марш с кучером в город к стряпке. Стряпка узнала Елисейка, заартачилась было, что тут еще третий; ну, они, соколики, не говоря ни слова, и ухлопали ее. Потом пошли в комнаты, разломали ящики и забрали все деньги. Вот Елисейко, не будь трус, и зашиб кучера, тут же в комнате, у ящика,— поделом, значит, вору и мука; забрал денежки и поехал на лошади в село. А когда он выезжал, его многие мастеровые видели и узнали. Он струсил было; но доехал только до лесу, отпрег лошадь и верхом укатил в село; там денежки и припрятал.

Ну, как водится, началось следствие, спросы да допросы, пошли догадки, что, верно, шарташец какой-нибудь ухлопал стряпку и кучера, стали соседей спрашивать — ничего не добились, а мастеровые молчали, потому, значит, скажи, так засудят: отчего-де не ловили? А им что ловить — не их

грабят, да они и не знали, что он грабил, а думали: верно, прощен или в бегах находится — не важность. Своего брата и выдать грешно. Ну, если бы знали, что он убил, тогда бы, мое почтение, сцапали бы, потому, значит, убийство грех великий. Прошло полгода. Елисейко прижался, сидит дома. Но шила в мешке не утаишь. Раз он поссорился с своим хозяином за то, что тот его гнать стал. «Ты,— говорит,— не нашего поля ягода, ступай вон».— «Давай,— говорит Елисейко,— деньги». «Какие деньги?» Ну, завязалась баталия. Елисейко ухлопал и этого раскольника и деньги зарыл куда-то далеко, а при себе оставил тысячу, потом ушел к знакомому раскольнику. Хозяин Елисейка был уважаемый человек беспоповщинской секты, а Елисейко перешел теперь на сторону поповщинской секты; беспоповщинцы пожаловались на него в город и обвинили в убийстве кучера и стряпки, потому, значит, что многие небогатые раскольники знали про это; поповщинцы разругались с беспоповщинцами и сказали полиции: нет у нас Облупалова, а он на той стороне[1]. Однако-таки беспоповщинцы схватили тайком ночью Елисея, завязали ему глаза, связали руки и ноги и привезли в город.

Опять началось следствие. Потянули раскольников к суду — те откупились, и принялись за одного Елисейка. Стали спрашивать Елисейка: кто ты такой?

— Православный,— говорит.

— Как тебя зовут?

— Не знаю.— Ну, и сказался непомнящим родства. Позвали отца. Отец говорит: «Это Елисей, сын мой».

— Знать я тебя не знаю.

Позвали мать — то же. Никого не признает. Сколько людей перетребовали — не знаю да не знаю, говорит, мало ли лица сходятся!.. Слава богу, что меня не потребовали. Я в то время в лесу был, на кордоне, и больным прикинулся.

Стали спрашивать про убийство: не знаю ничего; а старика раскольника не я, говорит, убил — меня дома не было. Ото всего отперся, от всех отрекся. Вот так человечек! Не видывал я такого, да и не видать уж,— времена нынче не те.

Все-таки как он ни отпирался, а приговорили его, как настоящего разбойника, ко ста ударам плетьми и в каторжную работу на веки веков. Назначили день, когда его будут наказы-

---

[1] Дома в селе построены только по одной улице, по обеим ее сторонам. На одной жили поповщинцы, на другой — беспоповщинцы, и между ними шла вражда. *(Примеч. автора.)*

вать на площади. Много собралось людей: был тут и Степан Еремеич с женой, и брат Тимофей, и я, и множество знакомых. Всем. значит, хотелось посмотреть на него, каков он будет и что с ним случится. Вот привезли его на дрогах, прочитали приговор; он и говорит: «Знать не знаю, без вины меня наказываете». Антихристом еще попрекнул, как будто и в точь настоящий раскольник. Вот привязали его к столбу, а он и ругается: «Что шары-то пялите!.. Рады смотреть, как люди мучатся!.. Будете, окаянные, во огне гореть на том свете!..» Народ стоит да улыбается, а бабы плачут: не верится, видишь ты, им, что это Облупалов: может, и он, может, и понапрасну. Были тут и раскольники: те верили словам Елисейка и ворчали, что его без вины обвинили.

Вот палач положил его, а он смеется: «Ничего!»

— Я те дам — ничего,— сказал палач и хлестнул его трехвосткой.

— Аля-ля! Жарко! Вот бы тебя пробрать!..— указывает он на ту сторону, где отец его.

Палач хлещет по нем изо всей силы, полицийместер кричит: «Шибче! шибче! шибче его, каналью!..» Удар за ударом сыплется на Елисея. Он сначала ругался, крепился, а потом невтерпеж стало...

— Ох, не могу!.. Будет!..— кричит он.

— Дери его, каналью; до смерти дери! — кричит полицийместер.

— Уйди, отец!.. Уйдите... Жена...— стонет Елисей. Жалости подобно, как все это было. Отец плакал, мать плакала, жена его тоже; мне тоже жалко было, и я заплакал; многие жалели его, и никто не шел домой...

А он кричит:

— Ваше высокоблагородие! помилосердуйте!.. Матушки мои... Голубчики... Уйдите с глаз... Ох, тошно!..

Отец с матерью ушли домой...

Когда кончил палач сто ударов, Елисея подняли с эшафота едва живого, положили на рогожку и увезли в больницу. Там он прожил только полсуток, ругался, и когда умирал, то, говорят, все ругал кого-то.

Так-то вот кончил с собой Елисей. Бесшабашная голова!.. Ну, да ладно, что умер, хоть не мучится больше, а то бы опять не миновать эшафота. А деньгами его, говорят, стал пользоваться раскольник один, с коим он дружен был и коему сказал, что он дорогой убежит из каторги и с ним уйдет в леса, к одному раскольнику, коего никто из полицейских не мог разыскать, а он свободно ходил по заводу... Может

быть, он тогда и очувствовался бы, только вряд ли... Все бы ему несдобровать, потому, значит, уж ему на роду было написано умереть такой смертию...

Тимофей был парень прилежный к работе, смышленый, и потому скоро выучился делать все, что делал мастер и его работники. Мастер любил его больше всех еще и за то, что он не пьянствовал с товарищами и когда получал деньги, то копил их себе и давал Степану Еремеичу. На девятнадцатом году мастер сделал его подмастерьем, помощником себе, и жалованье большое дал. Стал Тимофей сертук носить да пальто и с нашей братьею важничал. За это мы его не полюбили и прозвали обдергунчиком, потому, значит, не любили мы тех, кто пальты да сертуки носят, а как оделся эдак Тимка, как называли Тимофея Степаныча, мы из див диву дались: значит, гордый стал, заважничал, от нас отдалился; обидно было. Ну, вот он сошелся с дочерью хозяина. А хозяин хотя и любил его, все же считал его своим работником, и дочь метил за одного чиновника, и сговор сделал уж. Только дело это долго длилось, и штука вышла. Сваха чиновника заметила, что у невесты неладно, и как она раньше не доглядела, уж не знаю: на деньги, видишь ты, позарилась. Ну, узнал об этом жених, отказался, просьбу хотел написать, что его обидели. Умен, видишь ты, больно был чиновник, а еще наш, горный. Все-таки взял с мастера ни за что дику пошлину. Отец со злости прогнал Тимофея Степаныча, и дочь прогнал. Тоже умен был. В городе и заговорили про это все разно, и Офимье Ильинишне, так дочь звали, нельзя и показаться было на улице, застыдят да приконфузят. Ну, у Тимофея Степаныча были деньги, и он с грехом пополам обвенчался-таки с Офимьей. Свадьба такая скучная была, ровно не свадьба: народу никого не было. Да оно и лучше, потому, значит, никто не видит да не судит, а то всяк лезет и сам не знает зачем. Глупо уж больно, да и смотреть-то нечего; дело обыкновенное. Сначала Тимофей Степаныч к отцу пошел жить. Тогда уж не было в городе Елисея. Ну, стал жить да работать столы, стулья, диваны и разные штуки вырезывал на дереве. Жил эдак года два и подкопил деньжонок. Надоело ему с отцом да матерью жить, ушел он с женой на квартиру и работника от тестя перезвал. Тем временем ему место в городе отвели, строить дом велели, мастеровым его назвали. Вот и стал строиться Тимофей Степаныч. Навозил я ему бревен за тридцать рублей, да камню он еще прихватил и в два

года состроил полукаменный дом, такой, что любо. Внизу он устроил мастерскую и еще троих работников от тестя перезвал, дал им по десяти рублей и кормить стал на свой счет, а у тестя они по шести рублей жили. Вверху было комнаты четыре; там он сам стал жить. Пробойный был парень Он всячески старался найти работу, делал на отличку, и его завалили. Кроме того, его заставляли работать что-нибудь на гранильную фабрику и монетный двор и мастером назвали. А как четырех работников ему мало было, то он еще кое от кого перехватил, самых лучших да трезвых, и пошла работа. Тимофей Степаныч зазвал и отца с матерью к себе жить, потому, значит, ему экономию хотелось соблюсти: прислуги он никакой не держал, к тому же у него и дети были. Он говорил про отца: «Пусть живет, что ему там делать? За готовый хлеб он и за водой может сходить, а мать стряпать да водиться с детьми может, не великая барыня...» Степан Еремеич этого не слыхал, а если бы слышал — не пошел бы к сыну. Он хоть и стар становился, хотя и был сменен его квартальный, а все еще портничал и, значит, не нуждался в сыновних хлебах. Ну, а коли сын просит за водой сходить, отчего не сходить, не уважить хоть бы жены его. Ну, и стал он поживать у сына. Занятие его было в том, что он колол дрова, топил печки, воду носил, в лес ездил да в покос, да детей сына покачает, а портничать уж не стал,— надоело, да и некогда было; к тому же в это время портных везде много развелось, оттого, значит, наши же мастерские да работнические сыновья выучились у разных мастеров и стали работать — кто сообща, кто в одиночку, и работал кто на отличку, кто так же, как и Степан Еремеич. Вот поэтому-то, да как стали мальчики взрослыми, ему и не давали работы, потому, значит, народ щеголять стал, а Степан Еремеич по старинке шил. В свободное время, особенно после обеда до ужина, он, если не спал, любил с работниками внизу побелентрясить да похвастаться, что он на свете много видов разных видел, много хорошего сделал, лучше теперешнего жил, лучше многих жил. Словом: я-ста — не я-ста, стою рублев полтораста.

Сидит это он с трубкой на табуретке или на верстаке и говорит: «Нет уж, брат, шалишь! Вот кто молодец — так это я: что я ни начну делать, все выйдет хорошо, а у вас сноровки нет... Вы у меня учитесь...»

— Полно тебе турусы-то на колесах разводить. Ну, скажи, что ты хорошего сделал? — говорит один работник.

— Ах ты! Почну я тебя щепать вот этой доской,— сердится Степан Еремеич. Все, знаешь, хохочут.

— Не тронь его, братцы! Он на вонтараты халаты шил.

— Ах ты, сволочь! Небось получше твоего... Ишь, какой зубоскал!..

— Ну уж, шить и теперь не умеешь.

— Варнак ты, варнак, как я погляжу; в Сибири, пес, верно, не бывал! — злится Степан Еремеич, а из мастерской нейдет. Его пуще злят.

— И жил-то ты как? Начальство обманывал.

— Ну, брат, шалишь. Кто начальство обманет, семи ден не проживет. Эк ты к слову что сказал! А ты скажи, как твой отец-то жил?

— Что мой отец? Мой отец жил, как и все прочие грешные.

— То-то оно и есть... Губа-то не дура, верно...

Больше всего любил он похвастаться Тимофеем Степанычем.

— А почто ты у него в работниках живешь?

— Какой я работник? Кабы я жалованье получал, был бы работник. Сыну, брат, я не работник, а потому управляю, что скука берет без дела жить.

Степан Еремеич был человек простой и любил, как говорится, душу отвести с ребятами да побраниться, и никаких драк из-за худых слов не заводил, и не сердился ни на кого. Любил он также и кутнуть с ними в воскресенье, когда они были свободны от работы, и кутил на их счет. Ребята его любили и звали дедком. Это имя ему нравилось, а если кто называл его стариком — он ругался, и его почти каждый день дразнили стариком.

Жена у Тимофея Степаныча была красивая да здоровая баба, только над своею братиею гордилась, потому, значит, живут они хорошо и муж — мастер. Зазналась, значит. Дома она только носки вязала да стряпала что-нибудь послаще. Отца Тимофея Степаныча она пьяницею обзывала, а мать дармоедкой. У Тимофея Степаныча в шесть лет было уже три ребенка, да двое умерли. Нечего сказать, таки плодлива наша братия, потому, значит, мы люди здоровые. Вот жена Тимофея Степаныча и стала заставлять свекровь с детьми возиться, корову доить да стряпать. Возиться с детьми старухе было под стать — сама своих троих вынянчила и теперь любила внучат, а корову доить тоже она любила, но стряпать да иное что делать уж не под силу ей было. А Тимофей Степаныч скупой был. Он так жихморился, что работников кормил худыми щами и денег им не давал, а попробуй кто прийти к нему в гости — ничего не подаст, тот так посидит, да и уйдет. Ну, для чиновников да купцов он таки покупал полштофчик и после долго ворчал, что вот сколько

денег истратил. И жена такая же была, даже хлеб взаперти держала, и ключи у нее постоянно в кармане были. Вот старуха, мать Тимофея Степаныча, и поругалась с молодой бабой, целый день ворчала.

Тимофей Степаныч не любил, как отец просил у него каждый день на косушку да на шкалик.

— Тимко! Дай-ко мне на косушку.

— Да что вы, тятенька, разорить, что ли, меня хотите?

— Ну дай. От гривенника или семигривенника не разоришься.

— Да что я, по-вашему, богач, что ли, какой?

— Ну, ты не разговаривай, а дай!

Тимофей Степаныч не всегда давал сразу, и тогда Степан Еремеич юлил около сына: «Какой ты у меня сокур ясный! Голова-то у тебя — ум!.. А выпить, значит, надо, спину разломило...» Тогда Тимофей Степаныч давал денег. Не нравилось и больно не нравилось сынку то еще: придет кто-нибудь к нему в гости,— а у него много было знакомых богатых и знатных — ну, поп ли, чиновник ли,— отец уж тут как тут. Сын-хозяин в сертуке, а отец в халате и дымит махоркой. Это еще ничего, так нет,— он еще разводит турусы на колесах: что-нибудь врет, себя да сына хвалит, а если видит на столе водку, пьет без приглашения, и один всю выпьет. Значит, забралась ворона в высокие хоромы, посади козла за стол, он и лапы на стол. Потому, значит, Степан Еремеич так делал, что простой был, со всеми одинаков, всех в дому считал равными, никого не боялся, да и считал себя старше сына. А если его, пьяного, упрекнет кто-нибудь, он выругает, а пожалуй, и приколотит. Вот сыну и досадно было, и называл он Степана Еремеича невежей. Потом обзывать стал в глаза и говорил, что у него свой дом есть. А Степан Еремеич не шел от него; ему не хотелось с ребятами-работниками расстаться, да и лучше казалось жить у сына, а в своем доме скучно и опять надо портничать. Вот он и говорил сыну: «Свинья, что ли, я тебе? кто я?.. Ты мне сын, я тебя вырастил».

— Не ты вырастил, добрые люди,— говорил Тимофей Степаныч.

— Врешь!— И отец лез колотить сына.

— Уж я не позволю себя бить.

— Не дозволишь? А если я тебя в полицию свожу?.. Отлуплю если?..

— Далеко кулику до петрова дня.— И Тимофей Степаныч уходил.

Однако эти разговоры были только тогда, когда Степан

Еремеич был пьян, буянил да бросал на пол все, что под руку попадало.

Не лучше Тимофей Степаныч был и с тестем У тестя было еще две дочери, из коих одна была замужем за чиновником, а другая еще девушка. Из сыновей один был урядник, другой — мастеровым, да с ним жили еще двое. Денег у него не водилось, потому, значит, зашибать он любил и таскался с какой-то бабой, хотя и жена у него жива была. После того как ушел от него Тимофей Степаныч да отошли от него самые лучшие работники и остались у него пьяницы, работа у него остановилась, а если работали, то не к сроку и некрасиво. Работу возвращали и заказывали другому мастеру или Облупалову. Под конец тесть и руки опустил, не стал смотреть за рабочими, которые пьянствовали да вперед деньги просили и работали на себя, потом и ушли от него. Тесть обеднел, и дом у него описали за долги. Пошел он к зятю; тот и говорит: у меня свое семейство; дал ему двадцать пять рублей, а в дом не принял. Вот тестюшко пошел сам в работники к другому мастеру да стал ругать зятя...

Это еще цветочки, а ягодки впереди!

Однажды летом, в какой-то праздник, Тимофей Степаныч ушел с женой да с двумя старшими детьми к одному знакомому на именины. Дома остались Степан Еремеич и его жена. Старушка поводилась с детьми, заказала Степану Еремеичу не уходить из комнат, а сама ушла в свой дом посмотреть да пополоть траву в огороде, посмотреть, как капуста растет на просторе. И с собой шанежку взяла, для того, значит, чтобы поесть там. Ну вот, остался Степан Еремеич один в комнатах. Подойдет к кровати, пощупает перину. «Ишь как баско да мягко! Я никогда так не спал. Лечь разве»,— говорит. Подойдет в другой комнате, на стену поглядит: «Эко у него одежи-то сколько! Баско! А мне небось не уделит...» Подошел к столу, отворил столешницу — две гривны лежат. «Взять разве?.. Ну их к богу! Лучше попрошу ужо». Ну, походил-походил таким манером с полчаса, скучно стало, песню какую-то затянул, не поется. «Выпить бы, задрал бы не хуже екатерининского дьячка!..» Лег на кровать — мягко... «Ишшо изомнешь. Скажут, не на свое место залез...» Сошел с кровати, закурил трубку да посмотрел на портрет какой-то; скучно все было. «Дай схожу ненадолго вниз. Что-то ребята делают? Да кого-нибудь сюда притащу в шашки поиграть». Ушел вниз, а там кутят ребята. Один работник именины справляет. Ну, и подал ему работник стакан, потом другой... Степан Еремеич захмелел, заплясал и

про верх забыл. Выпил еще стакан и уснул на верстаке...

Пришел домой Тимофей Степаныч и жена с детьми: в комнатах ни души нет, дети плачут, а около сундука половики сбиты. Поругалась жена Тимофея Степаныча, что и чуть не хочут посидеть дома, и стала отпирать замок сундука. Платье, вишь ты, ей нужно было положить да платок шелковый. Вертит это ключом в замке, вертится ключ во все стороны... «Что за оказия?» — думает жена Тимофея Степаныча. Взялась за крышку — крышка отворилась; в ящике все перерыто. Хватилась она в один угол — нет двухсот рублей. Позвала Тимофея Степаныча, который было спать лег. Тот удивился, озлился, и оба порешили: непременно отец либо мать взяли. Недаром их и нет...

Пошел Тимофей Степаныч в мастерскую, там спит Степан Еремеич, храпит на всю ивановскую, и двое рабочих тоже спят, значит, пьяные. Прочие работники в карты играют. Спрашивает он их: отчего отец пьян? Его, говорят, именинник угостил. Именинник был трезвый парень, то же сказал и осмеял еще старика. Спросил он про свою мать — сказали, домой за чем-то ушла.

— Ничего она не несла?

— Узелок маленький,— сказали они.

Вот Тимофей Степаныч и подумал на мать да на отца. «Они это состряпали. Сговорились обокрасть меня»,— и сейчас пошел в полицию, а работникам ничего не сказал. Из полиции живо отправились, кроме Тимофея Степаныча, казаки и квартальный в дом Степана Еремеича, перерыли там все, переломали чашки кое-какие и ни одной копейки не нашли. Вошли в огород. Старушка сидит себе между грядами, мурлычет какие-то божественные песни и вытеребливает траву около моркови. Перед ней на плате недоеденный ломоток сдобной шаньги лежит.

— Вот она, проклятая! — сказал один казак.

— Вишь, она деньги зарывает,— сказал другой.

Старушка, как услыхала это, испугалась, встала, рот разинула, стоит как чучело, что в огородах стоят.

— Рой огород! — кричит квартальный.

Толкнули старуху в сторону, руки ей скрутили и стали копать гряды. Плачет старуха, ругается, что ее родное тормошат...

А у наших баб, скажу я тебе, хороший человек, огород — любезная штука, все равно что сад у барынь. Каждая баба не может жить без огорода: так уж она с детства привыкла. Она и гряды сама скопает, и уладит их, и семян насадит, и чучелу сделает, чтобы птицы-озорники не поклевали ее

родное. Она смотрит да любуется, как капуста да морковь или кое-что хорошо растут; каждый день два раза поливает гряды да траву, которая мешает расти овощам, выдергивает, будь хоть тут вечером мошки и комары, которых у нас много. Сколько ссор бывает из-за огородов, если чья чужая коза попадет в него. Она сама с детьми уберет овощи и не налюбуется, когда свою капусту рубит; своя картофель во щах и в жарком и своя редька... А тут вдруг, ни с того ни с сего, гряды копают среди лета. Вот те раз!.. Воет старуха, понять не может, что бы это такое значило, ругается: «Я самому... самому главному пожалуюсь... анафемские вы, такие-сякие...»

— Куда ты деньги дела? — спрашивает ее квартальный.

Старуха ничего не понимает.

— Тебя спрашивают!

— Погоди, разбойники! Подам я те деньги... Сейчас пойду к главному.

Много соседей собралось.

— Тебя спрашивают: куда ты деньги дела?

Квартальный так ее ударил, что она упала.

Соседи вступились за нее. Квартальный видит, что, пожалуй, его еще и прибьют, отправил ее в часть. Стали спрашивать старуху; она едва поняла, в чем дело-то; ругать стала сына; ее в острог спровадили. Спрашивали и Степана Еремеича; тот только ахнул да сына обругал, и его в часть посадили. Так они и сидели с две недели. Все их жалели да дивились на Тимофея Степаныча.

А вор-то настоящий был подмастерье Тимофея Степаныча. Он уже две недели пьянствовал и ходил на работу редко. Вот за ним и стали примечать работники да выспрашивать целовальника. Ну, и узнали, что он вот уж вторую неделю с деньгами ходит. Работники сказали Тимофею Степанычу, тот донес на него полиции, полиция нашла при нем двадцать рублей. Стали спрашивать: где деньги взял — запираться стал: нашел, говорит. А как стали драть, и рассказал, что когда Степан Еремеич пьянствовал в столярной, он вошел в комнаты, разломал замок и взял деньги...

Ну, старушку и Степана Еремеича выпустили, только старуха сумасшедшею вышла из острога, а Степан Еремеич полоумным стал. Старушка каждый день ходила к главному начальнику с жалобой, что ее обидели, огород испортили, да надоела она всем, в богодельню и отправили ее. Степан Еремеич лучше сделал. Он рассказал главному начальнику на Тимофея Степаныча все как было и просил только, чтобы он приказал отодрать его, мошенника, да пуще... Ну, главный

начальник и велел отодрать на гауптвахте Тимофея Степаныча за то, что он, не разобрав дела, обвинил отца и мать... Славно постегали Тимофея Степаныча. Жарко было... А он толстеть только что начинал...

Степан Еремеич не пошел уже к Тимофею, хотя тот и звал его к себе, а бился у соседей, потому, значит, дома одному скучно было... Старушка недолго прожила с тех пор, как ее из острога выпустили. Она через месяц убежала из богадельни в свой дом, и оттуда ее никто не мог увести. Она то и дело ходила в огород да садилась между гряд и вставала, потом говорила: «Разорить меня хочете... Я самому... самому главному скажу!..» К соседям она не ходила и питалась тем, что ей носили сами соседи хлеб и молоко. Она иногда не брала и говорила: «Не хочу я. Это сын потчует... Не хочу! — и она бросала на пол хлеб: — не хочу — будь он трижды, анафема, проклят».

Ах, не видал ты этих людей, не живал с ними?.. Жалости достойно... Четыре месяца мучилась так старушка. Ходил к ней и Степан Еремеич — и ходил только, когда бывал выпивши. Придет он в дом, сядет на лавку; она что-нибудь делает: или картофель перебирает, или редьку считает; смотрит так на нее жалобно и скажет: «Матрена, каков сынто?» — а она и говорит:

— Ну, вяжи меня. Сади в острог.

— Матушка Матрена,— скажет, бывало, Степан Еремеич.

— Вяжи! Эк испугались... Хорош муженек...

Зимой ее в погребу потолком задавило.

Плохо жил Степан Еремеич; жалели его все соседи и ругали Тимофея Степаныча. А тому что: живет себе попрежнему, как ни в чем не бывало, и говорит: «Я не виноват: отец — невежа, необразован».

Так вот он каков был, Тимофей Степаныч, второй сын Облупалова... Нечего сказать, хороший человек, хорошее облупало!..

Бог знает, что было бы со Степаном Еремеичем без жены; может статься, худое бы он что-нибудь сделал, да, спасибо, его меньшой сын Максим призрел.

Максим стал учиться в окружном училище и к отцу ходил сначала только раз в месяц, а потом отпускали его каждое воскресенье. Когда он бывал у отца и когда я видел его, он говорил, что учат там больно строго, дерут уж больно некстати, чуть не каждый день, оставляют без обеда

часто да на колени ставят; начальства там много: каждый учитель, каждый надзиратель да дядьки — начальники, и ученики есть начальники, кои старшими называются. Не хотелось Максиму учиться, а отцу хотелось, чтобы он человеком вышел, урядником был, квартальным поступил. Степан Еремеич говорил тогда Максиму: «Терпи, казак,— атаманом будешь. Теперь тебя дерут, потом ты сам будешь драть воров да плутов».

Окна в училище были на сажень от земли, и убежать ученикам было нельзя. Строго смотрели за ними и водили их, когда они ходили куда-нибудь, с солдатами, кои дядьками назывались. Да и водили-то их только в церкви. Училище это помещается во дворе, где горное правление, главная контора, где живет горный начальник, а против него монетный двор. Через год Максима певчим сделали, и пел он со своими же товарищами да учениками уральского училища,— были тут и урядники,— в Екатерининском соборе. А форма одежды учеников была все равно что у кантонистов: такие же курточки, такие же шинели и фуражки. За пение Максим деньги получал, только не всегда, потому он мал тогда был. У нас, братец ты мой, даже и певчие и музыканты свои, казенные были. Певчие в Екатерининском соборе жалованье получали, а в прочих церквах певчим купцы помесячно платили; ну, да и доходы были, потому, значит, церквей немного, а народу много, город большой, и приглашали хороших певчих на похороны да на свадьбы. Только, надобно правду сказать, прежде, когда Максим пел, певчие в Екатерининском соборе хорошо пели, а теперь поют скверно — уши дерут, потому голосов нет, и силой петь уж не заставляют ребят. Только у нас самые лучшие певчие в Вознесенской церкви, где мой сынишко певчим, да еще архирейские; да и там, если бы не дьякон один, так хоть распускай. Вот пермские архирейские, кои приезжают сюда с архиреем своим раз в два года, вот уж певчие, единственные во всей губернии: наши стараются у них перенять, да не могут. Ну, да там губернский. Еще бы!

Максим в училище не очень хорошо учился, потому, значит, любил петь. Хотели его исключить за леность, да регент упросил. А когда он кончил курс в училище, через шесть лет, его хотели было на службу в главную контору взять да переписывать приучать, только квартальный упросил начальство перевести Максима в уральское училище; потому это хотелось квартальному, что оттуда урядниками выходят, и ему хотелось определить крестника квартальным. У квартального только один сын был, да дурачок такой: нигде не

служил, ничего не делал, только пьянствовал да таскался, а числился тоже при полиции. Ну, вот квартальный и хвастался людям, что он — большой человек, благодетель хочет сделать бедным людям.

Поступил наш Максим в уральское училище опять на казенный счет, опять стал учиться горным предметам, маршировать да петь с певчими. Здесь житье было повольнее, в город отпускали каждый день. Ходил он к матери да отцу, говорил, что теперь лучше стало, кормил их пряниками да орехами и водки покупал отцу. Отец не сердился, что Максим водку потягивает, потому, значит, он считал его уж за человека и даже побаивался. Людей со светлыми пуговицами он считал за начальников. Хотя и считал он каждого себе равным, так это только у Тимофея в доме, а попадись навстречу со светлыми пуговицами — он и сморщится и шапку долой. Тимофея Максим не любил за то, что он гордым был и ему не давал денег, когда он просил, а Тимофей называл Максима пьяницей. Ну, как певчих часто звали на похороны да на свадьбы и поили их там водкой, Максим и приучился потягивать, сначала рюмочку, а там и три, и пошли катать, а денежки на рынке проедал, потому, значит, кормили их скверно. Максим был бойкий парень, буян, не боялся дядек да надзирателей и пьяный за́все заводил драки. За грубость его сильно драли. Часто дядьки ловили его с водкой, коей он угощал товарищей, и представляли его инспектору, а тот драл. Вот Максим и не залюбил инспектора. «Раз,— говорил он мне,— приходит в класс инспектор, а я что-то чертил и не заметил его; ну, и сижу, черчу, а прочие встали. Ну, инспектор подумал, что я нарочно это сделал, вытащил из-за парты за ухо, поставил в классе на колени и обедать не велел. Вот я встал на колени, рассердился, что напрасно стою, и думаю: удеру я над тобой штуку такую, что будет тошно. И стал думать: что бы такое сделать? И надумался. Инспектор стоял спиной ко мне, ученика спрашивал, и учитель тоже спиной стоял. Вот я достал из кармана бумагу, разжевал ее во рту, сделал пулькой — и бац в инспектора... Пулька так и впилась в коротенькие волоса головы инспекторской. Ученики захохотали, а инспектр озлился, как лев, кричит: «Кто бросил? всех передеру! выгоню!» Ребята были славные, друг дружку не выдавали; дерка была нипочем, можно в больницу уйти; только теперь струсили: а если выгонят? Ну, и не сказали-таки. Притащили сторожа розог, и принялся он драть, да с меня и начал. Как стал драть, я и сказал, что я бросил, и не то еще сделаю, на колени, потому, напрасно не ставь. Ну, уж и драл же он меня так, что я ничего уж не помнил

под конец, а только в больнице очувствовался». После этого Максим больно был зол на инспектора и учиться не стал. Делал разные штуки над учителями да дядьками, ругался, его драли и, наконец, вытурили из училища. «Вот как это было,— рассказывал Максим Степанович:— пришли мы с похорон, хмельны были изрядно, да с собой еще принесли штоф водки, какой утянули со стола, потому, значит, обедали особо от прочих. Ну, зашли в училище всей компанией, кроме маленьких, и урядники пришли с нами, и стали пить водку. Урядники попили немного, да скоро и ушли, а мы и давай одни пить, да петь, да плясать; еще послали за водкой одного музыканта, и музыканты закутили... Дядьки стали нас ругать да унимать, мы драку с ними затеяли. Один дядька пошел за инспектором. Пришел инспектор и давай драть нас. Я не дался. Пришли сторожа, скрутили меня, и пошли свистеть розги, а как это ударят, я и ругаю инспектора... Тот видит, ничего со мной не сделаешь, велел оставить меня драть и говорит: завтра же тебя выгоню. Я и говорю: больно нуждаются вашим братом — и обозвал его. Меня тотчас же и выгнали. Пошел я к отцу, а на другой день меня потребовали в училище и сказали, что я уж исключен. Ну их! Петь стану». Бился так Максим Степанович недели две, хотели его куда-то на заводы послать, да отец упросил горного начальника, и приняли его писарем в главную контору. Вот и стал он служить в главной конторе и певчим все-таки был. Только и на службе он ленив был, мало писал. Все ему хотелось делать по охоте: захочет писать — давай, напишет; не захочет — хоть проси-распроси,— возьмет шапку и уйдет. «Стану я вам за четыре рубля писать! Эк вы выдумали!» — говорил он тогда. Впрочем, он не грубил здесь с начальством. Сначала он у отца жил, а потом, как перешел к нему Тимофей с женой, пошли у них ссоры между собой из-за жены Тимофея,— вишь ты, Тимофей ревновать стал жену,— ну, Максим и ушел на квартиру. В главной конторе он служил с год, а потом его определили в горное правление и там через три года урядником сделали.

Урядник для нашего брата, маленьких людей, важный чин, и получить его трудно. Рабочему да мастеровому о нем и думать не велено. Этот чин дают только тем, кои бумагу марают да перья портят. И те получают с трудом. Если кто выучится в школе заводской, тому, если он поступит в контору, дают чин писца. Это самый первый чин равный рабочему, и писец уравнен с рабочим. По особым заслугам да за деньги давалось писцу, годов через пять или десять, звание писаря. Чин этот равен нижним горным чинам, о чем

я уж говорил раньше, а если кто выходил из окружного училища, тому давалось прямо звание писаря. Вот у нас, в заводах, и были все писцы да писаря, а если кто имел деньги да начальству нравился, того представляли в урядники. Из уральского училища прямо выходили урядники. Урядник уж был третий чин и носил галуны. Он был все равно что унтер-шихтмейстер, какие прежде давались вместо урядника, или все едино что унтер-офицер. Урядники еще назывались по статьям: первой, второй и третьей. Сначала производили в третью степень, потом во вторую, потом в первую. Только это были прикрасы, а урядник все-таки был урядником, разве только жалованья больше получает. Урядник потому был важен для писарской братии, что со времени производства в урядники считалось время для производства в офицерский чин. Офицерский чин давался уряднику через двадцать лет, а если занимал классную должность три года, то через двенадцать лет. Ну, дети офицеров да дворян по особому уставу чины получали: те, значит, не нашего поля ягоды. Вот у нас, в главной конторе и горном правлении, есть писаря и старики; уж так фортуна не везет. Тоже вот и в горное правление трудно попасть из заводов, потому, значит, каждый любит жить в своем родном месте, где у него дом да покос и все знакомые или товарищи. Попадали туда только молодые да богатые. Без денег туда не переводили из заводов. Таким-то порядком и служили там, в горном правлении, или из городских, или из заводских детей,— люди все ученые, ребята молодые да славные; так тут и умирали урядниками, и если должности не получали и чиновниками делались, в заводы уезжали на хорошие должности и над нижними чинами командовали.

С полгода, бывши урядником, Максим Степанович хорошо служил: водки пил мало и писал в правлении прилежно. А потому это так — жениться он задумал. Понравилась ему одна девушка на бульваре. Ну, он сначала подладился к ней, потом и пошли у них дела и тянулись с полгода. Она была дочь купца, и за нее сватался столоначальник горноправленский, человек так лет сорока,— потому сватался, что ему хотелось получить денег тысяч десять да дом каменный. А Максим Степанович говорил, что ему денег не надо: сопьюсь, говорил, либо задавлюсь. Ну, послал он свою сватью — той отказали; он столоначальнику сказал, тот его обозвал как-то,— и все-таки женился на его любезной и удрал с ней куда-то исправником — за деньги определили. Ну, и сбился с панталыку Максим Степанович: стал водку пить да буянить, драки заводил в кабаках; когда певал в церкви,

кричал во всю ивановскую,— а у него басина был здоровый, протодьякону не уступал. На службу ходил редко; его дежурить не в зачет заставляли, он все-таки уходил; пакости разные делал со столоначальником; в шести столах перебывал, в долгу постоянно был, с квартир гнали. Нечего сказать, хорошая забулдыга сделался, а к брату не шел, подлецом его называл, а если есть деньги — зайдет к отцу, и утащит его к себе на квартиру, и напоит до отвала, а нет — на службу идет заниматься и денег в долг просит. А еще молод был. Мне жалко его было, потому, значит, он все же выше нашего брата был, а опустился вон как. Наша братия, мастеровые да работники, любят выпить: что называется, до положения риз напьются и руками при этом почешут для собственного удовольствия, а до того, как Максим Степаныч, не доходили, не безобразничали. Все же думаем: у нас семейство; не будешь работать, так уморишь детей; а служащая братия совсем иначе: есть деньги — пропьет, нет — в долг берет, а не дают, голодом сидят; да добро бы жалованье хорошее было, а то каких-нибудь шесть рублей — и все тут; наш брат больше получит. Наш брат начальства боится, а у них начальство снисходительное, не дерет. Вот и пьянствуют да не пишут или не делают дела. Впрочем, не все были там такие, как Максим Степаныч; там много было трезвых да трудолюбивых, смирных таких; а он всех превосходил. Это бы еще туды-сюды, так он еще свое начальство ругал. «Вот, говорит, этот плут, а этот дела не знает, такого-то давно бы в отставку надо выгнать...» Задирчивый был человек... Хорошо, что начальство не слышало, а то угнало бы его туда, куда Макар телят не гонял.

В то время был у нас главный начальник больно строгий человек. Он никаких непорядков не терпел; всех служащих в струнке держал, требовал, чтобы все служащие в форме ходили, чтобы, когда он идет или едет да кто мимо его идет или навстречу попадется, шапку ему снимал да кланялся, чтобы в горном правлении его на крыльце встречали советники, секретари да экзекутор. Ну, и боялись его все, в заводах трепетали, и что ни скажет он, свято. А уж седой был, только ходил скоро и говорил скоро да громко, как кричал, и лицо у него строгое было. Все-таки он и добр был иногда и в нужды людей входил, если расположение на то было. С горными начальниками да управителями он делал что хотел, а на маленьких людей и внимания не обращал, а в нужды входил так, как вздумается, да когда расположение будет. Однажды был в горном правлении. Выругал там советников и пошел по отделениям. Ну, идет и кричит, урядникам

любо. Только увидел он у Максима Степаныча волосы долгие на голове.

— Что это? — вскричал на Максима Степаныча главный начальник.

— Волосы,— говорит Максим Степаныч.

А он уж выпивши был.

— Что?

— Волосы, ваше превосходительство.

— Посадить его на гауптвахту! — сказал главный начальник. Ну, и посадили Максима Степаныча на гауптвахту и проморили его там трое суток. Максим Степаныч был такой же человек, как и наша братия: видим, что нас ни за что обидели, если свой брат — отколотим, а начальство выругаем, а потом хоть и отдерут, все же нам любо, что мы его выругали; ну, и он был мстительный. Однажды его секретарь за что-то обидел. Вот он пришел утром рано, забрался в его комнату и облил чернилами какой-то журнал, листах па двадцати, и ушел петь с певчими на похоронах. А журнал нужный был, нужно было его в этот день к главному начальнику нести. Ну, а главный начальник и посадил секретаря на гауптвахту... Так и теперь: вздумал Максим Степаныч удрать какую-нибудь штуку,— и то над кем же? Над самим главным начальником! Иной из нашего брата и подумать об этом не посмел бы. И сделал-таки штуку. Шел он однажды с похорон пьяный до того, что едва стоял, и ухает песни, а самого пошатывает направо и налево. Только он поравнялся с главным правлением, и едет к нему навстречу главный начальник. Он идет да ухает. Главный начальник видит — человек в горнозаводской форме, осердился, что у служащих такие беспорядки да безобразия, и велел кучеру остановить лошадей.

— Кто ты такой? — кричит он Максиму Степанычу.

Тот остановился и кричит: «Проваливай!» Главный начальник не понял и спрашивает снова: «Кто ты такой?»

— Немазаный, сухой...— И пошел Максим Степаныч своей дорогой.

Главный начальник вошел в бешенство, вылез из тарантаса и догнал его.

— Я тебя спрашиваю, кто ты такой?

— Петр Петров Пастухов.

— Отчего ты пьян?

— Пьян и еще выпью,— говорит Максим Степаныч и побрякивает деньгами: — Пойдем в кабак.

— Что? Как ты смеешь говорить мне это? — и главный начальник ударил его по лицу.

— Ты не дерись, сам сдачи дам. Эка птица!..— Главный начальник видит, что с пьяницей ничего не сделает, махнул рукой солдатам, кои у гауптвахты были, и как те подошли, он сказал им взять его и держать до тех пор, пока я не распоряжусь с ним! «Я тебе задам!» — сказал он Максиму Степанычу... Увели солдаты Максима Степаныча на гауптвахту: ну, да ему не привыкать стать сидеть; он говорил солдатам: «Что, каков! Сделал-таки штуку... А здесь квартира готовая...»

На другой день получилось от главного начальника в горном правлении приказание: сослать Облупалова урочно-рабочим на богословские заводы. Богословские заводы — казенные, и край там самый бедный, потому холодно и хлеб дорог; туда ссылали людей за преступления да за разные разности. Ну, и сослали туда Максима Степаныча.

Вот оно что значит с сильными бороться: как муху придавили.

Всякому известно, каково из урядников вдруг сделаться урочно-рабочим. Уж коли урядника трудно получить писцу, хорошему человеку, а из урочного работника и не думай быть урядником. Не знаю, что бы сделал над собой Максим Степаныч, да только у него в заводе много было из уставщиков да других чинов товарищей по уральскому училищу, да в главной конторе, при горном начальнике, служили его товарищи по горному правлению,— знали его; ну, они-то и поддержали его. Горный начальник любил музыкантов да певчих и велел ему быть певчим, а на работы не велел ходить, а в свободное время писать в конторе велел. Теперь Максим Степаныч понял, что бороться с начальством нельзя, и стал слушаться начальников; стал опять певчим и ходил в контору ради того, чтобы скуку провести, а пьянствовал уж редко и то — кто к себе его позовет. Так он и бился два года.

Приехал туда, в завод, тот же главный начальник. Был он в церкви у обедни, и понравились ему певчие. Только стоит он в церкви и посматривает на клирос, а там Максим Степаныч в то время регентом был. Кончилась обедня, главный начальник и говорит на обедне горному:

— Хорошо поют певчие, хорошо. Дать им двадцать пять рублей. Кто регент?

— Рабочий Облупалов,— говорит горный начальник.

— Позвать его!

Пришел Облупалов.

— А, это ты?

— Виноват, ваше превосходительство!

— Как он живет? — спросил главный начальник горного.

— Отлично,— говорит горный начальник.

— Пьет водку?

— Нет.

— Ну, Облупалов, я тебя прощаю. Смотри, не попадайся мне вперед таким на глаза. Не то сделаю.

Потом и говорит горному начальнику:

— Возвратить ему урядника, а из завода не выпускать!

Воротили Максиму Степанычу урядника и определили в контору, потом столоначальником сделали. Хорошее ему было житье в заводе, все любили его, а если любил он выпить, так пил уж не по-прежнему. Тут, в заводе, он женился, взял мастерскую дочь; хотя у отца ее и не было денег, да она молодая, красивая была и больно ему по сердцу пришлась. С женой он там жил годов пять и двоих детей — сына и дочь — прижил, а когда уволили его из горного ведомства, он и уехал с женой да детьми в наш город, и остановился в отцовском доме, и отца призрел, а жене велел уважать отца и ничем не попрекать. В гражданскую службу он не пошел, а записался в мещане и занимается теперь у одного купца-золотопромышленника бухгалтером в конторе, и жалованья получает тридцать пять рублей в месяц, и живет лучше иного чиновника. Дом он поправил и сделал в нем три горницы и кухню, а в огороде сад хочет развести...

Тимофей, как уволили его, тоже в мещане записался и по-прежнему занимается мастерством; толстый стал, только уж он теперь много вина пьет, все ром, да в карты начал поигрывать и проигрывает деньги. Жена его толстая стала, а как это наденет кринолин — ужасть какая широкая! Не любят наши мастеровые кринолины, а жены то и дело порываются хоть обруч с бочки да напялить... Срам! Ну, Тимофей да жена теперь еще гордее стали, потому у них знакомых много.

Вот Максим Степаныч — так душа-человек. Любезный, обходительный, со всяким поговорит хорошо, и совет даст, и денег даст. Со мной он больно хорош: всё мне книги разные дает. И жена его, Парасковья Яковлевна, такая же. Все наши бабы ее любят да завидуют ей. А кринолины она не носит и ходит попросту. И дети у них, не в пример нашим, такие разумные да толковые: и книжечки читать умеют, и стихи наизусть знают, и много на улице не балуют. Максим Степаныч сам их обучает да ласкает, а чтобы ударил когда — ни за что! «Я, говорит, хочу их воспитать как должно, а потом сына отдам в гимназию, а дочь — в женское училище».

Таковы-то были три брата Облупаловы.

По-моему, Максим из всех их лучше, потому, значит, он

всех больше перетерпел, и не загубил себя, и другим вреда не сделал, а хорошее дело сделал: отца призрел. Любо посмотреть на старика: делает он по своей охоте, ест что хочет, все его любят, дети Максима его забавляют, и он их тешит. Любит он и выпить, и как выпьет, целует Максима: золото ты у меня! бог тебя наградит, голубчика... Потом жену его целует и говорит: красавица ты моя писаная! Всех ты баб наших лучше. Не серди моего Максюточку, будь к нему ласковее! Потом детей их ласкает: внучаточки! куплю я вам перчаточки! постреляточки, куколки мои...

ГОРНОРАБОЧИЕ



РОМАН

Глава I

НЕВЕСЕЛАЯ ВСТРЕЧА



ы на одной из ветвей Уральских гор, в тридцати верстах от Осиновского железоделательного, чугуноплавильного и медноплавильного завода, далеко в стороне от большого сибирского тракта.

Осень еще не начиналась, потому что стоит июль месяц, но, несмотря на то, здесь стоит ужасная погода. В этом месте и в прошлом году, и позапрошлые годы не хвалились хорошей погодой: до ильина дня стоит жар, в ильин день пройдёт над горой сердитая гроза — и потом дождик, который так и идет целые две недели; а ныне грозы не было, зато дождь начался с половины июля и, хотя он идет не постоянно, но все-таки идет, то через час, то через полчаса. Ничего бы и слякоть, так опять ветры дуют холодные, солнышко не показывается. Холод, ветер и дождь не только злят людей, но и тяжело действуют на растительность: от холода желтеют листья березы, желтеет трава, от ветра огаливаются деревья. Даже животные, щиплющие здесь траву, дрожат... И говорят люди, что погода в это время год от года становится все хуже и хуже.

Тихо, а еще пять часов вечера. В иную пору, в это время, так здесь весело: можно и по грибы сходить в лес, и рабочих можно увидать: идут или едут они с рудника и поют песни, и далеко за горами раздается эхо. А теперь даже и птиц не слышно; разве сорока пролетит молча, да и та забьется в лес, скроется в ветке, стряхивая с себя дождь, чистя свой нос об ветку и злобно смотря по сторонам; спят белки, обитатели здешних лесов, или в беспокойстве перескакивают с сосны на осину, так что сухие ветви трещат; а воробышек, заменяющий здесь соловья своими песнями, тот давным-давно спит на ветке, спрятавши под крылышко свою красивую головку, и только по временам вздрагивает от ветра, холода и дождевых капель. Одни только большие красные черви, выползая из

земли, нежатся на мокрой траве; но стоит только дотронуться до травы, как червяк вмиг улизнет в ту дыру, из которой он выполз...

Вот заслышались откуда-то колокольцы. Бренчанье их заслышалось все ближе и ближе,— и вот с южной стороны, откуда идет дорога в завод, показалась тройка лошадей, запряженных в повозку, которых погонял взмахом руки ямщик, сидящий на передке. Бедные кони, кажется, измучились; ноги их скользили по глинистой почве. Дорога хотя и усыпана шлаком (нагар от медной и железной руды), но ямщик ехал стороной, вероятно, потому, что неудобно ехать по шлаку. В повозке сидит какой-то барин в горнозаводской шинели, в фуражке, тоже горной формы. Они проехали, и опять скоро тихо стало.

С левой стороны (стоя лицом к заводу) выехал из лесу по узенькой дорожке, против которой, около большой дороги, стоит столбик с дощечкой с надписью: «Ильинский рудник», на одной лошади, запряженной в худую телегу домашнего изделья, человек лет под сорок. Одет он немного лучше крестьянина: на голове фуражка, започиненная двумя заплатами из серого и зеленого старого сукна, с изодранным козырьком, в зеленом тиковом халате, который от дождя походил на черную клеенку, продранном в разных местах и опоясанном кушаком домашнего изделья, в худых больших сапогах. По русым волосам течет дождевая вода с фуражки и падает на корявое, бледное лицо и, мешаясь с новыми дождевыми каплями, течет по бороде, тоже русой, и потом падает ему на колени. Он то и дело утирает лицо своими черствыми, мозолистыми ладонями. На лице его, довольно правильном, выражались и досада, и проклятия. Он то зевал, то смотрел в лес, то кричал на лошадь:

— Ну-ка, дурак!..

Отъехав немного от столба, он слез с телеги, стегнул лошадь и пошел шагом.

Лошадь шла, чуть-чуть передвигая ноги, вероятно, потому, что она сызмальства приучена ходить так, а теперь, поработавши с хозяином вдоволь, она, знавшая хорошо эту дорогу, чуяла, что и ей скоро будет отдых: она то взмахивала хвостом, то вздыхала, то широко глядела вперед, то оглядывалась, умильно взглядывая на хозяина. Хозяин лошади то перестигал ее, то отставал от нее и тупо глядел на ее копыта: на двух ногах подков нет, на третьей подкова болтается.

— Э-эх, ты, сокол ясный, друг прекрасный! — прокричал он остановившейся вдруг лошади и замахнулся на нее.

Лошадь вздрогнула, рванулась и пошла по-прежнему.

— Экая погода-то, осподи!.. В те поры...— шептал хозяин лошади — и вдруг углубился в свои мысли, и лицо его принимало различное выражение.

— Ты, говорит, Токменцов,— подлец, ленивец, плут... На-ткось! А зачем ты меня, ваше благородье, аспид проклятый, отодрал перед тем, как мне в крепильщиках назначение вышло состоять?.. А зачем ты, стерво варнацкое, урок поставил: разе я волен, што не мог представить восьми коробов в день?.. Твоя лошадь-то? Разе лошади такое назначение выходит?.. Ишь, три рубля следует, а на́ говорит, Токменцов, дурак ты экой, семигривенной... Ну-ну, бурко миленькой, золотой, серебряной, штоб те калачиков двадцать...

Токменцов рассуждал про себя и разговаривал с лошадью.

* * *

Телега Токменцова была не пустая. В ней что-то лежало, покрытое ветхой, мокрой и грязной рогожей. Под рогожей что-то шевелилось.

— Ганька! — вскрикнул вдруг Токменцов.

— Ы! — послышалось из-под рогожи болезненно.

— Будь ты проклят, стерво! — сказал скороговоркой с сердцем Токменцов и плюнул.— На́, штоб те язвело, анафемского парня!.. Говорил я тебе, не связывайся с Пашкой Крюковым, будешь стеган — нет!.. Вставай, будь ты проклят!! — кричал Токменцов и ткнул витнем в рогожу.

— Ой-е! — простонал Ганька и открыл рогожу. Дождь шел мелкий, как мука из сита.

— Што! мало те полысали, мало? — дразнил Токменцов Ганьку. Токманцов пошел в лес, достал из пазухи кисет с махоркой и трубкой и закурил. Лошадь остановилась. Ганька, парень лет тринадцати, с бледным, худым и таким грязным лицом, как будто он, не умывавшись с месяц, рылся в земле, лежал в телеге на животе. Лицо его выражало и зло, и плутоватость, и страдание, которое выражалось часто, то охами при движении, то каким-то шепотом, то тем, что он грыз зубами рукав своей изгребной толстой синей рубахи, заполненной на спине красной выбоиной, то болтал ногами, на которых были надеты худые башмаки. При этом он больше глядел тупо на один предмет, и зрачки его глаз делались большими.

Отец опять шел около телеги.

— Тятька, дай сосну!

— Я те дам — сосну, сосун экой!

— Дай...— произнес протяжно Ганька, как дитя, просящее есть.

Отец молча дал сыну чубук с трубкой; сын затянулся раз и закашлялся.

— Туды же!..— проговорил отец и вырвал у сына трубку. Немного погодя, он спросил:— Тебя што спрашивают: подико, не больно, коли так-то стягают?

— Я, знашь, што сделаю? Подосенову рыло сверну.

— Хо-хо! Тогда так те отшлифуют, што...

— Не ври!

— Дурак ты! — И отец сел на козла.— Это, парень, все веники, а там береза будет. Учись привыкать-кавыкать (терпеть): не ты первый, не ты последний.

— Сказано: Подосенову голову сорву! — крикнул зло Ганька.

— Хо-хо... Руки коротки.

— Тятька! — закричал Ганька и поднялся. Отец посмотрел на него весело: Ганька глядит чистым дикарем, по щекам ползут слезы... Отец сжал кулаки, крякнул и, ничего не сказав, обернулся к лошади. Так они ехали молча около часа. Потом Токменцов запел грустную песню, сначала негромко, а потом во все горло:

Уж ты, гулинька, да ты мой гулененочек!
О-ох, што же ты, гулинька, ко мне во гости не летаешь?
Разе домичку моего да не знаешь?
Разе голосу моего не слышишь?
Разе мой голос встричком относит?
Али сизы крылушки частым дожжем мочит,
Разосенненьким частым споливает...

— Тятька!

— «Частым да споливает...»

— А тятька?

— Чево тебе?

— Дай водички.

— Где бы я про те припас?

Што да не ласточка по полю летает...

— Тятька!

Отец перестал петь, а только насвистывал. Потом он задумался об том, что сына его Ганьку безвинно наказали на руднике розгами. Вдруг остановил лошадь, взял из телеги топор, подошел к лесу, около которого лежало недавно срубленное дерево.

— Экое дерево-то гожее! — И он, перерубив его натрое, положил в телегу рядом с сыном. В это время из завода подходила навстречу женщина лет сорока пяти, бледная,

худая, высокая, с костлявыми руками. На голове ее надет красный платок, на синюю рубаху надет изорванный сарафан, на ногах худенькие башмаки с худыми чулками из шерсти, да на плечах мешок с чем-то. Это был весь ее костюм, а все это давно уже смокло до того, кажется, что не было и на теле ее ни одного сухого места; руки и лицо ее мокрые, по коленям текут черные полоски грязи.

Женщина поравнялась с Токменцовым и спросила:

— Ганька-то где-ка?

— Здесь, мамка! — сказал весело Ганька и приподнялся.

— Што ты парня-то не слал?

— Не слал!.. В первой, што ли!.. Не слал?!. Прытка больно: всего вон исстягали... Да ты-то куда?

— Знамо, куда! одна дорога: к главному, самому главному.

— Будь ты проклятая!..— и Токменцов плюнул.

— Чего ты ругаешься? Поди, продавал где-нибудь шарыте. Две недели где-то шатался, шатало, а без тебя чудеса делаются.

— Какие чудеса?

— А таки чудеса, што Пашку задрали.

— Ну?!.

— А так: ты уехал на рудник-то, а Пашку на Петровский рудник угнали.

— Да ведь он в лихоманке был?

— Чего я делать-то стану; поди-кось, слушают нашева брата.

Токменцов поехал, но, отъехав немного, он остановил лошадь.

— Онисья! — крикнул он. Жена его остановилась.

— Чево?

И слезши с телеги, Токменцов пошел к ней.

— Так ты чего ино: куда топерь?

— Толком говорила, што к самому главному начальнику.

— Да ты, дура, сообразила ли: ну, што ты ему скажешь?

— Небось получше твоего. Ты бы поглядел, что это было! — сказала она, злобно рванув рубаху, и вдруг заплакала.

— Ну, дура, заживет.

Онисья долго ругалась, а Токменцов стоял молча.

— Гадина ты поганая! никакого-то у тебя разума нетутка! Ну, чего ты шары-то выпучил, стоишь?

— Молчи, гадина! Сама виновата: обращения такого не имеешь, штоб без беды не прожить. Нет, небось сама суешься, суета проклятая.

— Поди-кось, какие умные речи толкуешь! А по-твоему, это дело: парня взять больнова да и стегать — што ему робить не в силу? Ну, как я узнала, что его задрали, так я и пошла к управляющему, вломилась: с какого, говорю, права можете наших робят задирать? Подай, говорю, варвар ты эдакой, моего сына, живого подай!.. Возьми, говорит, хорони его. Ах, ты, говорю я ему, разбойник ты эдакой, покарает же тебя царица небесная... А он и отправил меня в полицию... Ну, где правда?

— Знаешь, я бы не советовал тебе идти-то.

— Отчего это так?

— Оттого, што и там толку-то нет, все равно, што здесь. Скажут: стоит бабы слушать.

— А по-твоему, мне так и ходить стеганой?.. Шалишь!

— А есть ли у те пропитал-то? Это ты сообразила ли?

— Кто его, пропитал, припас? Христом-богом дойду, добры люди накормят.

— Мамка, и я с тобой!

— Я тебе дам! Мало еще тебя стегали?

Дело в том состояло, что в отсутствие Токменцова сына его Павла, шестнадцати лет, называвшегося по-заводски подростком, взяли хворого на рудник и там за какую-то вину наказали розгами так, что он на четвертый день умер. Узнавши об этом, мать и пошла к управляющему, но ее за грубые выражения наказали розгами. Теперь она отправилась с жалобой к главному начальнику горных заводов. Токменцов положительно стал втупик от намерения жены. Оба они люди бедные, пропитание они достают с помощью лошади и детей, которые получают провиант: стало быть, у них одного работника не стало. Даже и тогда человеку рабочему становится горько, когда у него умрет лошадь, а теперь разве ему не горько, что одного сына задрали, а другой тоже, может быть, не избегнет этой же участи? Но он боролся с тем, что будет ли толк какой от жалобы жены и не будет ли ему от этого хуже; а на это он имел десятки фактов.

— Ты бы, Онисья, подумала, что сделали с Фитулихой?

— Сам плох, так и не подаст и бог. Известно, разиня.

— Ой, Онисья, плохо будет: наживешь ты со своей жалобой беды.

Онисья представила себе положение вдовы Фитулиной, которая своей жалобой не только не помогла делу, а все испортила, но зато у нее не задрали сына, ее не стегали.

— Про это я сама знаю.

Онисья долго стояла, думая: идти ли ей в самом деле? Кто его знает: Иваныч ровно правду говорит, да как же они

смеют! Пойду! — сказала она громко и сердито,— и пошла наша Онисья, а муж ее, задумавшись, ехал в завод. Он так был зол в это время, что попадись ему навстречу какой-нибудь надзиратель, он избил бы его так, что тот на всю жизнь бы калекой сделался. Ганька несколько раз что-то спрашивал у него, но не добился ответа.

* * *

До завода верст десять осталось. Лес начинает редеть; около лесу, по обеим сторонам дороги, во многих местах навалены дрова-долготье, в нескольких местах видны черные большие круги на земле; в двух местах жгут кучонки: кучи в два аршина вышины и в полтора ширины, обваленные свежей землей, и из этих куч в боковые отверстия идет дым. На одной куче стоят двое рабочих в рубахах и скачут — это они убивают горящие под землей дрова, а третий большой ступой бьет с одного боку кучу,— это он садит на т о в а р дрова. В другой куче в середине сделался провал, отчего пламя высоко поднималось. Двое рабочих бросают в середину дрова, а третий кидает туда земли, или з е р н и т. Между этими кучами стоит балаган — род пирамидального трехстенного шалаша, в середине которого разложен огонь. Из третьей кучи выбрасывают золу, землю и ломают длинные толстые угли: один рабочий бьет лопатой, другой граблями отдергивает мелкие угли; третий и четвертый накладывают угли в телегу, пятый уже далеко едет на завод. Это рабочие справляют куренные работы. За семь верст от завода, которого еще не видать, потому что местность идет ровная, а дорога повертывает налево и идет между мелким, редким лесом,— в этом месте попадаются запоздалые коровы, щиплющие траву, попадаются овечки, облизывающие друг друга и как-то болезненно смотрящие по сторонам. Дождь то переставал, то шел снова... Вот откуда-то послышалась заунывная протяжная песня и смолкла опять, а Токменцов сидит все злой, и чем ближе подъезжает он к заводу, то он становится злее.

Гаврила Иваныч Токменцов, как и другие его товарищи, принадлежал наследникам Граблева и назывался непременным работником, как назывался и покойный отец его и как будут называться и дети его. Рос он, как и прочие росли. С тех пор, как он мог ходить на своих ногах, он летом постоянно был на улице и вполне приучался к заводской жизни: сначала валялся в песке и грязи, потом стал бегать по этой грязи и песку в рубашке, без штанов и обуви, потом стал

играть, был бит от старых и малых и сам приучался драться, и, между прочим, уже восьми лет владел топором, учился косить траву, умел высверливать на шариках дырки, запрягал и распрягал лошадь, так что физические его силы быстро возрастали и крепли. Бывши мальчуганом, он слыл за отличного бойца и ловкого плута, умел обругать кого угодно так же, как ругается и его отец, усвоивший ругань тоже с детства, и с терпением переносил розги, которых пришлось ему принимать еще очень много. Отец его был крепкий раскольник беспоповщинской секты, но Гаврила Иваныч считается православным; впрочем, в церковь он ходил только в самые большие праздники. В кругу товарищей он уже давно приучился курить табак и потягивал водку. Попавши с двенадцати лет на рудники, под именем малолетка, он уже походил на рабочего: например, он работал на конной машине, погоняя лошадей, таскал в тачках песок, угли и тому подобные вещи. Таким образом, находясь постоянно на работе и сталкиваясь с людьми, он уже в это время не уступал ни речами, ни манерами взрослому рабочему и не был такой сонливый, какими кажутся наши крестьянские парни. В обществе товарищей он изощрялся и сам своим умом на остроты, насмешки; услыхав от механика-иностранца иное непонятное слово, он вместе с товарищами прозывал этого механика мудреным словом или складывал песни, пародию на управляющего, прикащика или исправника. Понятия его были так же ограничены, как и у всех, и хотя он родился в раскольнической семье и умел читать и писать, но знал столько же, сколько и другие знали, потому что ему неоткуда было приобрести больше знаний, да он, правда, и сам не нуждался в этом. Попавши в рабочие и проработавши с год, он узнал, что значит быть горнорабочим: прежде хотя и трудновато было, хотелось играть, и дирали на славу за лень, и в шахте приходилось ползать с тачкой на коленях, но все же было как-то легче; теперь он настоящий рабочий: его посылали на работу вместе с прочими, и если урок не выполнялся, его и товарищей драли или обижали провиантом, деньгами. Нисколько не отличаясь от обыкновенных рабочих, он был, надо сказать, человек честный, практический и по заводу не глупый. Одно только водилось за ним: он, как и другие, потаскивал полосы железа, которые потом продавал, таскал свечи сальные из рудников; но, как мы увидим дальше, этого ему и нельзя было ставить в особую вину.

На Онисье Кириловне он женился на двадцатом году. Женился, конечно, по любви: он был уже взрослый парень, с Онисьей он рос вместе, вместе играл до пятнадцатилетнего

возраста, а потом обращался с ней по-своему: то щипнет, то воду прольет, та отделывалась от него бранью и колотушками. Кроме этого, его побуждало жениться еще то: он будет сам хозяин, будет получать четыре пуда провианта, и на детей пойдет тоже провиант. Онисья росла в бедной семье и выросла, как и прочие заводские девушки: научилась домашнему хозяйству, умела косить, лошадь запрячь и ездить верхом на лошади, умела шить и вязать чулки. По умственному развитию она была все-таки ниже мужа: в девушках ей не приходилось слышать от старших много хорошего; вышедши замуж, она сначала работала вместе с мужем около рудников, а потом она стала водиться с детьми; а известно, что рабочему человеку, занятому домашним хозяйством и детьми, заботы много, и думать о чем-нибудь приходится разве за чулком, да и тут от ребяческого крика не много надумаешь.

Онисья Кириловна была хозяйка хорошая, и, если бы не рожала детей, она бы непременно стала работать с мужем, как это часто делают многие женщины на заводах и промыслах. Но теперь у нее есть дочь восемнадцати лет, Елена, которая помогает ей в хозяйстве; было трое сыновей: Павел шестнадцати, Гаврила тринадцати и Николай пяти лет, из которых Павла задрали на руднике. Павла она любила больше других детей, и потому ей очень тяжко было, когда его несправедливо взяли больного на рудник и там задрали; тем более тяжко, когда за правду ее же наказали.

Но будет ли какой прок из ее жалобы? Мысль об этом мучила Гаврилу Иваныча, который хотя и имел со всеми рабочими большую антипатию к начальству, но трусил, как и все трусят, что главный начальник не выслушает жалобу от бабы, а управляющий или прикащик сделает не только бабе пакость, но достанется и мужу. «Ну, будет что будет! бог не без милости!» — подумал Токменцов и вздохнул; на душе сделалось немного полегче.

Глава II

ОСИНОВСКИЙ ЗАВОД

Читатель, вероятно, заметил, что наш рассказ начинается еще до воли. Предупреждаем его также, что Осиновский завод не может быть отыскан на карте, а имя владельца не найдется между нынешними владельцами.

Еще не доезжая до завода большой дорогой верст пять, глазам новичка в этом деле представляется красивая картина.

Вы спускаетесь вниз с пологой возвышенности, направо сперва покосы, ничем не огороженные, потом кустарники, обгорелый редкий лес, а за ним поднимаются горы и пригорки; налево лес, сосновый и березовый, скрывающий виды, а впереди — сначала показываются мелкие кустарники, на пространстве в несколько верст, леса разных пород, преимущественно березовые и осиновые. Дорога сначала идет прямо, потом скрывается в лесу, а далее, смотря все вперед, на огромном пространстве лес, то опускаясь, то поднимаясь, то зеленый, то черный, то, в местах, красный от пожара, с дымом, стелющимся по большому пространству,— дает чудную картину. За пять верст отсюда, через кустарники и лес, видятся три каменных церкви с тусклыми куполами, серыми стенами, и вокруг них дома, каменные, крашеные, серые и черные; в середине этой массы серая полоса — пруд, скрывающийся налево за лесом. Высокая, голая гора Лапа, возвышающаяся за домами, идет как будто полукругом; вдалеке — верст за пятнадцать от завода — около горы тянется извилинами речка, как будто исчезающая далеко в горе; и серый густой дым, возвышающийся из одного большого здания с красной круглой крышей, стелется над строениями, тесно скученными на пространстве верст пяти по глазомеру. Это — Осиновский завод. Завод с этого места имеет вид неправильного пятиугольника, и дома то поднимаются кверху, то опускаются вниз — по неровности места. Дорога идет по косогору, лес становится реже, на спуске невысокий кустарник, потом начинаются огороды, недостроенные дома, ничем не огороженные; дальше дома стоят теснее и теснее друг к другу, с небольшими заплотами. Дорога идет налево. Дома лепятся по косогору и принимают горнозаводский вид — с дощечками над воротами, означающими фамилию хозяина дома, и дощечками над окнами, с годом, означающим время постройки дома. Дома одноэтажные, с двумя, тремя, пятью окнами, высоко сделанными от земли, с выбеленными и раскрашенными разными кружками, крестиками, ставнями, с пожелтелыми и черными воротами и заплотами. Это — н о в а я с т о р о н а. Через лог и небольшую речку улица идет по глинистой почве, которая после дождя засыхает только в сильные жары. Опять улица немного поднимается; здесь место идет ровное.

На этой улице, называемой Большой Заводской, налево стоит питейный дом. Около его толкутся человек шесть рабочих в зеленых и серых зипунах. Они о чем-то спорят.

— Здорово, братцы! — сказал Токменцов, подъехав к ним Он слез с телеги и, подошедши к ним, снял фуражку.

— Э! — откликнулся один рабочий.

— Не слыхал, што Подхалюзин сотворил? — спросил Токменцова другой рабочий.

— Што?

— Наташку Никулиху в острог представил.

— За што?

— Фальшивую бумажку нашли.

— А мы хочем показать, што эти бумажки сам Подхалюзин робит.

— Тоже. А нет ли, братцы, пятачка?

— То-то што — в монетном куют, да нам не дают,— сострил молодой рабочий. И они взошли в кабак. Оказалось, что четверо из них были куренные рабочие, а два мастеровые, занимающиеся в самом заводе столярным ремеслом. Один столяр заложил зипун, взял полуштоф; за водкой стали разговаривать крупно о разных делах, подправляя разговор остротами, закричали и, взявши в долг еще полуштоф, запели и заплясали. Пели они вот какую песню:

Штаники суконны.
Панталоны волоконны!
Ах, казаки десятники,
Варнаки шкурятники!
Положили выдрали — и т. д.

Плясали свой самодельный заводской танец. Казалось, они были веселы, но на душе у Токменцова невесело было: от водки он сделался еще злее, веселье товарищей его бесило, сердце как будто что-то щипало.

— Савелий Игнатьич! поверь в долг,— говорил он сидельцу.

— Не могу.

— А, дуй те горой! Ведь у него сына задрали.

— Ей-богу, не могу.

Так-таки Токменцову и не пришлось выпить. Он обругал сидельца, товарищей и вышел злой из кабака, неизвестно почему ударил сына по голове, стегнул крепко лошадь и тронулся, а рабочие, обнявшись и шатаясь, шли за ним, напевая:

— Мости, миленькой да дружочек...

Он уехал... Стали попадаться переулки, улицы, кривые и грязные; дорога усыпана шлаком; дома красивее. Токменцов проехал уже четыре каменных одноэтажных дома, десять полукаменных, несколько обитых досками и выкрашенных желтою краскою, с садиками перед окнами, с красными и голубыми крышами, одну церковь. Вот выехал он в самую лучшую часть города: впереди, направо, завод-

ской собор, за ним виднеются серые фабрики, а дальше гора Лапа. Здесь улица шире, черная дорога убита хорошо, есть деревянные и каменные тротуары. Налево — большой двухэтажный господский каменный дом, с каменными флигелями, с чугунными решетками, садом, выходящим на озеро, на котором сделана купальня,— и все это занимает большое пространство; направо большой собор, довольно красивый, с садом вокруг и чугунной решеткой; против собора заводская полиция и главная контора, между ними — площадь с гостиным двором, против которого в пятиоконном деревянном доме помещается Осиновская почтовая контора. Здесь есть и фонари, зажигаемые, впрочем, во время пребывания здесь начальствующих лиц горного ведомства.

Это называется запрудская сторона. В ней живет все высшее управление Осиновского завода с его округом, семь тысяч людей обоего пола, из которых до двух тысяч мужчин, подростков и мололетков составляют чисто горнорабочий класс. Две трети жителей этой стороны принадлежали казне, остальные — владельцу завода.

У ворот господского дома, в котором живет управляющий граблевскими заводами, стоит будка. В будке сидит караульный осиновец и починивает сапог; из улицы выехали рабочие с углем. Шедшие рабочие, поравнявшись с господским домом, снимали фуражки и шапки.

За господским домом начинается плотина, идущая на полверсты, запруживая озеро, имеющее длины шесть верст и ширины от одной версты до трех верст. Это озеро называется по-заводски прудом. Налево, впереди,— озеро, скрывающееся правее в углу за лесом, направо — заводские здания, большие, серые и почернелые от дыму и углей каменные флигеля с круглыми и обыкновенными крышами. Это фабрики: кричная, раскатная, доменная, кузнечная,— с высокими трубами, из которых постоянно выходит дым густыми черными и серыми клубами. Дорога здесь черная от сыплющихся во время ветра углей из фабричных труб и углей, падающих с телег, в которых их возят на угольный двор, находящийся позади фабрик. Около кузнечной фабрики сделаны большие весы, а над ними в башенке висит полупудовый колокол, которым скликают народ на работу и по которому прекращают работы. Сквозь фабрики через плотину проходит небольшая речка. Весной, во время спуска воды из пруда, она становится удобной для сплава каравана с металлами.

За плотиной опять продолжаются заводские строения, левее от горы Лапы,— то старозаводская слобода. Если стать посередине плотины лицом к озеру и посмотреть

направо и налево, то с первого же раза бросается в глаза различие двух приозерных сторон. На левой стороне у берега — сады, и над ними высятся то каменные, то полукаменные дома, то крашеные крыши, видны беседки в огородах, движение по воде около берега; на правой же стороне бросается в глаза черная масса кое-как наставленных угрюмых домов — маленьких, ветхих; огороды ничем не огороженные, с банями без крыш. Задние постройки, вмещающие в себе амбары, погреба, сараи и т. п., так крепко пристроены друг к другу, что с одного конца до другого можно свободно пройти по крышам.

Токменцов въехал в узкую грязную улицу. Он проехал много домов, а переулков нет. В этой слободе только одна улица, которая тянется вдоль по озеру и идет не прямо, а разными извилинами. Здесь дома ветхие, покачнувшиеся направо и налево, подпертые, с двумя окнами и со ставнями, ничем не окрашенными.

В этой-то слободе и живет Гаврила Иванович Токменцов в числе человек тысячи населения, которое, называясь непременными работниками, принадлежало наследникам Граблева.

Вот и Токменцова дом на левой стороне, с двумя окнами на улицу, с высокой крышей, покачнувшейся на правый бок, с воротами; на дворе, около задних построек, стоит высокий шест с будочкой, или просто — скворешник.

Глава III

ОТЕЦ И ДОЧЬ

Елена Гавриловна, по-заводски Оленка, была ростом невелика. Говорили соседи, что она по глазам походит на отца, ртом и носом на мать, но ее бабушка говорила всем, что она ни на отца, ни на мать не походит, а вся вылитая как есть в нее, бабушку. Она и действительно не походила на родителей, а Онисья Кириловна доказывала по-своему: что она только махонькая походила на нее, а как сделалась эдакой дылдой, то стала походить черт знает на что, и сетовала, что дочка сделалась какая-то подхалюза и белоручка.

Олена сидит у окна и вяжет чулок, сидит она босиком, сложивши левую ногу на правую. На ней надет сарафан из синей изгребины, и хотя этот костюм, прошитый по бокам красной тесьмой, с узорами на груди, довольно беден на вид, но он прост и опрятен. Елена Гавриловна девушка вполне здоровая, но на лице у нее нет румянца, который бывает у

женщин, много работающих на воздухе, на стуже и на жару, около печи, много спящих и много кушающих. Положим, и Елена Гавриловна работала на покосах, но немного; а лишь только она могла ходить, то росла так же, как и ее уважаемый родитель, Гаврила Иваныч: подобно ему, она так же бегала по улице с ребятами обоих полов и разных возрастов, так же она играла с ребятами в разные игры, даже в бабки, в городки и даже в змейки, так же она прежде бегала в одной рубашонке, постоянно грязной, которую она частенько задирала на голову; такая же она была замарашка, с белыми распущенными волосами, некрасивая; но теперь старики, глядя на нее, говорят: «Какая ты, Олена, красивая да опрятная стала! сичас хоть под венец...» Но, собственно говоря, вы красоты в ней большой не заметите: лицо с веснушками, бледное, но довольно правильное, чисторусское, а не какое-нибудь с татарскими или зырянскими пятнами или уклонениями, потому что их деды были русского происхождения, или, если шли от каких-нибудь инородцев, то, со временем, их формы лиц сложились в обычный тип горнорабочего человека,— высокий, крепкий и сильный в первое время молодости. Волосы у нее пепельного цвета, длинные, их она заплетает в косички, а потом вокруг головы и закрывает платком, когда ходит по улице, а дома их она никогда не закрывает. Она находит, что платок ей больше нравится, чем какая-нибудь сетка, которую она надевает в самые большие праздники. В дополнение к ее костюму надо еще прибавить, что в ушах у ней вдернуто по сережке, которые состоят из янтаря в медной оправе наподобие колокольного языка, а на правой руке, на среднем пальце, надето оловянное кольцо, принадлежащее ее матери. Вязанье тихо что-то клеится. Она то вздохнет, то задумается, сидит минут пять и смотрит в угол, то опять вздохнет и погладит большого бурого кота, наслаждающегося созерцанием, как на улице по грязи бродят овечки, то запоет протяжно заунывную песню:

Все-то ноченьки млада просидела.
Ах, одна-то думушка с ума нейдет,
Не с ума нейдет, не с разума.
Прогневала дружка милова:
Назвала его горькой пьяницей
Да несчастною...
Мое-т миленький да о-ей
О-осердился.
Он уж больше ходить-то
Да не станет,
Дороги те подарки он носить мне
Перестанет...

Как видно, эту песню она очень любила, потому что, кончив ее, она опять пела ее же — и пела с каким чувством!..

Детство ее прошло не очень-то весело. Его можно разделить на две различные половины по развитию: первая заключалась в том, что она была предоставлена на произвол окружающих ее личностей, во второй — она принуждена была подчиниться влиянию матери и своей семьи. С самого раннего возраста, т. е. с тех пор, как только она перестала сосать материнскую грудь, она оставалась на произвол судьбы. Она была первое дитя и один ребенок в доме. Кормивши ее грудью один год и чувствуя скорое рождение нового ребенка, мать бросила ее, предоставив бабушке, которая, при всей своей нежности к ребенку, не могла, по грубой своей натуре, удовлетворять капризам ребенка, ласкать его не умела и часто потчевала шлепками по чем попало; часто случалось, что ребенок надоедал старухе, занятой постоянными лечениями и в особенности повивальным упражнением в старой слободе, а мать была занята или хозяйством, или носила мужу на рудник пищу, так что ребенок оставался назаперти в зыбке и ревел целый день, а иногда и целую ночь. Случалось ей и оставаться на полу или на лавке и в этом случае или падать с лавки, или стукаться головой о ножки стола, о печку и тому подобные вещи. Родился другой ребенок, за девочкой уже не стали так хлопотать, как прежде, и ее часто оставляли голодать и колотили старшие в сердцах и отец под хмельную руку. На четвертом году девочка уже бегала по улице. До девятого года, предоставленная себе, девочка находилась решительно под влиянием товарищей, и как мальчики, так и она, усвоивала себе их манеры и понятия вместе с играми; но в это время она уже справляла в своем семействе коечто: качала зыбку, таскала братьев, играла с ними, выносила помои, мела и мыла пол в избе, давала корове сена, загоняла во двор овец, ходила в лес по ягоды и по грибы с ребятами; потом ее стали приучать — вязать, стряпать, шить, заставляли петь при гостях песни. Наконец, она и совсем выросла; на нее уже смотрели как на девушку-невесту и требовали точного исполнения всех ее обязанностей. Теперь она умела все делать, чему ее учили, и она очень хорошо знала, что впоследствии выйдет замуж и будет сама рожать детей,— это везде в простом быту, где не стесняются никакими выражениями друзья-приятели и хорошие знакомые, дети знают очень рано. Бабушка ее была раскольница. Поэтому она требовала от зятя, чтобы он ее выучил читать и писать. Отцу было не время, мать грамоту знала плохо, а бабушка говорила, что ее хотя и начал учить муж, уже за-

мужем, но она, кроме азбуки, ничего не поняла. Поэтому девочка выучила дома только со слов азбуку, а играя с ребятами, она кое-как выучила склады — и то по церковной печати. Так она знала читать до двенадцатилетнего возраста, а с этого времени, занимаясь постоянно чем-нибудь, она позабыла грамоту, кроме аз, буки да веди. Хорошо еще, что у нее есть подруга на запрудской стороне, умеющая читать и писать, но она дочь штейгера, к ней Елене приходилось ходить чуть ли не раз в год, и тогда о грамоте не было помину, да и Елене, вырвавшись из дому, хотелось только петь и плясать. Только в этом году, когда умерла жена штейгера и подруга Елены просватана замуж, Елена ходит туда чаще, просиживает по суткам и между делом учит грамоту снова. Только она умеет читать по складам и писать печатно большие каракули.

Отец о нравственности своей дочери не заботился, да и ему в голову никогда не приходило, чтобы дочь могла избаловаться, потому, во-первых, что дома он жил редко, а во-вторых, она была смирная и при нем всегда была дома. Правда, он поговаривал: выдать бы ее замуж,— но за своего брата, рабочего, ему было жалко выдать, потому что он знал, что жизнь рабочего — жизнь очень тяжелая; писарей заводских он и терпеть не мог; за хорошего человека он ее выдать не мог, потому что был беден да при том непременный работник. Так этот вопрос и был им покончен, до поры до времени. Мать же строго следила за дочерью: если куда-нибудь дочь уходила, она бранила ее и попрекала чем-нибудь; если она разговаривала с молодым мужчиной, мать опять корила ее целые сутки, а об гуляньях и помину не было. Работать ей самой на себя было дело невозможное, потому что она заправляла в доме почти всем хозяйством; на рудник пустить ее боялись на том основании, что девушке с рабочими работать неудобно; работать дома на продажу было нечего, потому что в каждом доме женщины шьют одежду на себя и на семейства сами, а на рынке изделий и без осиновских произведений много.

Елена часто думала о своем положении: что из нее выйдет? Часто вспоминая девические игры и куклы и припоминая разговоры отца, матери и разных родных и знакомых, она давно понимала, что ее назначение — быть женой, а разговаривая с подругами, она поняла, что такое муж и жена, но только все еще не понимала, что такое любовь и как можно сойтись так, чтобы выйти замуж. Но мысль об этом не давала ей покоя, когда она оставалась одна: юная кровь ее волновалась, приливала к голове, в голове бродили какие-

то несвязные думы, сердце билось сильно. Она не понимала, что происходило в ней, и при виде молодого человека в сюртуке, с которыми ей на старослободской стороне встречаться случалось редко, она потупляла глаза, сердце билось еще сильнее, а если ее ущипнет старозаводский парень, она хотя и отругивалась и отмахивалась, но ей делалось как-то неловко; она скоро убегала, а во сне ей мерещились вечорки, свечи свадебные, что она где-то в большой церкви стоит такая веселая, разодетая, народу много и слышит она говор: Оленку Токменцову-ту, вон энту, венчают сегодня...

Мать ее часто замечала, что она нынче что-то часто сидит без дела, сложа руки, и уж доставалось же Елене! Но она все переносила, только мать увеличивала за ней надзор; но может ли тут иметь силу надзор, когда человек только что начинает любить?

И такое дело тоже не минуло Елену Гавриловну, и случилось очень просто.

Была она как-то у своей подруги на вечорке. На вечорке было штук восемнадцать молодежи обоего пола, а наши народные, особенно заводские, вечорки редко проходят без песен, плясок и поцелуев; таковы уж наши песни и обычай. Родители сами дают детям волю, потому что хорошо знают, что на вечорках играют больше женихи и невесты (еще не помолвленные): из десяти человек непременно пять женятся или выйдут замуж, да и девица, кроме вечорки, ни за что не дозволит себе дать поцеловать ее чужому человеку. На вечорках с Еленой очень часто танцевал столоначальник главной конторы, Илья Назарыч Плотников, человек 23-х лет. Лицо его было хотя и некрасивое и немного попорчено от ушиба, но он так маслено-любезно глядел на нее своими черными глазами, так умильно улыбался, что она постоянно краснела от его пожатий, улыбок и поцелуев. Еще никогда она не была в таком настроении, никогда не волновалась так, не билось так сильно ее сердце, что она сама не могла понять, что с ней делается... «Господи! что это со мной стряслось? — думала она,— ведь я плясала же с другими, и с приказными, и с парнями, и ничего, а тут... оказия!..»

Плотникова она с этих пор не видала долго, а увидала его на гулянье в господском саду, куда она зашла совсем случайно: мать послала ее на рынок; шла она мимо сада, смотрит — народ туда идет. Хочется посмотреть, что там делается, да одета некрасиво: ну, да и хуже меня ходят,— и зашла. Вдруг подходит к ней Плотников; на нем пальто

то блохи, то клопы кусают... «И что это со мной диется? Прежде ровно они, проклятые, не кусались... Ах бы, поскорее увидать его... Нет, не надо... Ай бы да поговорить... Нет, увидят; в саду бы...»

Плотников что-то часто стал прохаживаться по слободе, так что это заметили рабочие: «Обломаем же мы этому долговязому ноги! Ишь, нюхает што-то: верно, к Токменцовой Оленке подбирается, гад поганый». Однако его еще никто не побил, и Елена Гавриловна видела его нередко.

Мать ничего не знала; она целые две недели бегала из дому: то за Павла хлопотала, то по начальству бегала; теперь она ушла из дому, сказав дочери, что идет к мужу.

Сегодня в сумерках Елена Гавриловна, как мы видели, сидела у стола скучная и чего-то дожидалась. Вдруг идет Плотников; дрогнуло у нее сердце, не стерпела она и отворила окно, чего никогда не делывала. Плотников ей поклонился.

— Куда вы это ходите? — спросила она Плотникова.

— Тетка у меня тут живет у озера: Коропоткина.

— Знаю.

— Вы одни?

— Да.

— Можно зайти?

— О... нет!... Право, боюсь.

— Ничего,— и он пошел к калитке.

Закраснелась Елена Гавриловна, подумала: «Зачем он?» — и пошла на крыльцо, надев предварительно на ноги башмаки. Во дворе, крытом навесом, лежала на полу, сделанном очень давно из досок, корова, неподалеку от нее лежали овечки, направо поленница осиновых и березовых дров, налево, в углу, около стайки, опрокинуты сани, долгушка, начатая на продажу нынешним летом, но неоконченная, и разный хлам: колеса, жердочки, чурбаны, верешак, а посреди двора, на веревочке, протянутой через весь двор, развешаны разных величин тряпки. На крытое же крылечко нужно подниматься четырьмя ступеньками. На крылечке рогожа, а в углу повешен глиняный чайник, служащий вместо умывальника. В сенцах, захломощенных кадушками, тулками, вениками, ведрами, сельницей, довольно чисто.

— Здравствуйте, Елена Гавриловна! — сказал Плотников.

— Здравствуйте,— едва слышно сказала Елена Гавриловна.

— Как поживаете?

черное новенькое, шляпа, сапоги со скрипом, в одной руке тросточка, в другой папироска. Стыдно сделалось Елене, что она такая ненарядная.

— Здравствуйте, Елена Гавриловна,— проговорил он ей и протянул руку.

Елена Гавриловна закраснелась; руки ей дать не хочется; бежать хочется, да народу много.

— Здравствуйте. Вашу ручку прелестную.

Еще того стыднее сделалось Елене Гавриловне. Народу идет много, все равно на нее глядят: она такая ненарядная, а он...

— Здоровы ли вы?

— Здорова...

— Пойдемте гулять.

— И, нет... как можно!

— Хотите орешков?

— Покорно благодарю.

Плотников достал из кармана пальто мелких кедровых орехов две горсти и дал их Елене Гавриловне; та не знала, куда ей деться с орехами, потому что у нее не было в сарафане карманов. Плотников как будто издевался над ее неловкостью, но она этого не заметила.

— Вы где живете? — спросил он девушку. Та рассказала.

— Можно к вам зайти?

— И, нет!.. Узнают наши, так и вам, и мне достанется. Прощайте.

То ли от радости, что она увидала Плотникова, то ли от чего другого, она, не помня, пришла на рынок и, вместо полфунта соли, купила фунт, а перцу купить позабыла. Шла она домой как помешанная, не зная, что с ней делается, но пришедши во двор, она все-таки успела спрятать оставшиеся орехи под крылечко.

Через четыре дня после этого Елена Гавриловна сидела у окна с работой. Мимо окна шел Плотников; увидев ее, он снял фуражку и прошел мимо. Лицо Елены Гавриловны вспыхнуло, она ушла на крыльцо и стала как вкопанная, так что мать закричала на нее:

— Што ты, шкура барабанная, стоишь-то?

Елена Гавриловна вздрогнула и сказала:

— Ничего.

— Пошла в избу, вынь из печки-то горшок. У!

И обидно же Елене Гавриловне сделалось, что мать ее горя не знает, а какое горе у нее — она не может сообразить прямо; и досадно, что ей не удалось поговорить с Ильей Назарычем, ночью она была как в бреду и пролежала до утра:

— Ничего.

— Где же ваши-то?

— Мать ушла к отцу на рудник.

Они вошли в избу. Изба состояла из трех окон: два на улицу, третье во двор; в переднем углу стол стоит, а в самом углу — четыре иконы медные и перед ними божничка, т. е. полочка и лампадка; перед окнами две лавки; на стене приклеена картина страшного суда и два другие лубочные изображения; в углу налево стоит шкафчик с посудой; большая русская печь, с приступками, корчагами, кринками, лопатой деревянной и ухватами, занимает четверть избы; против печки большие полати, под ними, против печки, стоит двухспальная кровать с плохонькой периной, двумя подушками, стеганным из различных лоскутков одеялом; над кроватью, в углу, висит сарафан, сермяга и большая шапка; под кроватью красный небольшой сундучок. На полу постланы половики изгребные, прибитые к полу гвоздиками.

— Насилу-то я попал к вам.

— Садитесь, гости будете.

— А ведь вам, чать, скучно?

— Ой, и не говорите...

— Как же вы одни-то теперь спите?

— Ничего.

Она врала: ей очень было скучно, она боялась, чтобы кто не убил ее, особенно в последнее время — ее пугали по ночам даже тараканы.

— Что вы поделываете?

— Чулок вяжу.

— Елена Гавриловна...

— Чего?

— Я весь измучился об вас... Не поверите: просто бы все так сидел с вами да на вас глядел.

— Ой ли?

— Ей-богу. Елена Гавриловна!

— Ну?

— Я люблю вас,— и он обнял ее, но она оттолкнула его, так что он чуть не свалился с лавки

— Отстаньте!

— Я люблю вас.

— Поди-кось, так и поверили! Эк, дуру какую нашли. Коли сидеть хотите, так смирно сидите, а то свистну по чему придется.

— Экие вы жестокие! — и он взял ее за руку.

— Вам русским языком-то говорят! — и она ударила его по руке.

В это время щеки у нее сделались красными, грудь поднималась, она говорила не своим голосом.

— Матушка, Леночка, друг...— шептал Плотников; он сильно обнял Елену Гавриловну и поцеловал ее.

— Ой! — и она, вырвавшись, убежала к дверям и сильно крикнула: — Негодный человек вы после этого! — и она заплакала.

Плотников испугался; хотелось ему обласкать Елену, но она и слушать его не хотела.

— Уйди ты от меня, аспид проклятый!.. Ну, как я теперь в люди покажусь?

— Еленушка!

— Я, ей-богу, закричу!

Плотников пошел к двери.

— Прощай!

Она молчит.

— Прощай! — и он пошел.

— Илья Назарыч! — сказала она громко, но голос ее дрожал, и дернула его за сюртук; дернувши, она побежала к окну и, как ни в чем не бывало, села на лавку.

— А!

— Нет, я ничего... А вы никому не скажете?

— Никому. Поцелуемся!

— А вот! — и она показала ему кулак.

Кажется, Плотникову можно бы было уйти, потому что он завладел Еленой, но ему этого мало было: ему хотелось, чтобы она его сама поцеловала, но она никак этого не хотела, и когда он еще обнял ее раз, она наотрез сказала, что выгонит его, а целовать его теперь не будет, потому что грех. Так как это продолжалось часа два, то влюбленные сидели уже со свечой сальной, которую принес с собой Плотников. Бог знает, сколько бы они просидели, только скоро подъехал отец. Увидев с улицы, что у дочери огонь, он почему-то вздумал взглянуть с улицы в окно... Ужас его был неописанный, но он сдержался.

Глава IV

СУД ОТЦА

«Час от часу не легче!» — проговорил он про себя и стал отпирать ворота. Скрип от ворот влюбленные услыхали но Плотников, однако, нашелся скоро: огонь потушили, а он, выскочив в окно, побежал по улице. Токменцов стоял в воротах с поленом. Как только пробежал мимо Плотников, он бросил за ним полено, но полено не попало.

— Я тебе, подлому человеку! Попадешься в другой раз!.. Собаки, усь! усь! — и вмиг залаяли две собаки, за ними шесть, и залаяли все двести старослободских собак, а десять пустились вдогонку за Плотниковым.

Ганька ничего не понимал и кое-как вполз в избу. Вошел в избу и отец.

— Оленка! — сказал он.— Вздувай огонь!

Вздула Елена огонь на лучину; оставшуюся свечку от Плотникова она успела спрятать, а отец об ней позабыл.

— У, подлая! — подошел к ней отец и ударил ее крепко по спине, так что она чуть не упала на пол. Она заплакала.

— Пореви! У! будь ты проклятая!.. Делай завариху, гадина! Есть щи-те?

— Не варили...

— А! все с любовником-то со своим стрескала?

— Тятенька...

— Поговори еще! Осподи, что за напасти! Экой я грешник такой!.. Да будьте вы все...— и он, плюнув, вышел во двор распрягать лошадь.

Поспела завариха, состоящая из ржаной муки, разведенной в горячей воде в чугунке, и сгустившаяся в глиняной латке над огнем, разложенным на шостке. Елена постлала на стол изгребную скатерть, принесла кринку молока, ковригу ржаного хлеба и потом латку с кашей-заварихой. Сняв халат, сапоги, оставшись в рубахе и штанах и перекрестившись, отец сел молча с Ганькой за стол.

— А ты?

Села и Елена. Отец привез с собой полусальную свечу, доставшуюся ему из рудника, и, воткнув ее в середину заварихи, стал наблюдать, как растапливается сало; потом семейство стало кушать, запивая молоком. Отец с сыном ели с аппетитом, но Елена не могла есть: ее душили слезы, слезы не наружные, а внутренние. Кто когда-нибудь бывал в страшном горе и не имел возможности плакать при людях, тот знает эти слезы; человек сидит сам не свой, не чувствуя, что кругом делается, в голове словно туман, только и вертятся какие-нибудь два слова; предметы, на которые он смотрит, кажутся теперь или увеличенными, или уменьшенными,— и глотает человек что-то горько-соленое, а грудь ему давит, сердце бьется сильнее... И сколько страданий выражается на лице и в глазах Елены! То ей кажется, что отец, вместо того чтобы почерпнуть деревянной ложкой кашу, хочет ее ударить, и она вздрагивает, то ей убежать хочется из дому куда-нибудь далеко-далеко или уйти в сарай и там выплакать свое горе.

Сидели все молча. Ганька ел много, как голодная собака, и бессмысленно глядел то на сестру, то на отца. Он не понимал, зачем отец обзывает Оленку нехорошими словами и ни с того ни с сего ударил ее.

— Оленка! ты чего не жрешь? — спросил он сестру с участием.

Отец промолчал, Елена хлебнула ложку и опять перестала есть.

— Пошла прочь! — заревел отец.

Елена встала боязливо и потихоньку, боком, пошла к печке и стала, как статуя. Наружные слезы не шли у ней по лицу.

А Токменцов ест за двоих; уже одна ложка осталась заварихи, и та съелась. Задумался отец, подперев подбородок, и молиться не стал. О чем он думал? Мысль его не останавливалась долго ни на чем. Ему припоминался только ряд несчастий: дранье, смерть сына, положение его жены, при воспоминании о которой как будто что-то кололо его сердце, и самое главное и свежее — разврат дочери. Ему хотелось избить дочь до смерти, но ему не хотелось встать, руки не поднимались, а ругаться он находил бесполезным, да и не находил слов, как бы выругать дочь. Так просидел он с полчаса, и так простояла Елена, едва переводя дух, чтобы не услышал ее отец. Услышь отец, что она плачет, быть бы ей битой, а пожалуй, и калекой на всю жизнь. Между тем Ганька уже спал на печке. Но вот отец встал, пошатнулся, глаза у него дикие, он зло посмотрел на дочь, сжал кулаки и остановился; дочь выдержала этот взгляд стойко; лицо у нее было белее прежнего, она как будто готова была на все: «Бей, тятенька: все равно, а одним покойником больше будет...» Отец прошел к кровати и лег спать, не молясь богу. Это было с ним в первый раз в жизни. Только один тяжелый вздох послышался, как он лег, и скрежет здоровых зубов, и громко скрипнула кровать от его потяготы. Елена же между тем убрала со стола, погасила лучину и легла на лавку, положив под голову халат отца; сарафан она сняла. Тихо в избе, только Ганька по временам турусит громко и хохочет, да тараканы, черные большие и красные, то шумят, то шлепаются с потолка на пол; не спят отец с дочерью.

«Осподи Исусе! Да пошто же ты экую напасть нам, грешным, приставил! Чем я-то хуже других, чем я не человек! Вон Ганька-шельмец говорит, что люди, по-нынешнему, выходит все едино, что собаки. Он это по малолетству судит, оно ведь и правда».— И он пустился думать: почему человек — скот или собака, но хорошего ничего не выдумал;

надоело ему эти пустяки разбирать. Чем больше он думал, тем ему гаже казалась жизнь; какой бы предмет ему ни пришел в голову, этот предмет злит его, и он поворачивается зло со спины на бок, с боку на спину... Теперь его сильно беспокоило поведение дочери, но, разбирая свою прошлую жизнь и сравнивая ее с нынешнею молодежью, он приходил к тому заключению, что девка с жиру бесится, ей пора замуж. В это время он услыхал всхлипыванья дочери. Несколько времени он слушал это всхлипыванье; надоело оно ему, но язык не ворочался крикнуть.

«Экое дело случилось с девкой! и что это мать-то глазела, поганая, ужо приди-ка, окаянная, што я с тобой сделаю».

— Слышь ты, Оленка, не наводи меня на грех!

Елена пуще всхлипывала.

— Тебе говорят! — крикнул отец. Настала тишина, только Елена сморкалась часто.

«Неужели же она тово?.. Спрошу ее я завтра, в баню свожу, мыть себя заставлю. А за этова Плотникова ни за что не выдам. Лучше за Сеньку Турицына выдам, он что-то подмазывался ко мне ономедни, а этому Плотникову я шею намылю, так ему и скажу завтра»... Скоро он заснул: через час после этого, наплакавшись вдоволь, уснула и Елена Гавриловна.

Глава V

ИЛЬЯ НАЗАРЫЧ ПЛОТНИКОВ

Назар Иваныч Плотников, отец Ильи Назарыча, плавиленный мастер,— человек очень солидный наружности и не последняя спица в заводской колеснице. Теперь ему уже сорок восемь лет, но он толст, как бык, здоров, как черт. Посмотрите вы на этого человека в заводском соборе; он, разодетый в длинный сюртук, с шелковым платком на шее, в красной ситцевой рубахе, в черных плисовых брюках, засунутых в большие светлые сапоги, стоит впереди рабочих, немного позади заводских властей: управляющего, исправника, прикащика, горного смотрителя; поглаживает гладко причесанные и напомаженные рыжие волосы, окладистую рыжую бороду, брюшко, самодовольно покашливает и важно искоса поглядывает на черный народ, из которого вышел его отец, бывший заводский управляющий. Но стоит только прикащику или управляющему обернуться и посмотреть на его особу, он тотчас примет самый смиренный вид, а по первому их зову он вмиг подскочит к ним, заложит руки назад, станет смотреть в землю и ждать приказаний.

Так, однажды он усердно молился на коленях; вдруг управляющий обернулся к нему и кивнул ему головой,— он вмиг вскочил, подскочил к управляющему и стал как вкопанный.— «Вот что, Плотников: выплави к завтрашнему утру сто пудов меди».— «Исполню-с»,— отвечал Плотников, тотчас же вышел из церкви, вызвав предварительно из нее двадцать пять человек рабочих, несмотря на то, что они пришли с работы вчера вечером и не хотели идти на работу в праздник. Набрав еще рабочих, заручившись словесным приказанием управляющего, он к другому дню выплавил сто пудов меди, да еще себе хапнул малую толику — пудов пять. Рабочий народ называет его не иначе, как варваром и отчаянным вором, на том основании, что он назначает рабочих к плавиленным печам столько, сколько хочет, и если урок не выполнится как следует, он или пишет записку нарядчику, и тот расправляется с л е н и в ы м и посредством розог, или заставляет человека работать вместо одного дня двои сутки. Имея ключи от магазина, где хранится выплавленная медь до склада, распоряжаясь работами на фабрике по своей части, он очень хорошо знает, сколько он выплавит меди из ста пудов руды,— и в этом случае может сколько угодно показать браковки, потому что управляющий требует только металла, а заводский прикащик с ним заодно.

Таким образом, Плотникову хорошо живется: он имеет в заводе полукаменный дом, оштукатуренный, хорошо меблированный; имеет тысяч пятнадцать наличного капитала, да еще надеется приобрести столько же, тем более что он знает, что дела заводского управления идут плохо. На фабрике он хотя и бывает каждый день, но не надолго, потому что там есть еще мастер и подмастер, которые тоже из-под его лап сыто живут и понастроили себе хаты немного похуже его; ест он хорошо, спит много, начальство его любит. Все хорошо, только ему все еще кажется, что у него денег мало, и хочется получить место заводского прикащика, а так как это место он может получить не иначе, как если прикащику дадут другую должность, то он и заискивает всячески у управляющего.

Ему, наконец, жениться вздумалось. Была у него жена, да умерла назад третий год. Родниться с прикащиком ему не хочется, т. е. ему хочется сперва женить своего сына на дочери прикащика Елизарова, Марье Петровне; члены заводской конторы ему своих дочерей не отдадут, жениться на бедной нет расчету. А у управляющего, женатого человека, есть гувернантка, которая, как ходят слухи, по настоянию

жены управляющего скоро будет удалена из дому и заменится новой. Вот он и задумал жениться на ней, несмотря и на то, что она, говорят, вдвоем.

У Плотникова была дочь Раиса; та прошлою осенью выдана замуж за исправнического письмоводителя Алексея Александровича Серебрякова, живущего и теперь в Осиновском заводе. Как она, так и Илья Назарыч воспитывались нелепо. Положим, что няньки у них не было, как это делается у людей состоятельных, но Раиса и маленькая была девочка капризная, упрямая, злая. Находясь под влиянием глупой матери, считавшей себя важною особой, и жестокого отца, который часто колотил детей за шалость, за провинки, она сделалась надутою, неговорливою и считала себя тоже чем-то вроде барышни. Правда, она умела хозяйничать, шить, но была крайне ленива. Она очень любила покушать сладкое, поспать после обеда, посидеть вечером на улице, любила вечорки, но и там надменничала перед своими подругами. При всем этом надо заметить еще, что она не умела читать и писать, несмотря даже на то, что отец эту науку старался вбить ей в голову и шлепками, и драньем.

Совсем другое Илья Назарыч. Раиса еще видела красные дни, а для него, бедного, эти дни достаются только тогда, когда он сидит у Серебрякова. Про детство его говорить много нечего: оно было хуже детства рабочих, на том основании, что его на улицу не выпускали, так как он приходился тогдашнему управляющему внуком; а Раиса, бывшая старше его двумя годами, играть с ним не любила и часто жаловалась и сплетничала на него то отцу, то матери. Эта вражда между братом и сестрой шла с детства и особенно укрепилась с тех пор, как после одной кляузной жалобы брат вымазал сестре смолой щеки. Это было на двенадцатом году его жизни, и этот несчастный год, когда отец его был в работе на рудниках, он провел на работе около рудников и там чуть-чуть не был задавлен обвалом горы, от которой он таскал глину и песок. На руднике ему много пришлось увидать и хорошего, и худого, и он, привыкши к рабочей жизни, до того свыкся с ней, что через год, когда отец, получивши должность мастера, взял его к себе и отдал в училище, он часто бегал из училища на рудник. Говорить подробно об его детстве нечего и потому еще, что читателям не нравятся невеселые картины, а веселых я пока не имею, потому что я пишу не идеалы земного счастия. Но какова бы ни была жизнь, у заводского человека тоже могут появляться в голове разные идеи. Вы, может быть, помните, что в заводе есть озеро, называемое по-заводски прудом. На этом пруду заводские ребята и молодые парни

с самого основания завода упражняются в рыболовстве и в игре. Рыболовством они занимаются летом и весною, а зимой катаются по льду на коньках и дерутся партиями — старозаводчане с запрудчанами. Драться Илье Назарычу приходилось редко, да и его всегда побивали, зато ему дозволяли рыбачить. Сначала он рыболовил с ребятами, но когда те стали отнимать у него рыбу, он уходил в уединенные места, и если тут рыба не клевала, он все-таки сидел тут долго; положив удилишко на берег и скрестивши руки на груди, он смотрел все на одно место и думал: как бы ему хорошо быть богатым, таким же довольным, как и его отец, но жить бы честно, не воровать, не стеснять рабочих, а главное — быть не битым и свободным: куда пошел, туда и ладно, что хочешь делать, так и делай. Его постоянно мучила мыль: зачем это все обитатели завода находятся в каком-то рабстве? Спросил он стариков рабочих об этом предмете, и те открыли ему глаза. Зло взяло Илью Назарыча, да ничего не поделаешь.

Поступил он на службу в заводскую контору — и ему опротивели плоскости товарищей. Послали его в город к поверенному — там он насмотрелся еще больше плутней. Здесь он столкнулся с порядочными людьми. Он принялся читать книги, но серьезного он не мог понять, знакомые его не могли ему объяснить, и сам он осмыслить был не в состоянии. Так он и бросил читать серьезное. В голове забродили какие-то хорошие мысли, и он стал сочинять стихи, но выходило худо. И эти занятия он бросил. Молодая его натура чего-то требовала, хотелось ей жить настоящею жизнью, а кругом он видел только гадость и мерзость. С отвращением ко всему он приходил в завод, где его, прослужившего хорошо в уездном суде и у поверенного, сделали столоначальником; но он не мог ужиться с заводскими порядками; его отправляли в полицию под арест и даже раз выстегали за то, что он сказал грубость одному из членов главной конторы, а не сменяли его с должности только потому, что он переписывал записки управляющего, часто прислуживал у него вроде лакея и раз даже удостоился чести похристосоваться с ним в пасху,— большая редкость в заводе.

Можно сделать заключение, что для молодого человека жизнь была очень скверная.

Елену Гавриловну он знал не с тех пор, как он танцовал с ней на вечорке. Он еще прежде встречал ее раза два на старозаводской слободе, когда ходил к тетке Коропоткиной, и тогда она произвела на него приятное впечатление; потом он видел ее на рынке в базарный день. Он торговал мясо так себе, только для того, чтобы ближе вглядеться в нее. После

этого он думал об ней долго, но потом так и позабыл со временем — до вечорки, а с этих пор мысль жениться не покидала его. Но как жениться? Что скажет еще отец... И все-таки, несмотря на эти тяжелые сомнения, он, как мы знаем, путешествовал на старозаводскую слободу и узнал-таки, что и она его любит.

Бежит Илья Назарыч по старозаводской улице и ног под собой не слышит; слышал он, как будто что-то пролетело мимо него, и пуще пустился бежать. Вот залаяло собачье войско, две собаки сцапали его за фалды сюртука, третья укусила ему ляжку. От боли он не вскрикнул, а принялся бросать в собак каменья, но попадал плохо, да и что он мог сделать с двадцатью собаками, с ожесточением нападавшими на него?

— Проклятая слобода! — шепчет он.

— Эй, ты, балда! стой! — прокричал мужской голос в темноте.

— Послушай, друг любезный, прогони, пожалуйста, собак, искусали.

— Цыц, вы, шельмецы! Цыц!..— Собаки долго еще лаяли, потом мало-помалу стали отступать от Ильи Назарыча.

— Што ты тут шляешься?

— Я... ничего... я у тетки был.

— Я вот те покажу тетку. Скидывай сертучонко-то!

— Послушай, приятель, я человек бедный.

— Эй, Онисим, подь сюда! — и говоривший схватил Илью Назарыча за горло. Явился другой человек.

— В воду его. Да это, никак, сынок Назарка Плотникова!

— Он.

— Братцы! вы знаете ведь моего отца. Зачем вы меня-то обижаете?

— За то, что он подлец. Так ты ему и скажи, да и зятьку твоему тоже скажи, а коли не скажешь, в другой раз мы тебя стеганого представим ему. Скидывай, тебе говорят, сертук-то!

— Да ведь он на мои деньги шит, братцы...

— Не ходи в нашу слободу! Зачем ты нас побеспокоил, коли знаешь, што нам завтра чем свет надо на рудник идти? — И с него сняли сюртук со всеми принадлежностями.

— Братцы, как я домой приду... Ведь я за делом ходил.

— Ходи днем. Ишь, нашел удовольствие в наших девках... Знаем, как ты у Токменцова марену копал. А ты еще его не знаешь, а мы за него всегда постоим: девка тебе не пара.— И с бедного Ильи Назарыча сняли еще сапоги,

взяли фуражку, жилет и, выведши на мост, толкнули в шею.

— Вот тебе наука. Вдругоредь придешь, ей-богу, выстегаем. Наши девки для своих парней годятся.— И мужики ушли, хохоча во все горло. Немного погодя один из них закричал:

— Эй, парнюга, подь-ка сюда, чего стоишь, хнычешь у перил-то!

Илья Назарыч действительно стоял у перил; он не знал, как ему явиться перед отцовские очи и куда идти. Он пошел к говорившему.

— Ты, послушай, может, считаешь нас за разбойников. Ты дурак после этого: мы те острастку дали, и обижать тебя не стоит, потому ты парень хороший, в золотые бы руки тебя надо отдать, ошлифовать. Одежду твою нам не надо: на кой ее бес, в озеро разве? Возьми, дуй те горой, только смотри, парень, скажи своему Назарку, чтобы он много-то не разбойничал: мы ведь и того... Знаешь! А в другой раз придешь в чужой огород, ей-богу, выстегаем. Пьешь водку?

— Немного.

— Есть деньги?

Двое рабочих отдали Илье Назарычу его одежду и потом пошли с ним в кабак. Дорогой они сказали ему:

— Мотри, Илюха, не ошибись в расчете: едва ли он, Токменцов-то, выдаст за тебя Олену, потому самому, што он не захочет родниться с твоим отцом.

— Я-то как же?

— Э! мало, што ль, девок-то.

Когда он пришел домой, отец уже спал крепко. Кухарка спросила его, хочет ли он ужинать; Илья Назарыч отказался. Измученный дневными похождениями, он скоро заснул.

Глава VI

ИСТОРИЯ ОСИНОВСКОГО ЗАВОДА

Здесь мы делаем небольшое отступление и посмотрим, как устроился Осиновский завод. Благо наши герои спят.

Сомнительно, чтобы северо-восток нашего отечества с давнего времени был обитаем русскими людьми, потому что в то отдаленное время на Руси людей было еще немного, и они еще не забирались в эти края. Уже после, когда показалось людям жить дома тесно и случались такие обстоятельства, что им хотелось жить самостоятельно, свободно,— то люди начали селиться дальше от старых земель и городов, по здешним лесам.

Люди эти промышляли звериным и рыбным промыслом и делали то, чему научились от отцов, или сами доходили до какого-нибудь нового промысла. Такие люди или вели жизнь бродячую, путешествуя по горам, лесам, плавая по большим рекам, как и теперь есть много подобных людей в Архангельской губернии, или селились при какой-нибудь реке. Таких людей, как мы знаем, в XV столетии было не мало, и многие из этих «гулящих» людей, не довольствуясь звериным промыслом, обогащались посредством набегов на оседлых жителей и крепко пошаливали, чему способствовали глухие леса и большие реки.

Эти бродячие рабочие люди открыли случайно соляные промыслы, железную и медную руду. Сначала они вырабатывали руду сами, а потом узнали об ней сильные и богатые люди, которые и забрали себе большие пространства земли. Но простые рабочие не в состоянии были жить новыми промыслами: изделия их были слишком грубы и неприбыльны,— и, наконец, они совершенно подпали влиянию богатых людей, которым дарились здесь земли в полную собственность. Крестьянам не давалось права самим на с е б я разрабатывать руду и торговать ею, так же, как и теперь крестьянин может только за известную плату искать, добывать руду или золото, а торговать этими вещами не имеет права. Люди, жившие прежде на этих землях свободно или только вступившие на эту почву, захватывались и причислялись к владельческим землям, выгонялись на работы и постепенно становились рабами разных богатых людей. Такое положение дела было в конце XVII и развивалось постепенно в течение всего XVIII столетия.

Но рабочих людей все-таки было немного на промыслах и рудниках: туда шли только самые бедные, беглые — или ловились разные бродячие люди, а многие, не могши вынести тяжелой работы, шли прочь, в другие места. Увеличению числа рабочих способствовали много разные несчастия, постигавшие бедных людей и загонявшие их сюда: голод, обиды и т. п., и особенно — раскол в русской церкви.

В старослободской стороне назад тому лет двенадцать жило семейство Моховых. Это семейство, теперь выселенное в Сибирь за раскол, было потомством Мохова, первого обитателя и основателя нынешнего завода. От Мохова Осиновский завод и ведет свою историю.

Дело было так. В конце XVII столетия сюда забрался один состоятельный человек беспоповщинской секты, Кирила

Мохов, служивший у какого-то воеводы. Когда его стали принуждать следовать новому учению, он, человек не глупый, но твердо уверенный в своей безошибочности и ненавидевший своего господина, решился не уступать ему. Его посадили в подвал, пытали там, но потом облагодетельствованные им люди выпустили его и долго скрывали в городе. Когда ему нельзя было скрываться долее в городе, он подговорил несколько человек уйти из города попытать счастья в других местах. Годов шесть он был атаманом разбойнической шайки, четыре раза его ловили, но он опять бегал. Года три он грабил строгановских людей и, награбивши много разных вещей, захотел закончить жизнь свою мирно, т. е. почить от своих трудов. Жить в строгановских городах ему не хотелось, потому что он отвык давно от всякого подначала, и после долгих поисков выбрал себе хорошее место у одного озера. Озеро это имело верст двадцать длины и от полуторы версты до пяти верст ширины. Он выбрал себе у озера такое недоступное для других людей место: с одной стороны было озеро, с другой — крутая гора, а с остальных — болото. Построивши две землянки, он с своим семейством, которое состояло из жены, двух больших сыновей — одного женатого, с двоими детьми, одного холостого — и одной дочери, прожил хорошо на новом месте годов шесть. В это время он с семейством ловил рыбу из озера, расчищал лес, стал обрабатывать землю, но земля в первое время давала только корм для скота, который был добыт от крестьян строгановских селений. Питаться одной рыбой эти обитатели не могли, а потому сыновья Мохова часто ездили в города, предварительно грабили по дорогам православный люд и таким образом запасались в городах нужными припасами, обменивая краденые вещи то в городах, то в селениях. Сыновья Мохова завели знакомство с поселянами, и многие из поселян, жившие под началом и перебивавшиеся кое-как, захотели поселиться с их отцом. Это были староверы, переселившиеся сюда почти в то же время, когда и Мохов поселился к озеру. С сыновьями Мохова жители одного селения послали к Мохову одного доверенного человека с грамотой — принять их к себе и таким образом устроить независимое селение. Старик Мохов сам поехал в селение, выведал от просившихся, что это за люди, и изъявил согласие на их принятие. Переселение продолжалось два года, и затем вскоре переселенцы понастроили десятка два домов вдоль по озеру.

Всей этой толпой управлял сначала старик Мохов, который считался главой, как по старости лет, так и потому,

что он умел решать всякие споры и неудовольствия в селении. Кроме этого, он считался за атамана, потому что, если кто-нибудь жаловался на свою бедность и недостатки, он, желая помочь ему, отряжал несколько человек для грабежа, который, всегда делаясь умеючи и ловко, оканчивался благополучно, и половина добытого имущества поступала во владение бедного человека, а другая половина делилась на участников в грабеже. Моховым установлены были такие правила: каждому новоприбывшему члену их секты помогать с общего совета: поселянам, например, строить дом; неженатому дать жену; больному помогать общим советом и всячески заботиться об его сбережении; если человек мужского пола увечился, тому помогать общими силами. Мохов был вообще старшиною надо всеми; он также справлял и все религиозные обряды — или в особо устроенном для этого ските, или в домах. Он же и дал название селению — Осиново, потому, вероятно, что лес состоял большею частию из осиновых деревьев. По селению так же называлось и озеро.

Осиновские жители крепко принялись за расчистку лесов и за обработку земли, но земля давала мало. Попробовали ловить рыбу, но в селах и в городах покупателей было так мало, что рыбу приводилось возить назад. Выдумывали они и делали разные вещи, но эти вещи купить было некому... Оставалось только промышлять зверями и воровством; но звери людей не обеспечивали, потому что в селах и городах были свои продавцы этих шкур; промышлять разбоем опасно. Положение осиновцев становилось незавидное, а уйти в другое место не хотелось. Так продолжалось несколько лет.

Осиновцы, потерявшие надежду на хорошую производительность земли, стали рыться в разных местах: одни отыскивали разные клады, думая найти богатства, спрятанные, может быть, татарами, набегавшими на наше отечество; другие отыскивали соляные ключи; третьи, более сообразительные, желали открыть в земле что-нибудь более выгодное. Первые ничего не находили, но последние открыли в горе медную руду, и все осиновцы принялись рыть гору. Одни из них отрывали медную руду, другие находили железную. Дошедши до того, что руду можно сплавлять, они стали ее сплавлять и сплавленные металлы возили в города, где продавали их за хорошие деньги или выменивали на припасы. Потом осиновцы дошли до того, что стали из руды выделывать вещи, необходимые для хозяйства, и излишек опять променивали в городе. Таким образом осиновцы обратились в горных рабочих людей и получали от своей работы хорошее обеспечение.

По смерти Мохова, с общего согласия, осиновцами стал управлять старик Илья Крюков. При нем они завели свой суд и расправу такого рода: вор должен был возвратить все имущество хозяину; если он не мог отдать украденного, то становился работником хозяина на год или больше; убийца спускался с камнем в озеро. Свадьбы можно было венчать родителям у себя дома; сводный брак не считался грехом; крещение дозволялось только при смерти, и человек женатый не мог креститься. Самоубийство не считалось грехом — и проч. При этом не считали грехом брак с сестрой, и не считалось грехом то, что мы называем развратом... Все они жили дружно. К себе они принимали только людей их секты.

Так существовали осиновцы лет тридцать, и в селении было уже около семидесяти деревянных домиков, в которых обитало около трехсот человек жителей обоего пола. Вдруг с ними случилось несчастие. Ездили в город шесть человек осиновцев продавать какие-то медные вещи. На рынке их схватили и представили к воеводе. Воевода долго выспрашивал, откуда они приобретают вещи, потому что в городе давно замечали за ними. Осиновцы молчат. Это молчание воевода счел за упорство, стал их пытать. Пять человек умерло, шестой решился показать гору. Нарядили военных людей и, заковавши в колодки, несчастного привели в селение. Там осиновцы выручили его, побили много военных людей, а уцелевшие донесли воеводе о том, что они видели большое село, что там люди умеют драться и ими управляет какой-то человек. Воевода еще не совсем знал местность; его разобидело то, что его солдат побили крестьяне, пошел сам на них войной, спалил слободу, убил несколько человек, остальных взял в плен. Но человек пятьдесят, в том числе и внук первого Мохова, убежали в леса.

Когда воевода приехал в город с пленными, тогда явился к нему боярин Граблев с грамотой от царя, что ему жалуется такой-то округ для разработки руды, и стал требовать народу. Воевода отдал ему, в числе прочих, и пленных осиновцев. Граблев обласкал осиновцев и стал просить их указать ему место нахождения руды. Осиновцы проклинали всех людей, говоря, что пришел антихрист, но голод и бедствия склонили некоторых на то, что они рассказали Граблеву, где находятся разные руды, но и просили некоторых преимуществ, как-то: давать им половину руды, денег, построить избушки и не селить людей других сект. Граблев сказал, что он этого сделать не может, потому что воля царская такова: добывать руду на царя посредством всякого

народа,— и только соглашался построить им избенки.

Стали они строить избушки, а работали плохо. В год избушки были готовы, а добыча руды шла туго, так что Граблев решился принять против осиновцев крутые меры; в селении водворился раздор, несколько семей убежало в Сибирь, но остальные осиновцы на дороге их ограбили; большая половина остальных ушла спасаться в леса, а немногие, особенно молодежь, остались в селении и работали на Граблева. Между тем у Граблева много было набрано народа из разных селений, только селиться этим людям в селении Осиновом было негде, потому что с одной стороны была гора Лапа, с другой — озеро, а с третьей — лес и болото. Новые люди нашли удобным селиться по ту сторону озера, да и по месту рудника им было выгоднее строиться отдельно от старых осиновцев; Граблев дал этому месту название Слобода Осиновская, а Осиновское селение назвал — Осиновский завод. Итак, работы становились обширнее; но мастеров хороших было немного, медная и железная руда разрабатывалась плохо, неумело и лениво. Народу прибывало все больше и больше, в слободе было уже до сорока домов, но народ сначала получал от Граблева очень мало, отчего в обеих сторонах начались грабежи и убийства; по озеру опасно было плавать даже днем.

В это время осиновцы, жившие в лесу и промышлявшие разбоем, соскучились об родном гнезде, им надоело шататься по лесам, да и грабить много не приходилось; тогда они стали высматривать да выспрашивать, что делается в селении, какие там порядки заведены. Узнали, что жить можно. Граблев обещает платить деньги за работу; послали своих стариков к нему просить принять их в мастера, так как эти старики хорошо знают свое дело. Граблев принял их радушно и положил платить мастерам по рублю за сто пудов чистого металла, а рабочим в неделю по гривне. Но это была приманка. Граблев знал, что осиновцы свое дело знают, силой их заставить невозможно, поэтому он и дал им такую плату до поры до времени. Собрались все беглецы в Осиновский завод, обстроились как следует, приняли начальство над остальными и принялись за работу, но все-таки работа шла туго. Приехали к Граблеву иностранные мастера, покачали головой и посоветовали ему строить фабрику на озере. Долго дивились осиновцы над такой выдумкой, а Граблев, отставив осиновцев от управления над рабочими и разных мастерских занятий, велел выпустить озеро посредством канала в пробегавшую в версте от озера, налево, против

горы, речку и строить плотину между Осиновским заводом и Осиновской слободой. Народу потребовалось много; плату Граблев обещал рабочим хорошую. Рабочих людей действительно явилось много. Работа закипела. Поспела, наконец, и фабрика; Граблев объявил народу, что обе стороны назвал он Осиновским заводом, что по указу государеву жители Осиновского селения подарены ему навсегда, а Осиновской слободы — причислены к нему для работ, все состоят под его ведением и он будет нести за них всякие повинности. Осиновцы ахнули, да поздно... Попробовали некоторые бегать, их ловили...

Кроме Осиновского завода, у Граблева были другие рудники верстах в пятидесяти, ближе и дальше от завода, а так как местность Осиновского завода ему нравилась и народу было уже около тысячи человек, то он избрал его резиденцией своих владений и велел строить себе большой каменный дом. Оставалось только завести администрацию, потому что ему за всем следить было некогда: нужно было часто ездить по делам в города. Вызвать из больших городов приказных людей тоже дело не подходящее, потому что приказный люд в то время отличался чрезмерною грубостью, составляя что-то среднее между дворянами и вооруженной силой, и народ их не любил. Положиться на мастеров-иностранцев тоже неловко, потому что они русского языка не знают. Долго думал Граблев и решился определить стариков старослободчан в разные должности, какие теперь называются: надзиратели, штейгера (штейгера, впрочем, были иностранные), нарядчики и другие. А старослободчан Граблев назначил потому, что они говорили с толком и прямо, не пьянствовали и работы исполняли хорошо. В год он убедился, что работы действительно идут хорошо, и во всем доверился им. По мере того, как у него увеличивалось производство, он строил другие заводы, посылая туда старослободчан и выписывая из-за границы мастеров и механиков для улучшения горного производства.

Металлов у Граблева было много, и он каждое лето отправлял их караванами по рекам в разные города, потом в Петербург, откуда некоторые шли за границу. От правительства он получал большие награды, от продажи — большие деньги, и в десять лет его житья в заводе завод походил на город: в нем была православная церковь, две молельни у раскольников, большой господский дом, на том же месте, где теперь стоит большой господский же дом, три фабрики: кричная, доменная и кузнечная. Жители обеих половин завода года три жили между собою мирно, выгово-

рив себе право: старослободчанам селиться в своей слободе и не селиться тут запрудским, а старослободчане, по старшинству, могут строить дома и в запрудской стороне; за работы они получали муку и небольшую плату. Но потом стали появляться случаи такого рода, что запрудские попадались в воровстве железа; запрудские говорили, что воруют и старослободчане, но старослободчан не могли поймать с железом, хотя они целую лишнюю барку отправляли при караване с своим железом (прикащиками на караванах были старослободчане). От этого обе стороны возненавидели друг друга до того, что в старой слободе даже днем нельзя было пройти запрудским.

Кроме праздников и одного летнего месяца, рабочие должны были работать постоянно то на рудниках, то на фабриках, то в лесу. Работы были назначены и днем и ночью. Каждый мужчина должен был работать с 5 часов утра до 11 часов пополуночи (дня), остальное время был свободен до 5 часов утра, и с 12 часов до 5 часов утра. За ночные работы прибавлялось больше жалованья и хлеба. Прогулявший рабочий день рабочий должен был наверстать суточной работой или поставить вместо себя рабочего. Ни один осиновец без спросу начальства не мог отлучаться из завода в город или куда-нибудь. Такие меры людям казались строгими, но они ничего не могли сделать, потому что ослушников, после нескольких наказаний, сажали в городской острог, а потом работа обратилась в привычку. Ребят не заставляли работать до семнадцати лет; затем им начинали давать работу. Только одних женщин не трогали; они справляли свои дела дома: рожали исправно детей, водились с ними и занимались хозяйством. Были, правда, и тогда такие люди, которые работами не занимались. Это были люди, которые пользовались особенною милостию нарядчиков или ставили вместо себя рабочих, а сами добывали себе пропитание работами на жителей и торговлей в заводе.

В заводе Граблев завел школу и заводскую контору, которая управляла другими заводами. В школе учились только дети запрудских жителей, но в контору больше поступали дети старослободчан, которые детей своих учили сами. Отправлявшиеся с караванами старослободчане сильно богатели, потому что барки нередко разбивало, железо тонуло, а после, в мелкую воду, вытаскивалось и поступало в их пользу: напишут отчет, что утонуло, да и все тут. Они, побывавши в разных местах, видя много людей, возвращаясь домой, выглядывали уже не прежними святошами: начинали отставать от прежних обычаев и исправляли свои обряды

только для порядка. Они уже не хотели жить в слободе, начинали важничать, строили каменные дома в запрудской стороне и на своих смотрели свысока; владелец дорожил ими, считая их за честных людей. По своему наряду они уже нисколько не походили на раскольников, хотя и говорили старослободчанам, что они держатся их сект. Старослободчанам казалось это соблазном, они упрекали про себя своих начальников, но вслух ничего им не могли сказать и думали, как бы им самим сделаться такими же. Запрудских это злило. Были, конечно, и там честные, трудолюбивые люди, но Граблев не видел их.

Но вот Граблеву душно сделалось жить в заводе, неприятно показалось такому богачу водить дружбу с местными начальниками, которых он мог бы трусить, но которые его боялись,— и поехал он в Петербург, а оттуда за границу; на место же себя назначил управляющего из старослободчан.

Старослободчане стали лениться, им подражали запрудские, начали грабежи, разбои на озере. Управляющий решился, наконец, употреблять строгие меры: он стал сажать людей в острог, приказывал наказывать розгами,— рабочие унялись, но работы шли плохо, с караванами год от году больше и больше стало случаться несчастий; стали воровать из фабрик металлы; провианту недоставало, денег не выдавали.

Стали рабочие жаловаться по начальству — им же было хуже, потому что им не доверяли...

И при другом управляющем положение рабочих не улучшилось. Завод, правда, по наружности казался красивым, появилось больше домов каменных, стали строить единоверческую церковь; сделали новую плотину, перестроили господский дом, фабрики, но в деревянных двухоконных домах обитала страшная бедность. Управляющий из новослободчан всячески старался, чтобы руды добывалось больше. Рабочих посылали на работы палками, за работами били; увеличивалась кража металлов, воровство и беспорядки.

Умер Граблев; объявили в заводе, что владелец теперь сын его, Григорий Иваныч; сослужили в церквах молебны за его здравие, выставили рабочим три бочки водки; закутили рабочие обеих сторон, передрались обе стороны, и работы прекратились на трои сутки. Теперь порядки сильно изменились: Граблевы — их с течением времени сменилось несколько поколений — не жили больше на заводе, который, таким образом, вполне оставался в распоряжении управляющих. Дела завода постепенно расширялись: число

рабочих увеличивалось, отыскивались новые места разра ботки. Теперь и чинопочитание много изменилось: управляющий был для рабочих такое лицо, которого они могли видеть только в церкви, на дом к нему рабочих не допускали, а за всеми нуждами рабочие допускались сперва к нарядчикам, нарядчики — к прикащикам, которые, отчитываясь управляющему, делали что хотели и в год наживали тысяч по пяти денег, если не больше. Но, несмотря на бедственное положение народа, Осиновский завод считался одним из самых богатых.

Со времени первого Граблева в Осиновском заводе был только один Граблев, Корнил Петрович. Он, выросши за границей и проживши там много лет и много денег, вздумал посмотреть: что такое за Осиновский завод? откуда это ему шлют деньги сотнями тысяч каждый год? И вот он поехал, взяв с собой иностранца, которого он уполномочил быть управляющим. Приехал он в завод, встретили его с хлебом и солью, зазвонили в колокола на церквах, собрался народ на площади, прокричал ему приветствие. Он отправился в собор, где отслужили за его здравие молебствие. Выспавшись, он на другой день изволил принимать: заводского исправника, который назначен был горным ведомством для производства следствий по Осиновскому округу, членов главной конторы, главного поверенного — ходатая по заводским делам в городах, прикащика, протоиерея соборного и горных инженеров, служащих в его округе от казны. У его дома между тем толпился народ с жалобами, но он не удостоил выйти к ним. Только одна женщина как-то ворвалась к нему с жалобой. Он, удостоив ее расспросить, в чем дело, велел ей выдать десять рублей и приказал никого к нему не пускать из челяди. В пять часов у него был обед, на который, между прочим, приехали из горного города главные лица; за обедом играл оркестр из осиновских музыкантов. На другой день он тоже давал бал, на который с улицы смотрела любопытная толпа, в первый раз увидевшая иллюминацию и фейерверк. На третий день он удостоил посетить фабрики, мельком огля дел стены, машины и рабочий народ, которым он велел выдать по рублю денег. Через день он уехал.

После этого в Осиновском заводе не было ни одного владельца, и только очень немногие знают даже в настоящее время о имени владельца да что есть владелец, потому что в день его именин работы останавливают. Поэтому управляющие и делали что хотели в заводе, доверяя с своей стороны прикащикам, которые делали с рабочими все, что хотели, сменяя при этом с должностей и назначая на должности по своему усмотрению.

Очень немудрено, что Онисья Гавриловна за свою дерзость,— беспокоить управляющего,— получила наказание. Она должна сперва сходить к нарядчику; если он ничего не в состоянии сделать, подать жалобу заводскому исправнику. Но заводский исправник, конечно, всего скорее должен был держать сторону управляющего и прикащика, которые при всяком случае могли ему замазать рот деньгами и через которых он мог потерять место. Идти к прикащику не стоит, потому что прикащик смотрит на рабочего, как на своего кучера, или еще хуже.

От таких-то управлений рабочим приходилось переносить из года в год много бедствий, на которые не обращалось никем внимания, ни даже заводскими исправниками, обязанными защищать рабочих, и рабочие так свыклись со своею долею, что ничего не ожидали лучшего впереди. А если нельзя ожидать лучшего впереди, разве можно желать еще худшего?.. Бывали, впрочем, в разное время и такие случаи, что осиновцы, во время голода, хотели разворочать господский дом, но они не делали этого потому, что пользы от этого мало; но зато все они, несмотря на долголетнюю вражду старослободчан против запрудчан, постепенно утихавшую от сближений,— все они, от пятилетнего ребенка до последней минуты жизни, ненавидели всякого начальника и ни о ком не отзывались, что это хороший, добрый человек; у них сложились свои печальные песни.

В настоящее время, кажется, подобного ничего нет.

Глава VII

ТОКМЕНЦОВ ДЕЙСТВУЕТ НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ИНАЧЕ

Гаврила Иваныч пробудился рано утром, а именно в четыре часа. Было еще не совсем светло, поэтому он лежал еще с полчаса. В голове его бродили разные мысли, которые он не мог привести в порядок. Первое, что попало ему в голову, это было:

— Экая эта девка-то озорная, осподь с ней! А как подумаешь, Гаврила сын Иванов, ты-то сам как женился!.. А ведь лихо я женился. Мать моя Матрена была злющая-презлющая баба, не тем будь помянута... Ну, да про это и толковать не стоит, потому они дуры, да и наша братия, тоже мое почтение, посвистываем им по рылу, потому они не в свое дело суются, ворчат; пьян напьешься, в компании али с горя, так вместо того, штобы приласкать, гвалт поднимут... Ну, опять тоже иная баба за пояс ткнет нашего брата. Вот хоть бы моя жена...

На этом он остановился: ему представилось, что его жену дерут теперь, и обидно ему сделалось за жену; мысли приняли другое направление:

— Вот теперь сына застегали... А какой он был послухмяный, толковый... Поколачивал я его! Жалко. Эко, осподи, житье!.. Тоже вот теперь житье штейгеру, так вот житье! Ездит себе два раза в сутки на работы, за нарядчиком смотрит да как мы робим, где што ловчее сделать. А ведь небось и я бы сделался штейгером, так куда бы ему, за пояс бы ткнул... Ведь не сделают... А славно бы было! И Олену бы я выдал не за чучу какую-нибудь, а теперь... поди ты... Э-эх-ма! Осподи, осподи! коли бы деньги были, поставил бы я тебе рублевую свечу. Уж замолил бы я тебя!.. А то што, чем я пригоден, коли все-то в месяц получаю рубль на ассигнации. Вот Назару Плотникову ловко: отец был управляющим, поди, десятирублевые свечи ставил, сын тоже — и дурак дураком, а смотри, нахапал денег; в рудниках был на работе со мной, да попал в мастера. Гляди, што он творит. Али осподь ничего не видит, коли што творят прикащик, нарядчик да этот Назарко? А поди-ко ты, Гаврилка Токменцов, к этому самому Назарку, да обскажи ему об его Илюшке, так што будет? туда тебя угонят, что уж не знаю...

И Гаврила Иваныч утер своею широкою ладонью глаза.

— И Оленки жалко, право, жалко; одна она у меня девка, а жены нетука дома, не с кем ладненько посоветоваться. Ну, што я, мужик, сделаю тут? Ну, я ее побью, изругаю, што будет? Ну-ко, Гавря, скажи?.. А то и будет: я со двора, она со двора, а там и пойдет писать, как Аниська Бабиха.

И мысли Гаврилы Иваныча были скверные, все одна другой хуже; наконец, он пришел к тому выводу, что дочь нищенствует, хворает и в этом виноват один он, потому что он беден, и виноват кто-то другой, на том основании, что он из этой бедности вылупиться не может никаким манером.

В таком настроении Гаврила Иваныч сел на кровать и стал смотреть на дочь; лежит Елена на боку, подложив под щеку левую руку, а правой обняв свою грудь, по лицу ползают мухи и, испуганные ее тяжелым дыханием, изредка взлетают кверху с жужжанием. Жалко стало отцу дочери, вздохнул он, встал и вышел на двор. Погода стояла все сырая и мокрая; дождя, впрочем, не шло, но Токменцов думал, что дождь еще не одни сутки будет идти. Лошадь, находящаяся в стойле, еще лежала, он не стал тревожить ее, а только положил в корыто сена, сходил на озеро за водой, вылил четверть ведра в корыто и смешал ее с сеном, положив

в мешочек овса. Потом он поскреб немного в стайке и назем склал в кучу, находящуюся в его огороде, где росли капуста, картофель, репа, морковь и редька, любимые и необходимые кушанья рабочего человека.

— Ишь ведь, какой ноне урожай на это. А все Оленка хлопотала... Ай да Оленка, молодец!..

И опять в голове его появились нерадостные мысли, так что он плюнул и ушел из огорода, через двор, на улицу, неизвестно зачем. Из двух соседних домов вышло четверо рабочих в таких же нарядах, как и он ехал вчера, только у тех за кушаками на спине были засунуты топоры с топорищами, кверху востриями, на плечах у двоих по лопате железной с черенками, а у всех на спинах болтались мешочки с хлебом и онучами.

— Здорово, дядя Гаврило!

— Здорово, братцы. На кучонки?

— А ты чего?

— Ничего. Вчера приехал.

— Куды у тя Онисья-то устерелешила (убежала)?

— Да бог знат.

— Э, брат, молчи. Знаем все: ты свистни, а мы смыслим.

— Молчите, братцы.

— Ну... Прощай, дядя Гаврило: в другое время покалякаем.

Рабочие ушли. Гаврила Иваныч немного утешился. Его утешило то, что Онисья успела предупредить своих подруг, которые новозаводчанам не разболтаются, а мужчины, будь они хоть и новозаводчане, своего брата не выдадут, тем более что подобные вещи говорятся непонятно для ребят — малолетков и подростков. Подошедши к погребу, Гаврила Иваныч увидел, что он заперт; пошел в клеть — корова спит, овечки тоже все целы и при появлении его встали, только корова, махнувши хвостом и лизнувши языком левый бок своей утробы, стала глядеть на него тупо.

— Ну, спите, христовые! — И он, вышедши из стайки, вошел в какой-то чуланчик, около нее устроенный. Там были куры. Сначала заклоктал петух, потом загоготали курицы. Вышел он и оттуда, и скучно ему сделалось, так скучно, что словно у него не стало хозяйки. И сознавал он, что он редко-редко заглядывал в клетушки, стайки и огород, а заходил теперь — бог весть почему.

— Эх, хозяйка, дай бы бог, штобы ты выходила. Ведь это все твое — только ведь у тебя и есть, а Ганька... задерут и ево...

Чтобы развлечься, он принялся обделывать дровни;

опять полезли мысли нехорошие, и он решил истопить баню. «Выпарюсь да вымоюсь, легче будет, а там что осподь бог даст»,— думал он.

Затопил он печку в бане и стал у нее. Плохо горят сырые дрова, кое-как он разжег их: загорели славно. Страшно ему чего-то сделалось, закурил он трубку и не сводил глаз с горящих дров. Представлялась его воображению его первая любовь: «Вот иду я по улице, попалась навстречу Ониська, красивая, толстая. Вместе я с ней в ребятах игрывал. Цапнул я ее: взвизгнула моя девка и убежала. Постой, думаю, задам я тебе острастку и ласку. Как-то иду с работы, а она идет с холстами навстречу: здравствуешь, говорю, Онисьюшка?.. Она дураком меня обозвала и убежала. Так и стали мы с ней встречаться да баловать. Моя Онисья, вижу, поддается: выйду на улицу в праздник — и она тут, в хороводах, со мной играет и варнаком обзывает. Ну, я и говорю отцу: жениться хочу на Онисье Харламовой. А захотел я крепко жениться, да и что в самом деле: хочу сам хозяином быть, дети будут, провиант пойдет. А отец артачится: рано, говорит, тебе, шельмец, жениться, побогаче сыщем, а у нее — шиш в кармане да грош на аркане. Ну, да соседи, спасибо, посоветовали ему. И женился Гаврилко, и из Гаврилки сделался Гаврилой Иванычем и прожил с ней уж вон сколько, да ничего же. А тоже говорили про нее то, и другое, и пято, и десято...»

— Тятенька! — сказала робко Елена, появляясь в дверях у бани. А надо заметить, у здешней бани предбанника и крыши нет: в нее входят прямо из огорода и в ней раздеваются.

— Будь ты проклятая! Эк ее, испугала как!

Олена была босиком, в сарафане, без платка на голове.

— Чего тебе?

— Печку-то топить али нет?

— Неужли так: поди-кось, жрать захочешь! Хлеб-то есть?

— Две ковриги...

— Ну, завтра испеки. На рудник надо...

Елена не шла. Она что-то хотела спросить у отца.

— Ну, чего еще стоишь?

— А мать-то где-ка?

— Не твое дело; пошла! Спроси у своего-то полюбовника.

Елена ушла. Токменцов, немного погодя, тоже вышел из бани, которая уже истопилась и трубу печки которой он закрыл. Ему сильно хотелось поговорить с дочерью насчет

ее любовника, но он не знал, как бы лучше выпытать от нее правду.

Корова была подоена и выпущена на улицу, овечки тоже выпущены, курам задан свежий корм. В избе печка затоплена, в печке стоит чугунка, в которой варится картофель; в другой чугунке варится свекла. На лавке лежат опрокинутыми только что вымытые чашки, ложки, кринки; Елена моет стол с дресвой.

— Есь рубаха-то мне-ка? — спросил Токменцов, войдя в избу.

— Есь. Вчера выкатала.

— Ну, так добудь, и штаны добудь.

Елена полезла в сундучок и вытащила оттуда рубаху и штаны. У Токменцова было только по паре рубах и штанов.

— Ишь, выкормил, выпоил... и любовника нашла. Как нет дома отца и матери, и давай приглашать к себе! Ну, скажи, гожее ли это дело, образина ты эдакая?

Елена принялась плакать.

— Што, небось не правду я говорю! Тебе все ничего, а мне-то каково! Кто про вас пропитал достает? Кто вспоил, вскормил тебя? А? Разве мне не больно?.. Ну, для кого я истягаюсь, как собака? Ты это подумала? Ну, какими теперича я глазами на людей-то буду смотреть? Ты-то, ты-то как в люди покажешься! У! — и он выругался и плюнул.— Ну, што ты ревешь-то, а? Оленка!

— Тятенька...

— Говори всю правду.

Елена стала на колени перед отцом:

— Тятенька, голубчик... делай, што хошь со мной, сизой ты мой, хоть убей ты меня...

— Да ты что турусы-то на колесах разводишь? Правду говори!

— Ей-богу, я не виновата. Вот те отсохни права нога.

— Зачем ты целовалась с ним?

— Сам он целовал.

Отец ударил ее по щеке, щека покраснела.

— Тятенька, голубчик...— и она поклонилась ему в ноги.

— Говори: зачем ты его пустила?

— Сам... он сам...

Отец толкнул ее ногой.

— Пошла, штобы духу твоего не было.

Елена заревела, а Токменцов ушел злой во двор. Долго он ходил около лошади, и долго его мучило поведение доче-

ри. Но как больше он думал, тем больше ему становилось как будто легче. «Нет, она этого не сделает»,— думал он, и ему совестно становилось, что он побил ее. Ганьку кое-как разбудили идти в баню. Там отец вымыл Ганькины штаны и рубаху, а потом повесил их сушить на шест, вделанный в бане. Выпарившись, Гаврила Иваныч пошел через огород купаться в озеро. Пока он шел, из другого огорода крикнула ему старушка:

— Баньку истопил!

— О-о!

— Пусти, как вымоешься.

— С Оленкой сходи.

Выкупавшись, он тем же путем пришел в баню и там оделся. Таким же образом выкупался и Ганька.

— Олена, поди-ка скажи Терентьевне, што, мол, готова баня-то.

— Я, тятенька, пойду же с ней-то?

— Поди.

Гаврила Иваныч очень был доволен баней; он лег, потягивался, дремал и, кажется, ни о чем не думал Ганька тоже был весел.

— Ись бы, тятька.

— А вот Оленка будет.

— А ты ее, тятька, больно треснул. За што ты ее так-то?

— Не твое дело.

Сын замолчал.

Токменцову теперь не приходили невеселые мысли. Он думал теперь о том, что ему нужно починить к завтрему сапоги и лопоть (халат) да, пожалуй, взять серый зипун на случай. Пришла Елена. Лицо у нее красное, волосы нечесаные. Стали обедать: сначала тертую редьку с картофелью разваренною и квасом, потом похлебали свеклу, тоже с квасом и картофелью. Токменцов съел три ломтя хлеба, Елена и Ганька по два.

Глава VIII

КАК ТОКМЕНЦОВЫ ПРОВОДЯТ ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДНЯ

После обеда Токменцовы не легли спать. Гаврила Иваныч сползал на полати, достал оттуда лапоть, в котором хранились шила, ножик, дратва, щетина, нитки и прочие принадлежности, необходимые для сапожного и башмачного ремесла.

— Олена, принеси-ка корыто с водой

Елена ушла и скоро воротилась с маленьким корытом, в нем была вода.

— Да ты бы теплой принесла. Впервой, што ли? — взъелся отец, сидя перед лавкой на обрубке дерева, разложив по лавке инструменты и принимаясь чесать нитки для дратвы. Когда теплая вода, находившаяся в печи в чугунке, была налита, Гаврила Иваныч положил туда кусок черствой старой кожи, которая валялась у него с тех пор, как он нашел ее на дороге. А Токменцов любил все подбирать: и подковы, и гвоздики, и железки разные, и худые башмаки, даже лапти, которые носят очень немногие рабочие Осиновского завода, и даже никому не нужные тряпки; он всему найдет место, потому что покупать новое ему не на что. Сапоги он шил сам, башмаки жене тоже шил сам из разных голенищ, которые он или находил, или выпрашивал у зажиточных соседок. Холст у них был свой, и теперь вон Елена вытащила из чулана корчагу, вымыла ее, налила в нее воды, положила туда десятка два аршин изгребного самодельного холста, а потому еще налила горячей воды на холст и, засыпавши его золой вровень с краями корчаги, вдвинула корчагу в печь. Сермягу Токменцов покупает у заводских же жителей, а именно у Степана Мокрушева, который хорошо ее выделывает, только не может еще дойти до того, чтобы приготовлять тик на летние халаты мастеровым, как называют себя все горнорабочие, и в том числе Гаврила Иваныч. Халат Гаврила Иваныч надевает, когда холодно, и он, как и сермяга, большею частью на работе лежат без употребления, потому что в них работать неудобно, да и зимой, при работе, ему в рубахе тепло. Стал Гаврила Иваныч починивать сапог, а Ганька залез на печку, но отец не дал ему спать.

— Ганька! иди-ко, подержи.

Ганька молчит.

— Тебе говорят?..

Ганька слез не торопясь и, почесываясь, подошел к отцу, тот замахнулся на него рукой, но не ударил.

— Держи! Ишо в бане был, а смотри, как рубаху отхалезил (отделал).

— Мне-ка спать охота! — произнес Ганька протяжно и зевнул громко во всю избу. Отец промолчал. И когда Ганька держал неправильно или лениво дратву или кожу, отец ругал его или замахивался на него рукой. Когда держать было нечего, Ганька пошел было на печь, но отец опять заставлял его что-нибудь делать.

Пришел Колька, шустрый мальчик, с белыми, как лен, волосами, в загрязненной рубахе и босой. На ногах много было грязи.

— Ах ты гад ты поганой! Где ты был?..— закричал на него отец.

— А у тетки был! Гли! — и Колька показал ему пискульку — сделанного из дерева петушка.— Гли, тятька, как свистит! — и он начал насвистывать в пискульку, поскакивая и подергивая рубашонку.

— У, балбес! Поди, вымой парня-то в бане,— сказал он Елене, которая в это время ставила на печку квашню (т. е. тесто ржаное в деревянной шайке, похожей на кадушку, вмещавшую в себя восемь и девять ковриг печеного хлеба).

— Я не пойду, тятька, не пойду! Оленка — бука!

— Ганька, дай-ка плетку!

Колька остался этим недоволен, закуксился и, испугавшись угрозы отца, полез к Елене и покрылся ее фартуком.

— Оленка! гли, какая игрушка-то,— и он не давал ей покою с своей пискулькой: пойдет она, он за ней — и теребит ее за сарафан, или перед ней станет и давай пикать. Это пиканье вывело отца из терпенья.

— Ах ты, проклятой парень! — и он встал. Колька вмиг спрятался под кровать, но отец все-таки пнул его ногой, отчего Колька заревел на всю избу и тогда только замолчал, когда отец погрозил ему плеткой. Опять Гаврила Иваныч сел за работу, а Елена села около него и стала починивать отцовскую сермягу, с кожаным воротником и обшлагами у рукавов; Ганька тоже заштопывал материны башмаки. Несмотря на то, что кожа не держала ниток, рвалась, Ганька ковырял башмак. Отец тоже ругался, что кожа на сапоге износилась. Он теперь, кажется, только о том и думал, как бы ему похитрее започинить; его бесило то, что дратва рвалась, кожа лопалась хуже, он плевал с досады то на сапог, который починивал, то на пол, то приговаривал разные любимые словца. Ганька вторил отцу, которому почему-то вдруг не понравилось, что сын бездельничает.

— Чево ты дратву-то рвешь попусту, шельмец ты экой!

— Я, тятька, чиню.

— Так чинят? Брось!

Ганька забился на полати и там продолжал свою работу. Только одна Елена сидела смирно. Она сидела на лавке, спиной к отцу, около окна, и молча заштопывала прорехи и дыры сермяги. Ни одного шепота она не произнесла, ни одной морщинки не было на ее лице, только ей надоели мухи, и тут она молча отмахивалась от них. Колька ее не беспокоил: он нашел себе товарища в коте, которого он бесцеремонно таскал по полу за хвост, любуясь своим искусством и ловкостью

отвертываться от лап кота, который пищал. Наконец, кот вырвался, вскочил на печку и стал облизываться, злобно глядя на Кольку, как будто думая: уж не буду же я, коли так, спать с тобой. Он пошел по перекладинке, сделанной от печки к стене для сушенья тряпок и белья. Шел он, как видно, к Елене. Между тем Колька делал свое дело: он вскарабкался на печь, нашел лучину, бросил ее с хохотом в кота, кот соскочил на лавку, а Колька свернулся на пол и заревел... Все не торопясь встали и подошли к Кольке, который расшиб себе левое колено до крови и лоб, но неопасно. Отец заругался, стал искать плетку, но не нашел плетки. Долго ревел Колька; ногу Елена обернула тряпкой, на лбу остался большой синяк, и через час Колька угомонился и по-прежнему стал баловать, только прихрамывал на левую ногу. Ему уже не в первый раз приходится падать с печки.

Елена все работала, а в голове ее шла своя работа. «Што-то Илья делает?» — думала она, и долго думала она на эту тему. Заслышит она брань отца на дратву или на мух, и думается ей: «Отчего это он такой злой! Хоть бы умел починивать-то! А тоже хвастается, што он сапоги да башмаки умеет мастюжить». Она старалась отыскать причины: почему отец у нее такой злой? зачем он драчун такой? Придет с работы — мать ругает, весь день на ребят кричит, а ладом не скажет; на работу пойдет — тоже ругается... «Нет, он добрый. Иной бы выгнал меня из дому, избил бы». И она тяжело вздохнула; в это время она так любила отца, что скажи он ей: Олена, поди-ко, сходи в рудник за топором — пошла бы. Она не думала теперь об матери, как будто бы и не бывало ее.

— Ганька! поди-ко к Федосееву: попроси табаку.

Ганька пошел, за ним поскакал и Колька, подпрыгивая.

— Скоро свадьба-то, мила дочь? — спросил отец ядовито, когда мальчуганы ушли; голос его дрожал.

— Чья, тятенька?

— Чья? Твоя!

Елена промолчала.

— Что ж, ну, и ступай, и не ходи сюда, штобы и праху твоего здесь не было. Что ж ты буркалы-то в окошко уставила? Али Илька идет?

Елена молчит: в глазах двоится, в голове жар. «Умереть бы уж!» — думалось ей невольно.

С богом, мила дочь, с богом, Оленка.

«Буду же я молчать!» — думает Елена, и в первый раз в жизни она осердилась на отца. Хотелось ей плакать, да слезы не шли.

— Что же ты спасибо-то не сказываешь, дура? Ты в ноги должна мне поклониться.— Отец, говоря это, улыбался, но как улыбался! Его душило горе, и он не умел выразиться как-нибудь так, чтобы дочь почувствовала всю гадость своего поступка. Жена его поступила бы иначе: она бы целый день проворчала, прибила бы дочь, как умела, на другой день она бы не стала ругаться, а у Гаврилы Иваныча не было такой храбрости, да и охоты не было. «Бить, так было бы за что бить, а то стоит,— еще греха наживешь».

— Оленка! — вдруг крикнул отец и стал глядеть на спину дочери; в левой руке был сапог с шилом, а в правой дратва с щетиной.

Елена молчит.

— Кому я говорю — стене, што ли? А?!

Елена молча повернулась к нему лицом. Она плакала.

— Послушай ты, дура набитая, дурака отца: што тебе за дурь пришла в голову?.. а?

Елена молчит, плачет.

— Тебе говорят! Я вышибу из тебя эти нюни-то. У-у!! — и он заскрежетал зубами.— А вот те сказ: Плотникову я все ноги обломаю, коли он еще сюда придет. Всем закажу то же сделать. Слышишь!.. не выдам я тебя за него замуж... Тебе говорят!

— Тятенька! я ни за кого не пойду больше.

— Ладно. Слушай, мила дочка. Ты думаешь, я не знаю, што тебе хочется замуж,— знаю. А Плотников тебе не пара, потому приказей, а ты мастерская дочь. Да и Ильке отец не дозволит жениться на тебе, потому он мастер.

— Я ни за кого не пойду...

— Я тебе говорю по-отцовски, потому эти дела знаю. Илька дурит, это я и ему скажу, и всем скажу. Найдем жениха по своей братьи.

— Тятенька!

— Дура ты, девка. Мне, што ли, не обидно это, да дело-то такое... такое, што Илька на тебе не женится. Вот што обидно-то; и я этова не желаю, потому не хочу родниться с подлыми людьми. И выброси ты эту дурь из головы. Да разве мало нашева-то брата. Э!..

Он принялся за работу, дочь повернулась к нему спиной и тоже задумалась. Долго она думала, передумывала отцовские слова, и казалось ей, что отец говорит правду; а если он ей зла желает... Нет, Илья не такой: он не пришел бы к ней в избу, не целовал бы.

— Слышь, подхалюза, поди-кось, запряги лошадь,— сказал отец дочери. Она ушла во двор.

«С девками иметь дело — просто беда, особливо с дочерьми. Девка што,— известно дело, мужика ей надо, с жиру бесится, и мужику девку надо, а дочь жалко. Ну, роди она, што с ней будет? эти же скоты проходу ей не дадут, а я-то тут чем виноват! Добро бы провьянт на ребенка давали,— нет. Вон ей минул восемнадцатый год, и провьянт прекратили — выдавай, значит, замуж... А уж за Плотникова не выдам. Сказано: не хочу родней иметь мастера-подлеца — и конец: сроднись с подлецами да мошенниками, сам будешь подлец и мошенник. Вот что! А девка, што,— дура. Ей понравился приказный, мастерской сынок, и взбеленилась. Экое диво стряслось: как не идти замуж! А потом што будет: муж попрекать мной станет, на порог меня не будет пущать, да и какое будет житье, коли свекор будет заставлять сапоги ему надевать... А то бы мне што: весится он те на шею, дурак эдакой, да ты знашь, што он разумной человек, ну и с богом, коли по любве, по совету да нами не брезгует... Это так».

Пришли Ганька и Колька. Отец распек их за то, что они бегали долго. Пришла Елена и объявила, что лошадь запряжена. Гаврила Иваныч оделся: надел сперва сапоги, обернув предварительно ноги онучами, потом сермягу, опоясался кушаком, за пазуху положил кисет с махоркой, кремнем, плашкой и трутом и взял шапку.

— Ты скоро? — спросила его Елена.

— Скоро. Кто будет, скажи — скоро.— Он ушел. Немного погодя заскрипели ворота, и отец уехал, сидя в телеге, по улице. Домашние не знали, куда он уехал, да он и не любил даже жене сказывать об этом.

Дома начался беспорядок. Колька лез то к Елене, то к брату с пискулькой и так себе, желая побаловать; никакие уговоры на него не действовали; от колотушек, получаемых им от брата, он хотя и плакал, но сам потом начинал ругаться и колотить ручонками, что в нем изобличало будущего рабочего человека со всеми наклонностями, врожденными и уже усвоенными от других ребят. Да и что ему, мальчугану, было делать: ему хотелось играть, а ребят одних с ним лет в избе не было. Ганька уже отвык от таких игр: ему хочется бороться, играть в бабки, ходить на голове, как ходят фокусники, которые нынешнего лета казали свою премудрость в заводском саду. Ему было скучно, но идти ему не хотелось, потому что он еще не был здоров; разговаривать с сестрой... но что он будет ей рассказывать и о чем ему говорить с ней; да он не то, что не любил сестру, но относился

к ней, как к постороннему человеку, только живущему вместе с ним в одном доме. Он так еще был мало развит, что плохо понимал родственную связь. Он только знал отца, мать и тетку; первых он боялся, потому что они его и били, и кормили, вторая его ласкала и давала гостинцев к праздникам; а сестру его колотили так же, как и его, а мать даже обращалась с ней строже сыновей. Поэтому он обращался с ней бесцеремонно, как будто считая ее ниже себя.

— Оленка! дай ись!

— Подожди, отец будет.

— Што мне отец, я сам молодец. Дай!

— Тебе говорят, подожди: хлеба-то и так мало.

— Молока дай.

Не дождавшись ответа, Ганька сходил в чулан и принес оттуда ковригу хлеба. Сестра только поглядела и ничего не сказала. Стал приставать к ней Ганька, чтобы она принесла молока, но она долго не несла, а потом, сжалившись, принесла кринку с молоком. Два братца живо опростали кринку. Елена знала, что на просторе они сытнее наедятся, и тоже сама выпила молока.

— Олена, давай в карты! — сказал Ганька.

— В калты, Оленка!

— Отстаньте; ишь, отцу халат чиню.

— После починишь. Ишь, какая... Давай,— приставал Гаврила.

И ребята, не дождавшись карт, ушли из избы.

Елена осталась одна и стала думать на просторе о всем, что с ней происходило за эти сутки. Совет отца приводил ее к тому заключению, что Илья Назарыч действительно может бросить ее на том основании, что он еще недавно с ней познакомился, да и между ними ничего не было особенного. Что тут особенного, что он приходил к ней без отца? Ведь к ее подруге ходят же молодые парни; ведь и к матери ее, и к ней, когда, кроме нее, никого нет дома, тоже приходят мужчины за чем-нибудь. Ну, и Илья Назарыч приходил за делом... Но она не могла покривить совестью перед отцом, а высказала ему, как умела, все, что она чувствовала. Зачем же это он сердится и что он тут находит дурного? Он говорит, что его отец мошенник. Ну, а ей-то какое до этого дело? — ведь ей нравится не отец, а сын. Плохо она поняла смысл слов отца, они ей казались какими-то обманчивыми, зложелательными. Но вдруг ей пришло в голову: «А ведь я его мало знаю. Он говорит, видел меня два раза до вечорки, а я не видала. Я на вечорке познакомилась с ним... Да мало ли я там видела парней и

в сертуках, и в халатах, и в рубахах; потом он в саду дал мне орешков...» И ей стыдно сделалось; ей даже кот Серко показался каким-то сердитым, хотя он и глядел умильно на ползущего по косяку таракана, которого ему было лень поймать... Еще стыднее и совестнее ей сделалось, когда ей показалось, что ей не нужно бы было сидеть у окна и вчера приглашать его к себе. «Экая я дура в самом-то деле! — думала она.— Ведь он мне совсем чужой, да он и не наш». Елена Гавриловна не очень любила запрудских жителей, на том основании, что она привыкла к простоте, а там, у разных должностных людей, она видела всё новые порядки, которые и осмеивала вместе со старослободскими девицами. «Ну, как же это я не сообразила, што он чужой, да и не наш, и как это он смел сюда зайти?»

Но чем дальше она думала, тем становилось ей грустнее, мысли стали склоняться в пользу Ильи Назарыча; ей стало жалко, что он не знает теперь, что с ней делается, хотелось увидать его, расспросить, хороший ли он человек. «Как увижу его, непременно спрошу: пьете вы водку? Коли не пьет, пойду за него замуж, не буянит — пойду; будет все такой ласковый — пойду. Нет, я у людей про него расспрошу: может, он это и вправду врет». И она решилась как-нибудь исполнить свое намерение. А жить в родительском дому ей ужасно опротивело: одной скучно; хотя за работой она и поет песни, для того, чтобы ей не думалось, и тут все-таки лезут мысли и невесело. Придет мать: это не ладно, то не так — и пошла ворчать. При отце немного получше, но зато тошно смотреть и слушать, как родители грызутся между собой,— и ровно не ссорятся они, да все у них брань. Придут ребята — крик, а от этого Кольки и покою нет, и ничем его не уговоришь... «И везде-то, господи, такая идет жизнь. Разве вот с Илинькой будет спокой. Говорят же девушки, что только и радостей у нас, что замуж выходить».

Часу в шестом Елена уже совсем управилась: она подоила корову, загнала ее и овечек куда следует, управилась с курицами, спустила из сарая сена, задала корму животным, приладила что нужно в погребе, хотела было сходить в баню за косоплеткой, но побоялась, посмотрела квашню, вымыла что нужно, поставила в печь свеклу и припасла ужин для семьи: положила на стол завернутую в изгребную скатерть ржаную полковригу, ножик, вилки (вилки Гаврила Иваныч получил за железо из кузницы, их у него было всего только две), деревянные ложки. В сенях стояла кринка утреннего молока. Набегавшись до устали, нахлопотавшись вдоволь, Елена Гавриловна не жаловалась, однако, что она

устала и измучилась. Она только, севши за починку отцовского халата, снова сказала: «Ох, завтра рано вставать-то надо! Как бы отец-то да пришел скоренько. Чевовича он там!..»

Глава IX
АРТАМОНОВ

В избу вошел полицейский служитель Артамонов. Этот человек считался за мастерового, но служил при полиции и заменял в заводе своею особою и казака, и квартального надзирателя, потому что надзирателей не было в полиции собственно для завода, а он был что-то вроде полицеймейстера. Артамонова все называли полицейским и боялись его, как язву, потому что он из своих интересов обирал рабочих, был хороший мошенник и сыщик, надувал начальство и в то же время угождал ему. Так как он наживал в сутки рубля по три, то и жил довольно хорошо, имея полукаменный дом, пару лошадей и три туго набитые сундука с разными вещами, принадлежащими его семейству.

Он еще вчера приходил к Елене, спрашивал, дома ли ее отец, и потрепал ее по щеке, но она обозвала его варнаком.

— Здорово, Елена Гавриловна! — сказал он, войдя в избу.

— Здравствуй.— Елена его ненавидела, во-первых, потому, что он был скверный человек, во-вторых, его физиономия была отталкивающая. Хорошо она помнила, как в прошлом годе отец по его милости просидел в полиции за то, что не дал ему рубля денег. А случилось это очень просто: отец вез домой пару бревен, да попался навстречу Артамонову, тот и приказал ему ехать в полицию, потому-де, что Токменцов без дозволения лес рубит.

— Где Токменцов? — спросил он грубо.

— Нету-ка.

— Тебя толком спрашивают: приехал он или нет?

— Ты не кричи, я ведь не отец — не боюсь тебя.

— Што ты!

Елена промолчала.

— Да знаешь ли, што я могу с тобой сделать?

Елена подумала: «Свяжись с дураком, и сама не рада будешь». Артамонов подсел к ней.

— Елена Гавриловна, ты чего на меня-то сердишься, дура ты эдакая? — и он ущипнул ее за ухо.

— Отвяжись, подлец! — и она перешла на другое место.

— Так я подлец?

— Подлец, как есть! только подойди — тресну поленом.

— Экая храбрая ты сделалась! Давно ли такая податливая была!

— Ты, коли за делом пришел, говори дело, а не прималындывай (т. е. не говори вздор).

— Я к тебе по делу пришел: хошь, отец твой будет казаком?

— Вот уж!

— Право: Емельянов захворал, вот и место, стоит только колесы подмазать.

— Спроси его, чего ко мне-то суешься с поганым рылом.

— Ты слушай: это все от тебя зависит.

— Ой-еченьки! какое слово сказал! как это так?

— А так.

И он подошел к ней и вмиг обнял ее. Елена хотела оттолкнуть его, но не могла совладать с дюжинным мужчиной. Артамонов ее целовал. Елена кое-как вырвалась, но он опять схватил ее.

Когда она пришла в чувство, то Артамонова в избе уже не было. Она ничего не понимала, что с ней делалось...

— Варнак! подлец! душегуб! — кричала она. Села она на лавку и давай плакать. Но слезами горю не поможешь.

— Господи! — вскрикнула она и стала на коленки, сильно рыдая.— Господи! — и сколько горя слышалось в ее словах! — Зачем ты попускаешь такие напасти? Пропащая я теперь. Порази ты его, царица небесная! Порази ты его, Илья пророк, громом и молниею...— Больше она ничего не могла придумать. В таком положении ее застала соседка Федосья Андреевна, пожилая женщина.

— Чтой-то с тобой, девонька?..

Глава X

ПОЛОЖЕНИЕ ЕЛЕНЫ

..В старой слободе заговорили.

И заговорили об таком предмете различно, как кто смыслил.

Первой вестовщицей была Федосья Андреевна Печенкина, соседка Токменцовых, подруга Онисье Кириловне, по-заводски Пивная Бочка, потому что она варила и продавала старозаводчанам пиво и слыла за бойкую и умную бабу, выручавшую не одного человека из беды, так как она была подруга письмоводительской кухарке.

От нее пошли суды и пересуды в каждом доме старой слободы. Женщины говорили: «Экое наказанье. Экая Олен-

ка несчастная!» — и в то же время прибавляли: «Сам плох, так не подаст бог». Девицы охали и боялись пройти мимо токменцовского дома, точно в нем черти сидят. Одним словом, женский пол был против Елены; Елену стали перебирать и нашли в ней много худого, несмотря на то, что до сих пор Елену любили все, как хорошую знакомую. Одни говорили, что Елена гульная девка; Елена и раньше, в отсутствие матери и отца, приглашала мужчин с запрудской стороны, чему ее научила Печенкина, жившая с одним рабочим-старослободчанином и в настоящем случае прикинувшаяся святошей... Другие говорили, что Елена давно познакомилась с Плотниковым и Артамоновым. Словом, Елену считали за самую скверную девку, и в самом доме Токменцова видели какую-то язву. Мужчины, слушая баб, рассуждали иначе, потому что подобные дела им были не в диковинку... Мужчины, как мужчины, относились к этому делу так себе и на рассуждение баб говорили: «Стоит об чем толковать!..»

— Да ведь после этого ни один парень не возьмет ее замуж! — возражали мужьям жены.

— Все-таки не стоит говорить.

Мужчины об этом происшествии не любили разговаривать еще потому, что они и сами не были целомудренны, когда работали в лесах и в рудниках подолгу, но, надо отдать им честь, они говорили:

— Этому Артамонову нужно хорошую баню задать; потому, зачем он такое дело сделал, зачем Токменцова обидел! Разве можно с нами обращаться, как с собаками?

Так прошел вечер, и молва об Елене начала проходить утром в запрудскую сторону; но до Ильи Назарыча не дошла, потому что у него на старой слободе жила глухая тетка Коропоткина, а писцы главной конторы об этом происшествии еще не знали.

Гаврила Иваныч, возвращаясь домой, услыхал эту новость от одной женщины,— и ему этого было достаточно, чтобы придраться к дочери. Но такое дело было сверх его предположений, потому что он свято уважал законный брак, и как бы он ни был зол на жену, он никогда бы не решился завести шашни. Женщина ему сказала: «Какое с твоей-то Оленкой несчастье стряслось...» А Гаврила Иваныч думал: «Коли Плотников ее целовал, так уж што»... И на другой день он выстегал Елену в бане, несмотря ни на какие резоны дочери и просьбы Федосьи Андреевны Печенкиной.

Федосья Андреевна была добрая женщина. Она стала спрашивать женщин: что делать Елене в подобном случае?

Те ничего не посоветовали ей хорошего; мужчины говорили: «Надо подать прошение исправнику, только вот Елену с Плотниковым видали. А может быть, Плотников и выхлопочет то, что Артамонова в острог посадят, потому что его сестра замужем за исправницким письмоводителем».

Первым долгом Печенкина отправилась к кухарке письмоводителя, которой она принесла бурак пива, но письмоводителя дома не было: он вместе с исправником уехал на следствие. Кухарке Печенкина не сказала, зачем ей нужно письмоводителя. На другой день после этого она решилась идти с Еленой к управляющему — искать защиты, но удачи и тут не было.

Защиты искать было не от кого Елене. Положение ее было очень скверное: в старой слободе все про нее говорили. Выйдет она из дома — и стыдно ей на дома глядеть, а если она взглянет, то в окне увидит непременно кого-нибудь: мальчик или девочка ползает на окне — ей кажется, что это большой; глядит ли в окно девушка — ей кажется, что она глядит для того, чтобы поглядеть на нее, на Елену...

Прошел день после отъезда отца. Дома страшно. И думает Елена Гавриловна: отчего ей страшно? «Ведь вот и не придет Иля. Я бы посоветовалась с ним. Я бы ему много сказала...» А что бы она сказала, она и в толк не возьмет. И хочется ей, чтобы пришел Илья Назарыч, и опять думается ей: грешно!

«Подлый этот народ — запрудские!» — думает Елена, но Илья Назарыч ей милее всех.

«Убегу я отсюда... Здесь нельзя мне жить: все меня едят». Но опять ей думается: «Нет уж! Такие случаи не бывали в заводе»,— и она называла себя дурой за то, что ей пришла в голову такая мысль. Но эта мысль с каждым часом мучила ее.

Днем еще не так она мучилась: она работала; вечером она была свободна, а в это время соседи сидели на улице и, наслаждаясь чистым воздухом, толковали о разных разностях. Елене хочется выйти на улицу; Елену зовут на улицу девушки, а как она выйдет, когда про нее говорят всякую всячину?

Слушает, слушает их Елена, да услышит свое имя и скажет: «А виновата ли я-то?.. Сами-то вы как живете?..»

Глава XI

ЕЛЕНА ХОДИТ ПО ГРИБЫ И ПО МАЛИНУ

На четвертый день после отъезда Гаврилы Иваныча на рудник пришла к Елене тетка ее, Степанида Ивановна Шарабошина.

— Ну, что, Елена, говорила тебе Матрена Егоровна о чем-нибудь?

— Она, тетушка, говорила, не поедешь ли ты на покос.

— Как не ехать? завтра чем свет ехать надо. Ну, а еще-то ничего не говорила?

— Нет, ничего.

— Ой, врешь!

— Ей-богу, тетушка, ничего.

— А я тебе скажу, што она хочет Макара женить.

— Так мне-то што?

— А она больно на тебя зарится, да и Макар-то тоже.

— Вот уж, пьяница!

— Кто нынче не пьет, Елена! На што мы, бабы, и то пьем. А Макар — парень работящий. Смотри, он всю семью кормит.

— Так ты не сосватала ли меня?

— А хоть бы и так. Уж я и брату говорила,— согласье дал.

— Ой, тетушка! я ни за што не пойду за Макара замуж.

— Это отчего так? Али ты захотела потаскушей сделаться, а?

Елена заплакала.

— Смотри, девка, не серди меня! Ты знай, что, кроме меня, никто тебе добра не пожелает.

— Вот уж пожелала: за экова пьяницу сватает!

— Давно ли ты такая разборчивая сделалась? Да ты то рассуди, безрогая ты скотина, што за тебя после экова греха никто не станет свататься. Право слово... Ну, кто тебя возьмет?

— И не надо.

— Мало тебя отец-то полысал.

— И ты на меня! Хоть бы ты-то меня не грызла... Поди-ко, легко мне, экое счастье!

Степанида Ивановна поворчала немного и послала Елену на рынок за солодом.

Идти на рынок приходилось мимо главной конторы. Только что она поравнялась с конторой, как из нее выходит Илья Назарыч. Сердце дрогнуло у Елены. Она пошла скорее, смотря в другую сторону.

— Елена Гавриловна! — окликнул ее Илья Назарыч. Елена идет своим чередом, не оглядываясь.

— Елена Гавриловна!

— Чего вам? — оглянувшись, сказала Елена и стала. Плотников подошел к ней, поклонился и подал ей руку. Она молча спрятала свою руку.

— Что с вами сделалось? — и он взял ее правую руку, сжал крепко.

— Ничего... Пустите!

— Позвольте, я вас провожу!

— Ой! што вы!

— А батька дома?

— Уехал на рудник,— и она, вздохнувши, задумалась

— Вот што: пойдемте завтра по грибы.

— С вами — это? — Она пошла, рядом с ней шел и Плотников.

— Что же такое! Я не съем; вам веселее будет, поговорим...

— Ой, как можно!

— Да ведь ходят же по грибы с чужими людьми! Мы не заблудимся: я все места знаю.

— Нельзя, Илья Назарыч: тетка на покос зовет.

— На покос успеете: завтра суббота, завтра сходим, потом в воскресенье сходим.

— Не знаю.

Елена задумалась. Ей хотелось сказать Илье Назарычу, что ее хотят выдать замуж за Чуркина, да она побоялась сказать.

— Так придете?

— Ой, не говорите!

Шли молча до рынка. Там Елена купила солоду, а Плотников поджидал ее у рыночных весов.

— До свиданья, Елена Гавриловна! — сказал Плотников, когда Елена пошла домой.

— Прощайте!

— Так придете завтра?

— Куда опять?

— Да к мостику.

— Да как я приду-то? тетка прогонит на покос.

— Ну, я таки буду дожидаться до девяти часов.

— А почем я эти часы-те знаю!

Елена Гавриловна шла уже по плотине. И обидно ей сделалось, что она ничего хорошего не поговорила с Ильей Назарычем, не посоветовалась с ним. Что есть, и говорить она не умеет, а он, вишь ты, как говорит, как по-писаному. Она по грибы очень любила ходить, только в нынешнее лето очень немногие ходили по грибы, потому, во-первых, что грибов еще мало, а во-вторых, погода стояла ненастная. Теперь погода стояла хорошая, так опять черт сунул тетку на покос ехать! Все-таки любовь брала свое: ей сильно хотелось идти по грибы с ним, а не с кем-нибудь другим, и ему

высказать все, что с ней сделалось, спросить у него совета... «Господи, помоги ты мне!.. Матушка-тетушка, отпусти ты меня по грибы завтра, а на покос я в воскресенье поеду с тобой... Матушка-тетушка, как я из дома уйду? пусть Ганька уж едет, а то отец пришлет за хлебом, а нас и нету-ка дома-то». Так думая, она пришла домой, а оттуда пошла к Степаниде Ивановне.

— Смотри, Елена, завтра раньше вставай. К обеду надо на покосе быть.

— Тетушка!

— Чево еще?

Елена замялась.

— Возьми ты Ганьку, а то неровно отец с рудника за хлебом пошлет.

— Не дури. Поди, спи.

Елена ушла и думала: какую бы ей такую штуку сделать, чтобы завтра не ехать на покос. Но ничего не выдумала, и, засыпая, она думала: «Вот какая я злосчастная! Ни в чем-то мне нет счастья... Ох, уж эти родные!..» Однако утром она стала выдумывать. «Вот я возьму корову запру в огород, да и скажу — потерялась корова. Но ведь корова, пожалуй, всю капусту съест; выгнать ее в поле — придется гнать мимо теткиного дому». Вдруг ей пришла мысль загнать ее в погреб. «А если тетка вздумает за чем-нибудь идти в погреб? Скажу — ключ потеряла». Итак, подоивши корову и взявши оттуда литовку, две кринки молока, две ковриги хлеба, закрывши яму крышкой, убравши хрупкие вещи, она загнала туда корову и заперла погреб. Только что она успела это сделать, как к воротам подъехала телега, запряженная в серую лошадь. В телеге сидела Степанида Ивановна с сыном Андреем. В это время корова замычала в погребе.

«Ах ты, проклятущая!» — подумала Елена и выбежала на улицу. В телеге лежали две литовки, в которые были вдернуты по двухаршинному черенку (палка).

— Тетушка, корова потерялась!

— Што ты врешь!

— Ей-богу. Искать побежала. Вчера, как от тебя пришла, подоила, заперла в стайке, а сегодня нетука, и ворота, что есть, растворены.

— Оказия! Да ты искала ли?

— Везде высмотрела: и в огороде, и у соседей. На поле хочу сбегать.

— Ну, чево ино ждать-то? — крикнул Андрей матери.

— Молчи! Подожди ино, я парней разбужу.

И Степанида Ивановна слезла с телеги, вошла во двор, поглядела кругом, заглянула в огород — коровы нет и пошла в избу будить ребят.

— Я, тетушка, совсем собралась, и литовку с вечера приготовила. Думаю, стряпать нечего, подою корову, соберусь — и готова. Эдакая напасть! Надо бы скорее искать корову-то.

Николай и Гаврила кое-как расклемались, нехотя оделись кое-как и почти полусонные сели в телегу. Когда Елена провожала тетку, корова опять замычала.

— Штой-то ровно ваша коровенка-то? — заметила Степанида Ивановна и стала вслушиваться, но корова перестала мычать, и скоро Степанида Ивановна села в телегу. Тронулись.

— Так ты смотри, Елена, завтра приходи непременно.

— Ладно, тетушка.

«Слава те, господи! Экая я счастливая»,— думала Елена, как только поехала Степанида Ивановна с Андреем, Гаврилой и Николаем. Был еще шестой час утра.

Елена очень трусила того, чтобы тетка ее по какому-нибудь случаю не воротилась назад, и поэтому медлила выпускать корову из засады. Ей не было дела до того, что корове холодно в погребе, она только об том думала, как бы ей скорей уйти к мостику, а как только она уйдет туда, так тогда ее хоть целый день ищи, если только не догадаются, куда она ушла. О том, что тетка может раздумать ехать на покос и от Чуркиной воротится назад, она теперь не думала. Раза четыре она выходила за ворота и смотрела, не едет ли тетка домой, в пятый раз сходила в переулок, посмотрела на плотину, и, удостоверившись, что тетка уехала, она выпустила мычащую корову из погреба, загнала ее в стайку и дала ей две порции корму. Потом, мучимая страхом, что тетка воротится, она надела на босые ноги ботинки, на голову платок и выскочила на улицу. Но она забыла набируху и воротилась назад. Положила она в набируху ножик, два ломтя ржаного хлеба, на которые посыпала соли, заперла сени на замок и пошла, крадучись, боясь, чтобы ее не встретили соседки. Но избежать встречи было трудно: ей попадались мужчины, шедшие из фабрик; они ничего не говорили с ней. Попалась ей старуха, погоняющая свою корову, и спросила ее:

— Куда, девоха, покатила?

— Корову пошла искать.

— А набируха-то пошто у те?

— А может, гриб найду.

Вот прошла она плотину, завернула к фабрикам. Шла она бойко, сначала все оглядывалась, потом вздохнула свободнее и пошла тише, зная, что до мостика всего полверсты осталось. Попадались ей рабочие, конные и пешие, возвращавшиеся домой из Петровского рудника. Один из них был знакомый Елене.

— Куда ты?

— По грузди.

— Тоже.

— Отца видел?

— Нет, не видел.

Елена струсила, но все-таки шла краем леса. Вот она у мостика, перекинутого через лог, где течет из лесу ручеек. Тут она села. Сердце билось как-то приятно: вот он придет... Ах, как долго! Не ушел ли он?.. Долго еще просидела Елена, скучно и страшно ей сделалось. «И зачем это я, дура набитая, пошла?.. Если тетка воротится да корову увидит, да меня не застанет?» Но она не шла назад, а ждала Плотникова. Вот и он идет в коричневом халате, полы которого заткнуты за ремень, которым он опоясался, в холщовых штанах, желтой ситцевой рубахе, в сапогах, с папироской во рту. В левой руке он держит набируху.

«Спрячусь я!» — вздумала вдруг Елена и спряталась в кусты; смешно ей сделалось.

Плотников сел на мостик.

— А-у! — услыхал Плотников тоненький голосок, похожий на кошачий визг. Он вздрогнул, поглядел кругом и стал смотреть на дорогу по направлению к заводу. Елене обидно даже стало, что Плотников не ищет ее.

— Илья Назарыч! — вскричала она своим голосом. Сердце забилось сильнее, она улыбалась.

Плотников встал, посмотрел в ту сторону, откуда послышалось восклицание, и увидал сарафан.

— Елена! это ты?

Елена вышла и захохотала.

— Обманула, обманула! Ловите!! — и она убежала в лес.

Плотников тоже пошел в лес. Слышно было, как хрустели сухие ветки, валежник. Плотников крикнул:

— Елена, уу!

— А-уу!!

— Иди сюда-у!

— А-уу! — Эти восклицания далеко раскатывались по лесу и гудели где-то далеко.

Плотников шел на отклик Елены, которая была уже далеко через лог.

«Что за глупая девчонка! — думал он.— Ну, зачем она прячется?» — и старался догнать ее.

Илья Назарыч за это время много передумал о своей любви и о своем желании жениться на Елене. Он хорошо понимал, что Елена его любит, а это он заключал из обращения ее с ним в ее избе. Когда он проснулся на другой день после сцены в слободе и на плотине, ему вдруг пришла в голову мысль, что он уже слишком далеко зашел с своими похождениями. Он очень много видал женщин и девиц в заводе и в городе, сравнивал тех и других и невольно задавал себе вопросы: отчего красивые запрудские девицы не нравятся ему? ведь есть и красивее Елены; но его от них как будто тошнило. Ведь есть и красивые и при том отцы их богатые, стоит только раз завлечь их — и жених; но ему не нравилось, что в них такой простоты не было, как у Елены. Перебрал он все свои мысли, все воспоминания, все слова, говоренные с нею, и пришел к тому заключению, что Елена ему лучше нравится, чем другие девицы; но он что-то находил отталкивающее в ее натуре, какой-то тяжелый туман ложился в это время на его мысли; он старался гнать прочь этот туман и только думал: она девушка славная, я одну ее люблю,— и при этом он потягивался, кровь билась сильнее, в голове чувствовался жар...

Когда он увидал в лесу Елену, на него напала робость. Он бежал за ней, ему хотелось обнимать и целовать ее целый час, целый день; утром он думал, что ему легче достанется Елена, он смелее приступит к ней, а теперь его пробирала дрожь, он сделался не то скучный, не то злой.

Что чувствовала Елена? Она обрадовалась, что Илья Назарыч пришел, но ей вдруг стыдно сделалось, что она одна в лесу с мужчиной, и она убежала в лес, а поди, ищи ее в лесу, где ей чуть ли не каждый пень знаком. Сперва она чувствовала, что она бог знает в каком благодатном месте находится: дышалось свободнее, петь хотелось, плясать хотелось, каждое дерево шелестило своими мохнатыми ветвями как-то любезно, пахло хорошо, муравьи ее забавляли; но потом ей вдруг сделалось грустно. «Зачем я убежала от него?.. Нет, нет... Пусть побегает, порыщет!.. Он в халате, пусть издерет его... Вот смехота-то будет...» Потом ей хотелось высказаться ему, но что она ему скажет?

С час уже прошло так. Они все удалялись дальше в лес; Илья Назарыч все был позади. Наконец, она вышла на полянку, вокруг которой рос высокий сосновый и осиновый лес,

солнце приветливо смотрело в это благодатное место, грело. Села Елена около лесу, спиной к солнцу, положила на землю около себя набируху, в которой было уже много грибов. Вздохнула она тяжело, задумалась, глядя в угол — в лес, стала считать деревья, задавило что-то в груди, и вдруг покатились из глаз слезы; пошли и пошли... Хочет Елена унять слезы, а они пуще и пуще идут. «Господи! — шепчет она и смотрит в небо: — го-о-споди!.. Какая я несчастная. Пожалей ты меня, пожалей тятеньку и маменьку...» Наконец, она вздрогнула, утерла ладонью мокрое лицо, стало легче... Вдруг она обернулась налево — стоит Плотников и смотрит на нее. Вскрикнула Елена от испуга, вскочила, схватила набируху и убежала в лес.

— Елена!

Елена молчит.

— Елена-у!

— Ну-у!

«Господи, какая я дура... При нем-то разнюнилась!.. Чтой-то это со мной?.. Дурак! Подмечать, ишь ты...»

Она ушла очень далеко от Плотникова, стало ей весело, и она запела, сначала едва слышно, потом громче и громче заводскую песню:

Калинушка да с малинушкой
Раным-рано расцвела.
На ту пору-времечко
Мать дочь родила (два раза).
Споила, вскормила,—
Замуж отдала.
Я на свою маменьку
Ой да осердилася;
Я ко своей маменьке
Три года не приду;
На четвертый годочек
Пташечкой прилечу (два раза).
Сяду во зелен сад,
Тоскою-кручиною
Весь сад осушу,
Слезами горючими
Речку пропущу.
Матушка по сеничкам похаживает,
Невестушек-лапушек побуживает:
Станьте вы, невестушки,
Лапушки мои!
Што у нас за пташечка
По саду поет?
Где же эта пташечка
Причеты берет?
Первый братец сказал:
Пойду посмотрю.

Другой братец сказал:
Пойду застрелю.
Третий братец сказал:
Пойду приведу (два раза).
За стол посажу.
Стану ее нежить,
Ласкать, целовать:
Это наше дитятко
С чужой стороны.

Эту песню она пела с таким чувством, что ничего не замечала кругом, а шла тихо, бессознательно, куда глаза глядят, кружась в лесу.

Илья Назарыч бесился. Он не понимал, отчего Елена плачет, и, как он увидал ее, она убежала в лес, а теперь поет. «Уж догоню же я ее».

— Елена-у!! — крикнул он громко.

— Илька-у!! ау-у!! — откликнулась Елена.

Илья Назарыч нагнал Елену. Она сидела около тропинки и ела хлеб. Набируха ее была полна с верхом, у Ильи Назарыча и половины не было грибов.

— Ой-ой! Как вы халат-то отполысали! — Елена захохотала. Халат Ильи Назарыча действительно был продран во многих местах. Илья Назарыч поставил набируху на землю, рядом с набирухой Елены.

— О-о! сколько грибов-то! Какой вы ротозей! По воронам у вас глаза-то смотрели, што ли?

— Так что-то. Счастья нет...— И он сел рядом с ней.

— Хлеба хочете?

— У меня свой.— И Илья Назарыч стал есть свой кусок ржаного хлеба. Сидели молча минуты две.

— А я какую славную кучу нашла груздей... Вот этих самых. Восемь, никак, срезала.

— Я рыжиков много нашел.

— Ну, уж!.. А у меня какие славные рыжики! Глядите.— И она сняла четыре больших белых гриба; в набирухе лежал пласт очень мелких рыжиков.

— Ты зачем давеча плакала? — спросил Елену, немного погодя, Плотников.

— Когда?

— На полянке.

— Уйди! Когда я плакала! я так... Много будешь знать, состаришься...

Вдруг Илья Назарыч обнял Елену и поцеловал. Елена вырвалась, вскочила и закричала:

— Ну, чтой-то, в самом деле, за страм! — И она, схватив палку, прибавила, чуть не плача:

— Подойди только, лешак экой, как я те учну хлестать! Разве можно так-то?

— Ты любишь меня?

— Вот уж! стоит экова фармазона любить...— И она улыбнулась.

Елена встала, взяла набируху и пошла.

— Посидим.

— Домой надо.

— Да ведь дома никого нет.

— Чего я шары-то стану продавать! — И она пошла весело и запела: «Все-то ноченьки...»

— Елена! Я те подарок принес.

Елена остановилась, улыбнулась и сказала:

— Врешь! Ну, давай.

— А поцалуешь?

— Ой, нет! — И она отвернула лицо.

— Возьми.

Елена подошла к Илье Назарычу, он дал ей горсть красных пряников и четыре конфетки.

— Покорно благодарю,— сказала стыдливо Елена.

Пошли. Елена шла впереди, а Плотников позади ее.

Илья Назарыч шел злой. Ему вдруг досадно сделалось, что Елена не поцеловала его за подарок, как будто играет им. Но ему все еще хотелось достичь своей цели, иначе что же ему за польза была идти по грибы сегодня, тогда как сегодня у него была работа в конторе.

— Што же вы назади-то идете, как нищий! — сказала вдруг Елена, обернувшись к Илье Назарычу.

— И здесь ладно.

— Ладно! Я не люблю, кто за мной примечает.

— Я тоже не люблю,— сказал ядовито Илья Назарыч. Елена остановилась. Илья Назарыч пошел и не глядел на нее. Когда он поравнялся с ней, она ударила его по плечу рукой и с хохотом убежала в лес. Илья Назарыч немного повеселел и пошел было за ней в лес.

— Догони! Ну-ко? Кто скорей бегает? — крикнула Елена, заливаясь хохотом в лесу.

Илья Назарыч побежал за ней; долго он бежал, и, наконец, нагнавши, схватил ее за платье.

— Вот уж теперь не отпущу.

— Отстань!.. Илька!..— кричала Елена, но не так громко. Лицо ее сильно покраснело, она тяжело вздыхала. Илья Назарыч обнимал Елену, она отбивалась и вырвалась. Половина грибов у нее из набирухи высыпалась.

— Разве так играют! — сказала чуть не в слезах Елена, обидевшись баловством Плотникова.

— Елена! если ты любишь меня, подойди, поцалуй.

— Как же! — и Елена пошла.

Раза четыре Елена заставляла Плотникова идти вперед, бегала от него, раза четыре он нагонял ее и обнимал, но Елена только раз дозволила ему поцеловать себя,— и то тогда, когда не могла справиться с ним. Так они дошли до мостика.

— Пойдем завтра за малиной? — сказала вдруг у мостика Елена Плотникову.

— Приду, приду.

Илья Назарыч пошел вперед, а Елена далеко отстала от него. В слободе ее четыре женщины спрашивали: а што ты, Олена, на покос не пошла? По грибы так пошла...

Рано Елена легла спать, долго она думала о нынешнем дне, сердце билось радостно, лицо горело. «Все я буду с ним ходить... Ишь, цаловаться просит! как же: на вечорку бы,— а то... А поцалую же я его!..» И она крепко обняла подушку... Так и заснула.

На другой день Елена уже не много дичилась Ильи Назарыча. Когда оба они набрали много малины, находились вдоволь, напелись и надумались вволю, то, сойдясь вместе, сели рядом и стали закусывать.

— Чтой-то ты прежде такой ласковой да шут был, а теперь все молчишь?

— Невесело, Елена Гавриловна.

— Будь ты проклятая хвастуша! Кто те по затылку-то колотит, што ли?

— Елена! — и он обнял Елену.

— Слышь, Илька! в последний раз говорю: ей-богу, никогда не буду с тобой ходить.

— И не ходи, черт с тобой! — Илья Назарыч закурил папироску.

Оба замолчали.

— Как бы нам, Елена, видеться с тобой чаще? — спросил вдруг Илья Назарыч.

— А по малину будем ходить.

— А зимой?

— Вечорки будут.

— А если тебя замуж выдадут?

Елена задумалась.

— Ну уж, не выдадут. Ни за кого не пойду.

— А за меня пойдешь?

— Што дашь?

Елена встала, пошла в малинник, за ней шел и Плотников.

«Экая я дура,— думала она.— Зачем это я столько наболтала?» Малины было очень много, она, стоя на коленях, теребила ее с веток и бросала горстями в набируху. Лицо ее словно жгло что-то, голова как будто горела...

— Иля-у! — крикнула она во все горло, потому что Плотников давно не кликал ее.

— Здесь,— сказал негромко Плотников. Он был позади ее, в двух шагах. Она вздрогнула, оглянулась, он тоже оглянулся. Он и она улыбались, но видно было, что и Плотников был, как говорится, не в своей тарелке, т. е. машинально рвал малину. Вдруг Елена подвинулась к нему на коленях и, подавая крупную белую ягоду, сказала:

— Надо?

— Давай.

— Нет, не хошь!

Плотников хотел схватить ее за руку, но она не давала ее. Наконец он схватил ее руку, сжал крепко; Елена взвизгнула, наклонилась к нему, он ее обнял... Тут она вдруг подняла лицо, Илья Назарыч крепко начал целовать ее, и Елена, обняв его шею левой рукой, поцеловала его и отскочила.

— Молчи! Иля!.. никому не говори,— и она опять стала собирать малину. Стыдно ей стало, но и весело как-то, так весело, как никогда. Теперь она не чувствовала в себе никакого горя. Опять сели, стали целоваться без принуждений. И долго они целовались; Елена чувствовала себя самой счастливою женщиной; теперь только она поняла, что эти поцелуи далеко лучше, чем на вечорках.

— Ты, Иля, женишься на мне? — спросила она вдруг Илью Назарыча, обнимая его, смотря ему в глаза.

— Женюсь, Леночка.

— А бить не будешь?

— Нет.

И опять они целовались долго-долго. Домой Елена Гавриловна пришла веселая и долго распевала одну песню: «Што поеду ли я, молодец, в Китай-город...» Но невесело было Илье Назарычу: когда он пришел домой, отец пьяный бил своего товарища, мастера Китаева. Стал Илья Назарыч унимать его, он кинулся на него и так побил, что Илья Назарыч встал с полу с окровавленным носом и большими синяками на лице и на лбу.

Глава XII

ПЕТРОВСКИЙ РУДНИК

В это время уже половина осиновцев обеих половин кончали страду. Надо заметить, что осиновцы хотя и назывались разными названиями по работам, но все они называли себя мастеровыми. Большая же часть их называлась непременными работниками. Эти непременные работники делились на два разряда: конных и пеших; конные возили дрова, уголь, руду к фабрикам и справляли другие работы; пешие работали на фабрике, в рудниках и у рудников. Конным назначалось работать 200 дней в году, пешим 125; с первого мая по первое ноября им полагалось работать половину месяца на заводе, половину на себя. Но это были только правила, на деле выходило напротив в Осиновском заводе: все зависело от управляющего, прикащиков и надзирателей. Так что Токменцов и сотни его товарищей пользовались свободой много-много месяц в году, и против этого они ничего не могли сделать, потому что прогульный день им ставился в вину, за которую их наказывали. Кроме этого, их еще стесняли и на провианте: например, Токменцову полагалось провианта четыре пуда в месяц, а давали три и два пуда; на Гаврилу, до пятнадцатилетнего возраста,— полтора пуда, а давали пуд или тридцать фунтов. И против этого осиновцы не могли ничего говорить, потому что жаловаться некому, да и за жалобу, если бы она была сделана, им пришлось бы поплатиться своей шкурой, и они все-таки не получили бы того, что бы им следовало. Поэтому положение рабочего народа было не легкое. Не все, конечно, были в таком положении. Писаря, называвшиеся тоже непременными работниками, служившие в конторе и заправлявшие делами, кроме членов конторы (которые служили по найму за хорошую плату и были больше отставные чиновники),— те, называясь мастеровыми, получали наравне с рабочими провиант. Итак, в Осиновском заводе, по-настоящему, было два класса людей: непременные работники и мастеровые, и оба назывались нижними горными чинами. Мастеровые, собственно говоря, означали мастера, т. е. не так, как понимали рабочие, что мастеровой — значит работник. Мастеровые были нарядчики, прикащики и другие должностные лица на рудниках и в фабриках,— люди, с детства не знавшие тяжелой работы. Эти люди занимались торговлей в заводе, из них были плотники, столяры, портные (впрочем, портным и сапожным ремеслом в заводе больше занимались отставные солдаты и приезжие мещане, так же

как и в гостином было два купца не из осиновцев), были кузнецы, медники и тому подобные люди, и они или поставляли вместо себя рабочих, или платили за это деньги, а иные с детства пользовались особенною милостью. Мастеровые жили, конечно, гораздо лучше непременных работников, имели лучшие дома, кой-какие деньги и даже важничали над рабочими, считая себя выше их. Поэтому мастеровые составляли в заводе свой отдельный кружок, в который трудно попасть рабочему. Впрочем, мастеровые не из начальников, люди кое-как перебивающиеся своим трудом, с рабочими жили дружно, роднились, но все-таки в обращении их была какая-то натянутость. Так как мастеровые жили дома, то рабочие часто просили их о чем-нибудь, например, поработать в фабрике или у рудников за деньги, привезти дров, сена с покосу — и преимущественно помочь косить траву. Рабочие же, с своей стороны, сами услуживали мастеровым вдвойне.

У каждого семейного осиновца, принадлежавшего Граблеву или приписанного к нему, был покос, переходивший из рода в род. Вновь, новому поколению, редко давали покос; поэтому покосы обыкновенно делились между детьми, но трава косилась сообща, и воровства почти не было, потому что за воровство товарищи расправлялись своим судом и били ужасно. Покосы большею частью находились в нерасчищенном лесу. Дрова тоже отпускались по билетам из особых делянок, и ни один рабочий не рубил леса с своей земли, а старался срубить бревешко или нарубить дров в господской даче, задобривая при этом лесных сторожей.

Прошло уже преображенье; половина травы на покосах скошена и сложена в зароды, половина еще не скошена; одна часть осиновцев убралась на покосы, другая работает на завод, дома остались только старухи, старики да маленькие дети.

Петровский рудник находится в 20 верстах от Осиновского завода, в пятнадцати верстах от того мостика, где встречались Елена с Плотниковым; покос же Токменцова находился в двенадцати верстах от завода; дорога к нему идет сначала небольшой просекой, а потом узенькой дорожкой, лесом, мимо старого закрытого рудника Михайловского. Когда Токменцов выехал за завод, он опомнился.

«Совсем они меня сбили с толку. А не поеду же я на рудник!» — И он заворотил на покос, хотя у него и не было литовки с собой. Навстречу ему попадались пешие запрудчане, с литовками и без литовок.

— На покос? — спрашивали его первые попавшиеся.

— На покос. Одолжи, Савелий Игнатьич, литовки.

— Да мне завтра самому надо косить.

— Завтра отдам. А не видали ли Петрушку Фомина?

— Он там, на покосе.

Получивши литовку, Гаврила Иваныч поехал на покос. Покос его находился в лесу на болотистом месте, трава была большая. В таких же лесах с небольшими полянками были покосы и других рабочих, которые уже клали в копны, а потом таскали граблями в зароды. Народу кругом было человек до тридцати — мужчин, женщин и ребят, все они работали тут уже двои сутки, с раннего утра до позднего вечера. Работа кипела. Увидал Гаврила Иваныч Петра Павлыча Фомина, мастерового с запрудской стороны, занимающегося кузнечным ремеслом, давнишнего своего приятеля, с которым он каждый год косил траву. Он работал с молодой женой вдвоем.

— Давно не видать где-то! — сказал Фомин, увидав Гаврилу Иваныча, въехавшего на чужую полянку.

— Да вот надо бы косить, да не знаю... Не поможешь ли, Петр Павлыч?

— Не знаю... Домой надо; двои сутки валандаюсь.

— А где у те Анисья-то? — спросила жена Фомина.

— В город уехала штаны продавать.

Фомины захохотали.

— Помоги, Петр Павлыч!

— Ну, не то ладно. Давай-ка догребай с того конца.

Снял Гаврила Иваныч зипун, закурил трубку и принялся за работу. Дело было привычное, грабли из рук не валились, и он живо греб сено, составляя из него кучу, стараясь скорее помочь товарищу, чтобы тот помог ему, а то если пойдет дождь, завтра Фомин уедет домой.

Стало темно. Половина рабочих с покосу ушли домой, а половина рабочих собрались в кучу, разложили огонь на полянке, уселись вокруг огня и стали закусывать: у иных было в берестяных бураках сусло, у одной женщины был пирог с морковью, у другой пирог с свежими грибами, а Фомина дала мужу и Гавриле по куску пирога с свежим зеленым луком; потом ели малину. Высоко поднимавшееся пламя с серым густым дымом хорошо освещало смуглые лица сидящих в различных позах людей, в разноцветных одеждах, зевающих, едящих и разговаривающих. Разговоры шли дружные, брани не было, но говорили недолго: скоро улеглись, кто у огня, кто в телеге, и скоро заснули крепким сном, только одни лошади, привязанные на длинные веревки к деревам или распущенные без привязи, с боталом на шее

и с путами на ногах, тихо бродили по скошенной траве и щипали ее. Утром, часа в четыре, встали все один за другим и принялись снова за работу.

Около вечера приехала и Степанида Ивановна с Чуркиной и ребятами. Она удивилась, что застала брата на покосе, а тот удивился, что нет Елены. Но скоро успокоился. Началась опять работа и продолжалась трое суток. Гаврила Иваныч и Ганька с Шарабошиными и Чуркиными, скосив траву на своем покосе в сутки, разметали ее на ближайшей лужайке, другие и третьи сутки помогали Шарабошиной и Чуркиной, а в четвертые склали свое просохшее сено в зарод, заключавший в себе возов восемь сена. Угощения по окончании страды никакого не было; а каждый говорил: приходи же в успенье-то.

Поехал Гаврила Иваныч домой веселый; поехали веселые Чуркины, Фомины и Шарабошины. Но о женитьбе сына Чуркиной, как во время страды, так и теперь не было и слова. Не доезжая до мостика верст пять, из перекрестной узенькой дороги выехал верхом на лошади десятник Оплатов.

— Токменцов! на работу в рудник.

— Ты вишь, я с покосу еду.

— Мое это дело-то, што ли? Ишь, назначение вышло сто сорок восемь человек сегодня нагнать на рудник.

— Што так: ведь семьдесят восемь было.

— Приказ такой, сказано! Малолетков велено двенадцать да подростков тридцать.

— Оказия!

— Ишь, от управляющего, болтают, указ такой в контору вышел, штоб к успеньеву дню было непременно добыто из нашева рудника две тысячи пудов руды, а время-то сколь? — всего четыре дни; а сам знаешь, сколько шахтов-то: всего четыре. Ну, разумеется, контора с прикащиком и давай умом мутить.

Токменцов стал было просить десятника освободить его от работы, просили и все его товарищи, но десятник только говорил: «Мне уж за Егора Шилохвостова была баня, другую, што ли? — не тебе чета, стар уж стал».

Делать нечего, надо было идти на рудник с Ганькой, который назывался еще малолетком.

— Ты, Степанида, лошадь-то уведи домой да скажи Олене, штобы она послезавтрее принесла мне хлеба, а то до успенья ведь не буду домой. Да смотри, штобы она тово...

И Гаврила Иваныч пошел с Гаврилой на рудник по тропинке, по обеим сторонам которой рос березник; десятник поехал на покосы собирать народ.

Сильно не хотелось Гавриле Иванычу идти на Петровский рудник, так не хотелось, что он готов был бог знает какие наказания принять, только бы не идти; готов был убежать. Он прежде не чувствовал такой особенной боязни, когда ходил на этот рудник; он даже согласился бы идти на Ильинский рудник, только бы не сюда. Этот рудник был самый тяжелый для рабочих — впрочем, где придется работать — в горе или на ровном месте; здесь часто убиваются рабочие; отсюда они весной уплывают на барках вниз и бегают. Но Гаврила Иваныч шел, шел за ним и маленький Гаврила, плача и ругаясь.

Лес стал реже и реже — и вдруг его как будто отрезали, как ковригу хлеба: налево, в пространстве на две версты, глазам представляются небольшие насыпи, имеющие вид невысоких холмов с каменисто-серою почвою, обвалы; ямы без воды и полные воды, какие-то не то колодцы, не то провалы с прогнилыми срубами, досками,— и все это так перемешано, как будто здесь было или землетрясение или, для чего-то неизвестно, здесь рыли и копали землю. Вон недалеко семь человек рабочих выползли из-за оврага с топорами, спустились к колодцу и давай добывать лежащее около него толстое бревно. Это прежний рудник. Около дороги, по которой шел Гаврила Иваныч, вся земля изрыта, и земля не обваливается пока, вероятно, потому, что ее там держит что-нибудь, но зато посмотрите направо: там на целую версту в окружности земля как будто рухнула, местность приняла вид лодки, в середине которой стоит не колыхнется заплесневелая вода и берега которой расщелились во многих местах, и в этих щелях торчат то доски, то обрубки деревьев. Вокруг этого лога растут кустарники пихты. Земля здесь рухнула и засыпала шурфы и шахты, так что их теперь и следов нет.

За этим местом опять идет небольшой редкий лес, около дороги и в лесу лежат бревна, горбины, в лесу в разных местах пилят бревна. Наконец, и Петровский рудник. На окружности десяти верст земля то изрыта, то представляет собою гряды с землею, наваленною в большие кучи,— насыпи с глинистою и песчанистою землей. Между этими насыпями в некоторых местах положены доски, по которым ползают мальчики и мужчины с тачками, наполненными землей, смешанной с рудой. Идут они и заворачивают в разные стороны, и вываливают эту руду к большой, высокой квадратной насыпи, имеющей вид горы, огороженной слегка заплотом из досок. Это рудный двор. Около этой горы стоят весы и восемь телег, запряженные лошадьми. Рабочие накладывают руду

на весы, потом кладут руду в телеги. Токменцов выкурил около них трубку, потолковал и пошел. Дальше опять мальчики таскают куда-то землю направо и скрываются за насыпями. Но не все это пространство без леса было завалено землей и изрыто. Было много ровных мест, гладких, на которых росла трава и щипали траву лошади; но зато на этих местах кое-где были вбиты столбы с зарубинами и крестиками, означающими, что здесь под землей кончается шурф, или предполагается быть прорытой шахта. В некоторых местах рабочие работали: что-то рубили, тесали и везли на лошадях бревна из лесу. В одном месте стоит большое деревянное строение — это изба для рабочих. Рабочих было здесь много, все они что-нибудь да делали: то таскали горбины, то везли бревна к пильщикам, которые пилили бревна у дороги, то везли землю и руду. И все они были в поту, черные, как трубочисты, заваленные в грязи. Впереди большая гора, обросшая лесом. Около этой горы тоже навалены большие кучи, видятся какие-то шесты, дым. Еще далее, ближе к горе, версты на две от нее направо, недалеко от дороги, между двумя насыпями, вбиты в землю четыре сваи с крышей. Около них суетится десять человек рабочих. Половина из них вертят ручки от двух валков, вделанных поперек свай, на один валок навертывается веревка, с другого болвана веревка спускается в яму, похожую на колодец, с срубами и имеющую пространства два квадратных аршина,— это ш а х т а, а сваю с болваном называют в о р о т о м, рабочих в о р о т о в ы м и. Между валками от перекладины на потолке идет в шахту веревка; по этой веревке спустились вниз двое. Подняли из шахты бадью с землей, высыпали ее на поверхность земли. Двое рабочих делили эту землю лопатами надвое и накладывали ребятам в тачки. Из ребят одни сваливали в стороне землю, а другие везли к рудничному двору руду.

Рабочие подняли одну бадью, в ней стоял мальчик лет шестнадцати, бледный, в грязной рубахе.

— Кре́пи подайте! — проговорил он, и его опустили в шахту. Потом, поднявши обе бадьи, поставили их около ворота.

Под горкой налево лежали горбины. Четыре человека бросилось к ним и по веревке стали легонько спускать их в шахту. Спустили штук восемь.

Подошел к шахте штейгер.

— Стой, стой! будет...— крикнул он и затряс веревку, свистнул в шахту. В бадье подняли одного рабочего.— Ломайте ворот. Выходите из шахты!.. Спусти эту бадью, черт! —

крикнул он на одного рабочего и ударил его по плечу. Пришел Парамонов, нарядчик. Бадью с рабочими опустили назад.

— Ты што это смотришь? Ведь это без руды — глина!

— Я нарочно велел...

— Велел... Черт! Шевелись: вели Егорьевскую шахту разрывать! Живо! Эй! — кричал он рабочим, стоящим у ворота.— Десять человек в шахту, десять к вороту! Шевелись! Где руда?

— Вот.— И Парамонов указал на кучу налево с железной рудой.

— Да ведь медную руду-то приказано. Ну? что ты смотришь, харя. Ей-богу, я на тебя пожалуюсь.

— Что же я-то сделаю? Больно прыток.

— Ты должен в другое место копать!

— Не сердись, егоза. Поди-ко, покопай ее!

— Молчать!..

— Эй, вы черти! Убьет!! — крикнул один рабочий, бежавший от горы, и скрылся за ближнею насыпью.

Вмиг все прилегли на землю, все стихло вокруг; пильщики тоже соскочили с козел и прилегли на землю. Через две минуты раздался ужасный треск и гул, какого не бывает даже от грозы, точно из ста пушек враз выстрелило под самым ухом; еще раздался треск, но потише. В человеке, не видавшем подобных вещей, это произвело бы величайший ужас. Люди встали бледные, горы не видно — все застлало дымом. Немного погодя стало яснее видно предметы; направо от горы отломилась огромная глыба.

— Ладно как ее хватило!

— Небось пороху-то дивно сожрала.

— Вот благодать-то опять руды. Гли; какая та часть-то! — говорили рабочие.

— Эй! все ли целы? — крикнул штейгер, ставши на одну высокую кучу земли.

— Никитину, гли, руку оторвало,— сказал один рабочий, стоявший в числе прочих на другой насыпи.

— Черт!! — и штейгер плюнул.— Парамонов, пошли к горе тридцать человек новых. Везите туда лес! Ребята, с тачками туда!.. Копайте штольни!..— И штейгер пошел распорядиться, а Парамонов исполнял приказание. Рабочие не знали, за что взяться.

Вдруг раздался звонок в колокол, находящийся на рудничном дворе. Это означало время ужина и ночную смену. Один рабочий крикнул, что есть силы, нагибаясь до половины в шахту: шабаш!

Повыползли из земли рабочие, в рубахах и штанах,

загрязненных донельзя, уселись они около тех мест, где работали, достали из-под досок свои узелки и стали есть ржаной хлеб, припивая водой из бадей, в которые зливали воду из насосов. Поели; кое-кто покурил трубки — и, сменившись, стали опять работать: те, которые работали в шахте, стали работать на поверхности, а некоторые, за провинку, пошли работать в шахту. Во время ужина производилась расправа: по приказанию штейгера наказали двух рабочих и четырех подростков за то, что штейгер застал их до ужина не работающими, а спящими у старых закрытых шахт.

Опять началась работа. Гаврила Иваныч пошел к Егорьевской шахте с двадцатью рабочими. Всем им выдали инструменты: кайлы, лопаты, топоры, три фонаря с сальными свечами.

— Спускайся, Гаврила,— говорил один рабочий Гавриле Иванычу.

— Сам спускайся: она ведь одиннадцать сажен, а смотри, срубы-то какие.

— Ну-ка, стройте бадью, я тожно слезу,— сказал другой рабочий, снявши зипун и бросивши его около шахты.

Наладили бадью: рабочий залез в бадью, одной рукой держась за веревку, другою держал шест. Ворота здесь не было.

— Ну-ну, спущай! Вали! — кричал рабочий; его спускали полегоньку.

— Тяни! — услыхал из шахты один рабочий, нагнувшийся до половины в шахту.

Когда бадью с рабочим притянули кверху, он сказал:— воды много.

Пришел Парамонов, который был начальником на этом руднике.

— Сажень воды-то,— сказали ему рабочие.

— Ах, будь он проклят, этот Подосенов. Ну, што я стану делать? Выручайте, братцы!

— Качать надо, да толку-то что? — сказал Токменцов.

— Да этта и руды-то нетука, потому што до пасхи покинули шахту-то,— сказал другой рабочий.

— Будьте вы прокляты! сказано, тут велено робить.

— Поди-ка, влезай, черт ты после этого!.. Сажень глубины вода-то.

— Поди-ка, ловко ночью-то. А што твои фонари? Сичас погаснет, потому сыро, и выход один, а шурфы старые залило,— сказал Токменцов.

Думал-думал Парамонов, видит, что рабочие правы, работать в шахте нельзя, поругался и сказал рабочим:

— Ну, ино погодите. Да не спать! — задеру.

— Ну!

Парамонов ушел, а рабочие, немного погодя, легли на землю и скоро заснули. Парамонов разыскал около горы в балагане Подосенова, но тот спал.

— Не беспокой ево, спит, пьян тожно,— отозвался караульный.

За рудничными работами смотрел на Петровском руднике штейгер Подосенов, который дослужился до этой должности из засыпщика (фабричного рабочего). Сперва он как-то угодил прикащику, потом женился на дочери уставщика и вскоре стал сам нарядчиком, т. е. обязан был находиться постоянно на работах при руднике, назначать рабочих, по приказаниям главной конторы, на рудничные работы: сколько-то человек в шахту на мелкие работы,— и наблюдать, чтобы рабочие были на своих местах. Потом его сделали надзирателем: он был теперь второе лицо после прикащика, но и эта должность ему не понравилась, и он выпросил себе должность штейгера. В этой должности он был уже начальник над рабочими в руднике, все равно, что горный смотритель-инженер: указывал рабочим, где бить шурф, где начинать шахту, и, несмотря на то, что он не изучал геологии и минералогии, он, по практике, имел кое-какие сведения в горном деле. Сегодня его ужасно взбесила гора. Уже две с половиною недели работали в ней, и все попадалось только немного железной руды. В случае надобности он имел право добывать руду посредством пороха, т. е. ломать гору, но порох он берег, наживая от него деньги. Теперь он решился зарядить один угол в шурфе (коридор в горе, идущий от шахты по разным направлениям до других шахт). Бок горы разорвало, и тут-то в одном месте он увидал широкий пласт медной руды, но и тут не мог заключить, далеко ли внутрь пройдет этот пласт и не придется ли начать шахту с поверхности горы. На это, впрочем, он должен был просить разрешения управляющего, который хотя и был горным инженером, но на рудники ездил редко и драл Парамонова и Подосенова за неисправное исполнение возложенных на них обязанностей. Токменцова и его товарищей Парамонов скоро растолкал и послал на прежнюю шахту, откуда их прогонял Подосенов. Спустился туда Токменцов с четырьмя рабочими и четырьмя подростками, которые захватили с собой по тачке, а инструменты для рабочих были уже в шахте. Спустились они вниз, на расстоянии пятнадцати сажен. Темно, душно, сыро, дышится тяжело. Ноги ступают и скользят по доскам, которые укреплены на сваях, вбитых в землю, а под ними вода; зажгли

кое-как фонарь. Этот фонарь повесили на веревочке за перекладинку, или крепь — горбину, подпиравшую срубы одной стены. Вся шахта, от верху до низу, до голов человеческих, была закреплена срубами, и все четыре ее стороны, или четыре стены, состояли из срубов, подпирались сваями, между которыми были пробиты и шурфы — узкими коридорчиками, узкими так, что можно в них пройти только одному человеку; они тоже укреплены крепями, чтобы не обваливалась земля.

Зажгли еще два фонаря, но все-таки фонари тускло освещали шахту.

— Так как, братцы? начинать? — говорил один рабочий.

— Землю-то надо оттудова долой.— Один рабочий дернул веревку, на конце которой болтался колокольчик. Спустилась в шахту бадья, наклали в нее земли; опять дернули веревку.

Бадья стала подниматься, спустилась другая. Вверху фонарь казался звездочкой.

— Ломай там! — крикнул один рабочий Токменцову, указывая направо, в узкий низкий коридорчик.

— Чево?

— Во!

— Гляди, низко!

— Ну, копай сверху! — Рабочие кричали из всего горла, но голоса их как будто разбивались о стены и звучали глухо, едва слышно. Токменцов ударил пять раз кайлом повыше отверстия, двое вытащили горбину, земля обвалилась, эту землю подняли кверху; отверстие сделалось попросторнее.

— Ну-ко! фонарь-то!

Посмотрели: жила медной руды. С час бил кайлом Токменцов, но выбил только на одну подпорку. Он вышел к шахте и закурил трубку, захотелось пить. Ему было жарко в рубахе, которая вся покрылась землей; ноги промокли, их кололо, голова болела, он то зяб, то ему было жарко. Воротовые вверху то и дело вытаскивали землю и спускали вниз бадьи, в которые ребята в шахте клали лопатами землю; двое рабочих пробивали стену в другом месте, третий крепил стену.

— Братцы! жилы не видать. Ах, пес ее задери,— сказал Токменцов товарищам, посмотрев на то место, в которое он бил.

— А гляди, куда пошла — налево,— сказал один рабочий, бивший другую стену, показывая рукой.

— Тут бить опасно — как раз обвалится, смотри, земля-то

под ногами какая, и в штольню вон текет, да все ее много,— говорил другой рабочий, держа фонарь.

Рабочие сели на горбины, лежавшие на полу, и задремали. Вода в шахте все больше и больше прибывала. Они скоро заснули сидя. Вдруг спустился к ним Подосенов и растолкал их.

— Вам спать! Молчите ужо!

— Да тут робить-то нечего,— сказал Токменцов. Подосенов обошел все коридоры, из которых один проходил на тридцать сажен, и велел в этом коридоре бить стену налево, в пятнадцати саженях от шахты.

Заполз туда Токменцов и стал бить стену кайлом. Двое разворачивали сваи, один парень подходил к нему с тачкой и утаскивал к шахте землю. Никто из рабочих не знал, день ли теперь или ночь, не говоря уже о часах. Наконец, затряслась веревка, зазвякал чуть-чуть слышно колокольчик, и стоявшие в шахте для приема бадьи услыхали: шабаш! но это восклицание как будто долетело из-за пяти верст и слышалось, как шепот.

— Шабаш! — крикнул один из них в шахте, но его голос, звучный на верху земли, здесь прозвучал глухо. Ребята, еле передвигая ноги, подходили к шурфам и кричали тоже изо всей силы от радости скорее выползти на свет божий: шабаш!

Один по одному рабочие выползли в бадьях на поверхность земли, а два парня — так те по углам сруба поднялись кверху. Вы бы не узнали этих рабочих теперь: все рубахи в земле, мокрые; штаны тоже мокрые, в грязи; сапоги приняли вид каких-то чурбанов. Лица и особенно руки тоже черные, в земле. Тяжело они вздохнули, выйдя на свет божий. Стали есть хлеб, потом ушли в избу и легли спать,— кто на нары, кто на широкие, для десяти человек, полати. Здесь теперь спало до тридцати рабочих и сорока подростков. Часу в первом рабочих разбудили и распределили на работы на верху земли: сортировать руду, откачивать воду, спускать горбины в шахту, поднимать бадьи и т. п. На третьи сутки Токменцов был назначен на работу в гору. Там, в шахте, идущей прямо коридором, а не в землю в виде колодца, он целые шесть часов бил стену, но стена была такая крепкая, что ее очень трудно было пробрать, так что он изломал два казенных кайла и эту ломь положил около своего зипуна, для того, чтобы унести домой. Рабочие отсюда могли свободно унести домой ломь, потому что за этим никто не смотрел. Здесь работать Токменцову было лучше, потому что он мог чаще выходить на свежий воздух. Но рабочие замечали, что он хворает

В этот день, около обеда, приехала к руднику верхом на лошади Елена. Привязавши лошадь у избы, она подошла к руднику, где в горе работал ее отец. Увидев Елену, рабочие не давали ей проходу: они то щипали ее, то трепали по плечу и высказывали ей разные остроты насчет ее лица, пола и разные плоскости. Елена действовала руками и плевками.

— Нету здесь Токменцова.

— Врешь, варнак! здесь он.

— Ребята, тащи ее в шахту.

Елену потащили в шахту, но скоро вышел отец. Он ни слова не сказал рабочим и как будто не обратил внимания на баловство своих товарищей, которые все были люди женатые и имели детей. По-видимому, они шутили с Еленой.

Токменцов был бледнее прежнего, лицо похудело. Он походил на мертвеца. Кое-как передвигая ноги, опустив руки, он подошел к дочери.

— Што... хлеба принесла? — проговорил он едва слышно охриплым голосом и сел на одну тачку, лежавшую без употребления. Сердце замирало у Елены, ноги подкашивались, мороз прошел по ее телу. Отец сидел, свесив голову и положив на коленки рука на руку.

— Тятенька, голубчик! — сказала Елена.

— Ступай, мила дочка. Ступай...

Елена заплакала.

— Я, тятенька, малинки тебе принесла,— проговорила она.

— Не могу, мила дочка!.. Тошнит.

— Тятенька!

— Баню бы надо...

Токменцова окружили человек шесть рабочих.

— Токменцов! — сказал один.

— Иди, пора! нечего лытать-то,— сказал другой.

— Не могу, братцы... Подняться не могу...

Пришел Подосенов.

— Ты зачем? Пошла прочь! — крикнул он Елене и ударил ее по шее.

— Ты не дерись, свинья! Я не к тебе пришла.

— А ты што не робишь? лытать, што ли, захотел? — крикнул Подосенов на Токменцова.

— Лихоманка с ним! Смотри, трясет! — сказали двое рабочих.

— Я ему дам лихоманку. Пошел! Вот в очередь сменю — дрыхни.

Токменцов кое-как встал, его пошатнуло, и, кое-как

передвигая ноги, пошел к шахте. Елена постояла немного и пошла к лошади. Когда она садилась на лошадь, то вдруг услыхала крик от горы.

— Девка! а девка!

— У!! — откликнулась Елена.

— Беги сюда!

Соскочив с лошади, Елена побежала к шахте. Отец лежал навзничь, из носу и рта шла кровь. Елена стала, как статуя. В глазах помутилось, она ничего не видела, ничего не понимала.

— Ну, чево стоишь, дура! Ребята, тащите его прочь! — крикнул Подосенов. Двое рабочих подняли Токменцова, дотащили до рудного двора и там положили его в телегу.

— Умер? — спрашивали рабочие, окружившие телегу.

— Шевелится...

— Осподи! Экое наказанье эта жизнь!.. — говорили крестясь рабочие.

Елена плакала.

— Ну, девка, не воротишь. Вези ево в ошпиталь... Вот жизнь-то!

— Подожди, штейгер бумагу даст.

Немного погодя подошел к толпе штейгер с запиской и, дав ее одному рабочему, велел везти Токменцова в госпиталь. Тронулись. Елена сидела около отца, который лежал на спине с открытыми глазами и с сложенными на груди руками. Он тяжело вздыхал, кашлял, и как только он кашлянет, то начинает сочиться из открытого рта кровь.

— Тятенька! — говорила Елена. Отец молчал и даже не шевелил глазами.

— Господи! дай ты ему здоровья! — молилась Елена, смотря на лицо отца, и плакала. Провожатый мало заговаривал с Еленой; она говорила, сама не зная что.

Сдал рабочий Токменцова в госпиталь, стащили его в какую-то не то избу, не то съезжую, с грязным полом пропитанную кислым воздухом, положили его на кровать, покрытую рогожей, и покрыли рогожей. Кругом кровати Токменцова было несколько других, на которых лежали тоже рабочие, две женщины и пять подростков; они стонали и охали. Это была единственная палата для больных рабочих на двадцать восемь кроватей, на которых лежали одержимые разными тяжелыми болезнями и почти никогда не выздоравливали. Были еще две палаты, но там лежали — в одной мужчины, в другой женщины, — из приказных и должностных людей. Это называлось чистою половиной.

Елена хуже этого места нигде не находила. Ей не хоте-

лось уходить от отца, но ей велели идти. Как полоумная, пришла она к Степаниде Ивановне, разразилась ревом, и долго не могла Степанида Ивановна добиться от нее толку.

— Да, чтой-то с тобой?

— Ой, матушка!.. голубушка...

— Да говори!

— Отец... в ошпиталь свёзли.

Не говоря ни слова, Степанида Ивановна побежала в госпиталь, но Гаврила Иваныч лежал на кровати уже мертвый...

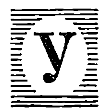
А между тем в заводе идет суета. Сегодня канун успенья. Женщины моют полы, чашки, спорят о том, что лучше завтра состряпать, тащат из погребов корчаги с пивом, вынимают из сундуков заветные платья, считают накопленные в год копейки, бегают из дома в дом, ворчат, топят бани. Вот и мужчины стали собираться в завод и парятся в банях. Работы прекратились. Завтра разговенье, и в Осиновском заводе большой праздник.

. . . .

ВНУЧКИН



I



У одного небогатого крестьянина Покровского села родился сын. Этому сыну не довелось видеть своей матери, потому что она умерла через сутки по разрешении. Отец этого ребенка, Сидор Еремеич, запил и, допившись до белой горячки, повесился. У него был брат — Кузьма Еремеич, волостной писарь, который из сострадания и взял к себе на воспитание сына Сидора Еремеича, которого и назвали во святом крещении Васильем.

Никто так не жил в селе достаточно, как люди, заправлявшие делами волости, особливо волостной старшина и писарь Внучкин. Это был такой человек, который со всеми ладил: нужно ли что крестьянам — он сделает, но зато получит от них малую толику; нужно ли что старшине или голове — он сделает, что может; станет ли становой придираться к сельскому начальству, он и тут выручит их; приедет ли окружный начальник,— и тот, благодаря Внучкину, уедет с миром. Великий был человек Внучкин — и у этого-то человека воспитывался Василий Сидорыч заместо сына, потому что дети Степаниды Левоновны умирали, к крайнему ее огорчению. О нежном обращении с ребенком говорить нечего; о том, чтобы он был всегда сыт, тоже нельзя похвастаться,— и как бы он ни воспитывался — нам нет дела, только Василий Сидорович остался цел и жив до сих пор.

Вася был мальчик не глупый: он все понимал, что делается вокруг, и скоро научился разным плутням. Так, еще не зная грамоты, он один раз долго следил за дядей, сводившим в книге отчеты и считавшим деньги. Об этих отчетах он слышал разговор дяди с старостой, слышал, как дядя взял с Петра Окулова пятьдесят рублей за то, чтобы Окулов не попал в рекруты. Эту книгу Вася бросил в печь — и как смеялся

потом над тем, что дядя долго злился на всех, шептался с головой и т. п. Больно неприятно было мальчику слышать от крестьян слова: «Вот этот Васька в дядю пойдет. Уж такого подлеца, как наш писарь, нигде не найдешь: куда ни сунься, все этот Кузька напрокудил. А как его сменишь. коли начальство его определило».

Скоро Вася выучился грамоте, и после этой выучки жизнь его изменилась: дядя заставлял его заниматься в волостном правлении, чтобы он привыкал к делу, и Василий в течение двух-трех лет так понаторел к делу и так набил руку, что во многом не уступал своему дяде.

II

Так продолжалось четыре года. К концу четвертого года Кузьма Еремеич обленился, стал пить водку, запускал дела, и волостное правление решило заменить Кузьму Васильем, с тем чтобы Кузьма показывал Василью. Но Василья нечего было учить, он все дела знал хорошо и обделывал нисколько не хуже дяди.

Сначала крестьяне с надеждой смотрели на нового писаря, потому что он раньше ругал голову и своего дядю; говорил, что если его сделают писарем, то он все дела крестьянские приведет в порядок и за честность крестьяне ему будут много благодарны. Но крестьяне ошиблись. Несмотря на то, что он ходил к крестьянам в гости, терся в кабаке, шутил с ними и ругал начальство дураками, крестьяне назвали его плутом. Он ни на кого не кричал, говорил с усмешками: ему не давали денег — он говорил: нельзя, он этого сделать не может. А поди, жалуйся на него, когда голова не разговаривает с мужиками и гонит их прочь. Но все-таки он нравился крестьянам, которые и сами не знали, почему он нравится им. А дело было просто. Если крестьяне просили подождать недоимки, он брал с них подарки и обделывал дела так, что этот год недоимки не просили, а на будущий — недоимок числилось за крестьянами вдвое больше, чем следовало. Если крестьяне просили билет на жительство в разных городах, он даром не давал; то же самое и со взносом податей. Но зато за рекрутчину ему много пришлось получить проклятий. Кроме этого, он так сумел поставить себя, что ему не только в волостном правлении был почет, но и в рекрутском присутствии, и в казначействе, и в палате имуществ, где он от имени волостного правления задобривал кого следует, не гнушались сельским писарем Внучкиным.

Деятельность молодого Внучкина была обширная, но кроме этого он заключал условия с караванными приказчиками, на наймы людей в судорабочие. От них он выведывал все дела по судоходству, от крестьян — плутни приказчиков, и заключал выгодные для себя условия с приказчиками, получивши за каждого крестьянина по рублю денег.

Мало-помалу Внучкин сделался важным человеком волости. Крестьяне поняли, каков он, и ни один из них так <никого> не боялся, как Внучкина, потому что Внучкин все дела обделывал. Если крестьянин жаловался губернатору на волостное правление, от волостного правления, через разные присутственные места, требовали донесения, а донесения сочинял Внучкин. И не только крестьяне боялись его, но не смели с ним ссориться даже старшина, старосты и тому подобные лица, потому что Внучкин так их запутал по одному рекрутскому делу, что они не смели и пикнуть. С ним даже ничего не мог сделать окружный начальник, гроза волости. Этот начальник всегда получал исправно подарки, а получивши по какому-нибудь делу крупный подарок, он держал сторону волостного правления. И как он ни старался подкопаться под писаря, ничего не мог с ним сделать. Внучкин всегда был трезв, всегда встречал и провожал начальника с почетом; канцелярская формальность всегда была соблюдена как следует.

Приезжает окружный в село, его встречает Внучкин без шапки.

— А! погоди же ты, подлец, упеку я тебя в Сибирь. В правление!

«Ладно,— думает Внучкин: — кто кого упекет». И идет в правление.

— Жеребьеный список! — кричит окружный.

Внучкин подает ему тетрадь. Окружный перелистывает.

— Почему не Фома Панютин попал?

— Не могу знать: так жеребий вышел.

— Я тебе покажу жеребий, свинья. Не Илья Степанов попал, а Фома Панютин.

— На другой странице объяснение есть...

— Я тебе покажу объяснение...— Перевертывает окружный лист, там лежит кредитный билет.

— Свинья! — скажет окружный и улыбнется.— А как ты думаешь, Внучкин: можно пощупать старшину?

— Можно-с.

— Ну-ко, как?

— По постройке плотин-с.

Или вдруг получает Внучкин бумагу, которая требует объяснения по чему-нибудь. Идет Внучкин к старшине, говорит: так и так, лесничий донес, что крестьяне много лесу рубят, а ты сколько дерев-то сплавил? Поди, не одну сотню зашиб.

— Да ведь сам лесничий рубит тоже.

— А вот теперь крестьяне на тебя жалуются, и потянут нас с тобой.

Даст старшина сто рублей писарю и пошлет его к окружному да лесничему, те и возьмут деньги, да еще чаем напоят Внучкина.

Даже сам управляющий палаты имуществ отзывался, что лучше Петровской волости во всей губернии ни одной нет, и выхлопотал Внучкину медаль за усердие.

И до сих бы пор Внучкин царствовал в селе, да черт сунул в село ревизора из Питера. Ревизор, как ревизор, был человек строгий, казался соблюдающим интересы крестьян. Еще до приезда его в село было известно, что управляющий палаты подал в отставку, а окружный предан суду. По ревизии ревизор ничего не нашел худого в волости, да крестьяне попросили ревизора сменить начальство.

— Почему сменить? у них все исправно,— сказал ревизор.

— Они, ваше превосходительство, всегда всем недовольны,— сказал Внучкин.

Все бы ладно, да черт подсунул Внучкина предложить ревизору пакет.

— Это что? — закричал ревизор.

— Благодарность от крестьян.

— А! — сказал ревизор, пакета не взял и уехал, а через месяц из палаты имуществ получилась бумага: назначить из волости нового писаря.

Однако нового писаря не избрали. Внучкин подписывался: Власов — и исправлял свое дело до тех пор, пока не донес на Внучкина становой. Затребовали из волости объяснение, потом потребовали в палату Внучкина. Внучкин объяснил, что он уже год как не состоит на должности, и подал рапорт Петровского сельского общества об избрании его сельским заседателем.

Дело, конечно, не обошлось без денег, и Внучкина выбрали сельским заседателем, но в этом звании он пробыл только месяц. Позвали его в земской суд, он вошел в присутствие.

— Что тебе надо?

— Я сельский заседатель. Меня звали.

— Можешь в прихожей сидеть.

— По закону я должен в присутствии быть.

— Ах ты, негодяй! Он еще говорит! Пошел вон и жди, когда дадут тебе подписать бумагу.

— А не пойду.

И Внучкина скоро уволили с тем, чтобы впредь ни на какие должности не определять.

Думал-думал Внучкин: чем бы ему заняться? На должности не определяют; торговлей заняться — невыгодно, да и как-то стыдно после такой должности торговать: «Еще будут говорить, что я на воровские деньги торгую». А капиталу у него накоплено немного.

В марте месяце приехал к нему приказчик из какого-то завода за наймом бурлаков. Разговорились о том, что ныне трудно жить честно; каждый рассказывал разные проделки начальства.

— Ну, я бы на твоем месте не усидел. Поехал бы я в Нагорск, там ныне пароходы строятся,— говорил приказчик.

— В самом деле! — И Внучкин, оставив жену и двух детей, поехал в Нагорск.

III

В Нагорске Внучкин прожил два месяца. Много ему в это время пришлось обтоптать полов в прихожих пароходовладельцев, управляющих и разных конторщиков, где на него даже и глядеть не хотели. Задор его берет, а ехать назад ему не хочется.

Жил он на квартире у одного мещанина-подрядчика; там же жили двое писцов одной пароходной конторы. Оба они носили сюртуки, брили бороды. Внучкин решил, что надо познакомиться с ними, и раз вечером, напомадивши волосы, расфрантившись, пошел к ним попросить книжечки почитать от скуки.

— Мое почтение,— сказал он, входя к ним.

— Здравствуйте, что скажете?

— Да я сосед ваш; скучно одному-то, вот и пошел попросить книжки.

— Приятно познакомиться. А вы где служите?

— Я еще нигде не служу. В Воткинской губернии был волостным писарем, да не поладил со старшиной.

— Што так?

Внучкин рассказал целую историю о краже старшиной казенных денег, о сговоре его, Внучкина, быть сообщником

в воровстве. Он так хорошо, увлекательно и смешно рассказывал, что понравился им, и они попеременно стали рассказывать ему о разных судьях, председателях, губернаторах. Стали пить чай. За чаем они сошлись еще ближе. Пароходные служащие были крестьяне, тоже служившие прежде в волостных правлениях, и теперь каждый из них получал жалованья по двадцать пять рублей в месяц.

— Ну, а занятия у вас какие? — спросил Внучкин.

— Занятия пустые: реестры пишем, ведомости, накладные, бумаги переписываем.

— Это все пустяки. Я вот писарем сколько лет был. На что рекрутский устав трудноват, да я его как отче наш знаю: всегда из воды сух выходил.

И с этих пор или Внучкин ходил к пароходно-конторским служащим, или они, также от скуки, захаживали к нему поиграть в трынку, а потом Внучкин познакомился с конторщиком этой конторы и попал в писцы на пятнадцатирублевое жалованье.

Первым подвигом его в начале службы было то, что он, получив из дома деньги, угостил в гостинице конторщика. Конторщик, получавший жалованья тысячу рублей в год, вел себя важно и показывал вид, что ему плюнуть так в ту же пору на Внучкина, а когда стал прощаться, то, подавая левую руку, начальнически попросил его прийти завтра на квартиру переписать одну бумагу, о которой он не должен никому говорить. Внучкин покраснел от удовольствия.

Прозанимался Внучкин в конторе два месяца, и служащие стали замечать, что конторщик что-то очень расположен к нему: Внучкин приходит в контору раньше всех, постоянно занимается по вечерам, не переписывает, а занимается бухгалтерией и составлением бумаг; на товарищей смотрит свысока, подает всем левую руку. Вот и жалованье ему положили тридцать рублей в месяц, старым его приятелям жалованье убавили на пять рублей. Товарищи стали поговаривать: Внучкин фискалит; но Внучкин не обращал никакого внимания: исправно ходил на службу, делал свое дело, заставлял переписывать бумаги прежних своих друзей и посылал домой каждый месяц по десяти рублей.

Прослужил он год, и покровские жители не узнали бы прежнего писаря Василья Сидорыча: он ходит в драповом пальто, брюках, носит рубашки из тонкого полотна, походка у него уже смелая, смотрит он задумчиво, волосы зачесывает по-городски, в голосе его слышится начальнический тон. Он играет в карты с конторщиком, смотрителем

пристани и другими господами, и у него играют в преферанс.

Товарищи дивятся:

— Счастье, подумаешь, человеку! И как это он втерся скоро к конторщику! Уж мы ли не представлялись казанскими сиротами, а он-то, он-то, подлая душа!..

Конторщик был, что называется, сосветный плут: умел наживать деньги и разорял пароходовладельцев, ладя с другими конторщиками; ему понравилось прилежание, твердость, скрытность и ловкость Внучкина. Он сперва заставил его сосчитать расход в книге. Внучкин сосчитал скоро, конторщик поверил и поручил ему вести кассовые книги.

Бился-бился Внучкин с книгой, потел-потел, двои сутки просидел — черт знает что такое! Пошел к конторщику и говорит:

— Николай Иваныч, не сходится счет. Я двои сутки просидел над этой страницей. Например, принято сто пудов свеч по десять копеек за пуд — итого десять рублей.

— Так что же?

— В накладной значится — принято сто двадцать пудов по восьми копеек за пуд.

— Ах, да! Тут приход записан в четырех местах. Вот накладная за номером сто восемьдесят девять: принято столько-то ящиков свеч, на тысяча восемьсот пудов, по десяти копеек, да вот еще номер сто восемьдесят девять — сто двадцать пудов по восьми копеек. Теперь сочти: по накладной номер сто восемьдесят девять — принято такого-то числа сто пудов свеч по десять копеек пуд — десять рублей, да вот в другом месте в книге значится еще двадцать пудов по десять копеек...

— А остальные?

— Эта квитанция в сто двадцать пудов будет служить документом, а другую мы уничтожим.

— Значит, отправлено-то сколько?

— Тысяча восемьсот, а по книгам будет сто двадцать.

— А если будут ревизовать?

— Кто будет читать книгу-то! Кто наши дроби станет считать, кроме нас? А ты молчи. Если увидишь красный карандаш на квитанции, тот приход и вноси, а синий — осади на запас, в шкаф.

И стал так делать Внучкин. Он скоро выучился всем проделкам конторщика — что, как и почему происходит — и получил жалованья пятьдесят рублей в месяц за то, что сводил хорошо счеты и сбивал с толку разных конторщиков. Он был что-то вроде чиновника особых поручений: разъ-

езжал на чужих пароходах от пристани до пристани, сбивал подрядчиков с толку, ссорил конторщиков между собою, за картами выслушивал разные мнения, неприятные для его компании. Сперва он действовал так ловко, что все конторщики удивлялись: как это они впросак попадают, а потом, как узнали о Внучкине, стали запирать перед ним двери. Но от этого их дела все-таки шли не лучше, и все знали, что с N-ской компанией тягаться трудно, потому что бывали случаи такого рода: главное управление пароходства просит контору пароходства почетного гражданина Бунькова и Ком. выдать взаимообразно пять тысяч рублей под залог такой-то баржи. Управляющий буньковской компании давал; через два дня деньги возвращали, баржа оказывалась с дырой на дне, и буньковская компания платила проторы и убытки. А баржа была цела.

IV

Летом Внучкин едва успевал обедать и спать, потому что надо было в конторе работать, исправлять поручения конторщика и управляющего, которые, видя в Внучкине ловкого и скрытного человека, только ему одному и доверяли секретные дела; надо было идти к кому-нибудь в карты играть или к себе пригласить, потому что если уж сам в гости ходишь, так и к себе надо приглашать, а эти порядки хорошо наблюдались и соблюдаются у всех пароходчиков по праздничным дням и в будни — зимой, когда служащие в конторах только баклуши бьют.— Жилось Внучкину хорошо, он даже сделался толще после шестимесячной службы. При всем этом он жил аккуратно, так что в первые четыре месяца службы посылал своей жене деньги, но потом перестал: дескать, что я за дурак — здесь расход, туда посылай. Пусть сама добывает!

У него заведена была маленькая книжка для записки прихода и расхода; туда он записывал даже гроши, которые подавал нищим. Когда он однажды сличил расход с прошлым месяцем и оказалось, что израсходовано лишних два рубля, то он не стал покупать булок к чаю и ассигновал проигрывать в карты не более пяти рублей в месяц. Впрочем, он почти всегда выигрывал. Случалось, часто он не обедал, а пил только чай; вечером редко-редко ужинал. Очень любил выменивать старые сапоги на новые и в свободное время сам починивал сюртук или пальто. В гостях он выпивал пять стаканов чаю, был очень разборчив, много ел, что больно не нравилось хозяевам, которые подтрунивали над ним

и прозвали его бездонной кадкой — и хохотали над тем, что после каждой рюмки вина он всегда закусывал или колбасой, или семгой, хотя бы и пил во время обеда или десерта.

Получил он письмо от жены. Просит денег, больна.

«Вот дура-то набитая! Детей рожать мастерица, а добывать денег — нет»,— думал Внучкин и написал ей такое письмо: «Ты и думать не смей, чтобы я тебе послал еще денег. Здесь город, да еще губернский, денег много выходит. На что тебе деньги? Посылаю при сем пять рублей».

Через месяц получает опять письмо от жены: «Сделай ты божескую милость, возьми ты меня к себе. Соскучилась я об тебе, голубчик».

Внучкин опять послал жене письмо: «Ну, что ты за дура: зачем тебе ко мне ехать, да еще с ребятишками. Экая невидаль! А ты бы лучше об доме-то старалась да за пашнями присматривала. Ужо приеду домой, задам я тебе!»

Наступила вторая скучная зима. Дела в конторе так было мало, что служащие рады не рады, как засядут играть в карты, а до этого времени толкуют о разных управляющих и конторщиках, называя их ворами; то же самое и между управляющими и конторщиками. Сплетни идут по всему пароходному миру, так что Внучкину уже тошно становится слушать. Надоели ему и карты и гости, да и денег стало больше выходить; служащие играют в долг, потому что каждый из них многим в городе должен; сделалось скучно о доме, о жене и он захотел съездить туда. Но как съездить? Своих денег тратить он не хотел и добился-таки того, что его послали за наймом судорабочих на родину и денег отвалили много.

Хлопот по найму рабочих было немало, потому что нужно было разъезжать по деревням, возиться с крестьянами, сельскими начальствами, а срок полагался небольшой, так как наступал март месяц.

В передний путь он сэкономничал от прогонов сто рублей, потому что на почтовых лошадях ехал очень немного, а от города к селу или деревне ездил даром; в этих местах были крестьяне, искавшие дела, да и сельское начальство радо было подрядчику, потому, во-первых, что оно получало магарычи, а во-вторых, сталкивало в заработки не платящих по бедности подати и недоимки. В инструкции, данной ему главной конторой N-ского пароходства, велено было подряжать крестьян на разное жалованье, от шести до пятнадцати рублей в месяц, отобрать от них паспорта и прислать в Нагорск, заключить с крестьянами условия и выдать

им задатки. А это дело было знакомое Внучкину. В каждом селе он дела обделывал скоро, потому что сам был в этом уезде писарем и все писаря ему знакомы. Отобрал он от крестьян паспорта, выдал каждому по рублю и послал в Нагорск.

— Маловато, поштенный,— говорят крестьяне.

— Говорите спасибо, что я за вас подати уплатил,— отвечает Внучкин.

— Так теперь нам сколь следует получать-то?

— А кто нанялся по восьми, тот шесть будет получать.

— Уж лучше бы, ребята, уж не подряжаться.

— Теперь уж поздно, братцы. Мы вас не обидим,— говорит Внучкин.

— Это так. Житье там, сказывают,— все реки, вода, да трудно.

— А лучше на печке лежать?

А Внучкин от каждого крестьянина нажил по рублю серебром — таким образом: в условиях, заключенных с крестьянами, было сказано, что за них внесены подати и недоимки. Подать действительно была вся внесена за полгода, а недоимки — по нескольку копеек. Тут, конечно, нажились и писаря и старосты.

Крестьяне этого не знали, потому что деньги на приход писаря обещались записать после; им выдали только квитанции в получении денег за подати, а условия оставлялись всегда в главной конторе пароходства.

Приехал Внучкин в Покровское село. Почти из каждого окна смотрели, как он ехал; попадавшиеся навстречу ему люди не узнавали его, останавливались, а узнав, замечали: эк его расперло; гли, рожа-то!

Жена его расплакалась от радости; глядя на нее, и дети стали кукситься, но с удивлением смотрели на родителя.

— Ну, чего ты ревешь, дура! Ставь самовар; делай пельмени, топи баню.

— Ох, голубчик, погоди! ведь чуть не три года, как не видались. И какой это ты, право: и письма, что есть, не хочет написать и денег не посылает.

— Где бы я взял их?

— Да вот ты, поди, не одну сотню нажил по наймам-то,— нет, чтобы жене ситцу привезти: у ребятишек вон все рубашонки обносились... Уж я вся об тебе изныла.

— Ну, ну. Делай, что говорят.

На другой день пришли с визитами — голова, писарь, священник, становой. Каждый имел какую-нибудь цель,

но Внучкин держал себя важно, говорил нехотя, свысока — и вытолкал их, сказав каждому: извините, я в баню иду, а завтра еду.

Крестьяне и жены их то и дело приходили к Внучкину из любопытства, посмотреть, как переменился Внучкин. Они теперь забыли всю неприязнь к Внучкину, потому что теперешний писать был хуже Внучкина. Они, по простоте своей, хотели высказать ему все свое горе и попросить его, не поможет ли он им чем-нибудь. Но они ошиблись.

— Здорово, Василий Сидорыч. Как те бог милует? — говорили они, входя в избу Внучкина.

— Здоров, здоров!.. Что надо?

— Да я так... Ишь ты какой ноне стал...

— Ну, мне, братцы, некогда с вами калякать.

— Конечно... Где уж: ты и прежде... А скоро опять будешь?

— Не знаю.

Жена Внучкина заметила, что Василий Сидорыч уже не тот. Нет в нем прежних ласк, прежней хлопотливости; он сух, говорить с ней не хочет, важничает, детей не приласкает. На другой день утром жена его нарочно принарядилась по случаю его приезда, напекла и нажарила в печи много. За чаем Василий Сидорыч был веселее.

— Ну, Евгенья, мне завтра нужно ехать...

Жена вздрогнула, заплакала.

— Погости ты, Васенька, голубчик...

— Нельзя, я человек служащий. Здесь скучно.

Жена пуще заплакала, а Внучкин издевался над ней:

— Там жить весело, друзей много, а здесь не то: все мужики... Завтра чем свет уеду.

День в селе больно длинен показался Василью Сидорычу. К крестьянам ему идти стыдно было, с писарем и прочими знаться не хотелось. Пошел к становому,— и проиграли в карты до утра.

Выспался Василий Сидорыч и стал собираться в дорогу. Сцена была тяжелая: жена плакала, ребята тоже; Василий Сидорыч, как видно, старался скорее улизнуть. Во дворе стояла пара лошадей, запряженных в повозку, за воротами стояли крестьяне.

— Ну, Евгенья, прощай. Мне жалко тебя, да что делать! — Василий Сидорыч прослезился и вынул из-за пазухи бумажник, развернул его, стал считать деньги.

— Ну, на вот тебе пятьдесят рублей. Да смотри, не проси денег,— сказал он жене и положил на стол две двадцатипятирублевки. Жена поклонилась ему в ноги.

— Спасибо, Васенька! Мне и денег бы не надо, только бы ты дома-то...

Выехал Василий Сидорыч за ворота. Крестьяне шапки сняли, поклонились.

Прощай, Василий Сидорыч.

— Не увезешь ли грамотку Семену?

— Где я его там искать-то стану? отправь по почте.

И Василий Сидорыч уехал к становому и на другой день с ним уехал в город.

Становой был очень любезен с ним всю дорогу; Внучкин напоил его в городе до положения риз.

Становой был тоже не промах.

— Ты, я знаю, плут: за тобой еще старые грешки есть! Хошь, задержу? — сказал он.

Внучкин, однако, успел уехать подобру-поздорову.

VI

По приезде в Нагорск Внучкин первым долгом представился конторщику.

— Ну, я думаю, ты нагрел лапу.

— С чего это вы взяли? Да и откуда я поживусь?

— А от крестьян?

— Сохрани меня бог. Я все делал по совести. Вот вам остатки от расходов — тридцать два рубля двенадцать с половиною копеек.

— Какие остатки? В прошлые годы у нас больше ассигновали, да недоставало еще.

— Ну уж, я не такой человек, чтобы чужим добром пользоваться.

Конторщик решительно не понимал: зачем Внучкин ездил, когда он даже остатки представил.

— Да ты возьми их себе, мы сведем счеты.

— Ну уж, нет! Оборони меня бог.

Конторщик донес об этом поступке управляющему, тот позвал Внучкина к себе.

— Благодарю за честность. Я велел конторщику выдать вам возвращенные деньги в награду, а я назначаю вас смотрителем здешней пристани: Савинов — вор, а вы, как видно, честный.

Житье Внучкину на пристани было хорошее: раньше он постоянно находился в виду начальства, должен был унижаться, слушать насмешки товарищей; теперь он сам был барин, и ему был большой почет от рабочих. Он занимал дом в несколько комнат, имел в распоряжении две лошади,

все рабочие были в его руках, и он мог делать с ними что хотел.

Здесь он с раннего утра до ночи был в хлопотах. Зимой на пристань привозили товар, в гавани стояли суда, в амбарах лежали разные снаряды и припасы. Все это охранялось под надзором Внучкина. Зимой же и весной починивали баржи, пароходы смолили, строили шитики (большие лодки, похожие на ялики); надо всем этим наблюдал Внучкин, и все материалы — доски, лес, дрова, пакля, смола и проч.— были на его ответственности, и этим, с разрешения конторы, он распоряжался. Летом же нужно было постоянно что-нибудь выдавать, смотреть за рабочими, нанимать и рассчитывать их, и все это приходилось делать одному Внучкину, потому что он никому не доверял. Для ясности представим один летний день.

Утро. На большом дворе, около товаров, покрытых циновками, сидят, стоят и ходят человек сто: тут есть мещане, крестьяне, солдаты, мастеровые, женщины. Они пришли сюда таскать кладь (или на поденщину). Одни из них едят ржаной хлеб, булки, другие курят трубки. Недалеко от них две торговки продают хлеб и калачи, девочки продают квас. Толки разные. В разных местах идет работа: то залепляют варом дранки на опрокинутых шитиках, то работают на баржах, то доделывают новую баржу, то вытаскивают якорь из воды, то бревна пилят. Работа кипит, точно всяк торопится; всякий идущий из рабочих кажется озабоченным, Стук, треск, крики — все это сливается в одно, и трудно разобрать какое-нибудь слово.

Но вот из-за бочек вышел Внучкин в сером пальто и с связкой ключей в руке. Сидевшие встали, рабочие поклонились, и один из рабочих, как видно, давно дожидавшийся, подошел к нему.

— Василий Сидорыч... Сделай такую милость...

— Что тебе?

— Да денег бы...

— Приходи в шабаш.

К Внучкину подходит один подрядчик.

— Василий Сидорыч, как прикажете: те горбины трогать или нет, што у мостику?

— Разве те все вышли?

— Плоховаты оказались.

— Ну, употребить на починку пола... Эй, ты! Как тебя?

— Чево? — сказал шедший с доской парень.

— Скажи Петрову, штобы он пришел.

— Чую.

— Ну, што! По скольку вы согласны? — спросил Внучкин поденщиков, важно остановившись около них.

— А уж почем? по сорока?

— Нет, по двадцати.

Народ заговорил. Разобрать ничего невозможно.

— Хотите, нанимайтесь: мужчины по тридцать, а бабы по двадцать копеек, а не хотите — наплевать!

— А вчерась пошто было сорок?

— Товару немного.

— Будет на неделю.

Подошел староста. Поденщики согласились. Староста сосчитал их всех, дал каждому по жестянке, и переноска клади в баржи началась.

Оглядев все, что следовало, сделав кое-какие распоряжения, обругав рабочих за леность, выдав что нужно, он ушел пить чай с Лизаветой Семеновной, молодой барыней, как ее звали рабочие, знавшие, кто она такая. В это время никто к Внучкину не допускался.

После чаю он ушел в конторку, стал записывать счеты.

— Как бы мне не попасться: написал — куплено масла на сто рублей, а покупать не хочется... Сойдет! Купцы и так мошенники, а я бедный человек.

В прихожей толпятся распорядители работ или надсмотрщики за разными вещами и местами.

— Василий! — кричит Внучкин. В контору входит здоровый мужик.

— Чево изволите, Василий Сидорыч?

— Если про масло спросят, скажи: на неделе купили, да Прошка продал, я прогнал его. За это я тебе прибавлю.

— Покорно благодарим. А как же без масла-то?

— Ну, как-нибудь... Ну, еще што?

— Да дрова, Василий Сидорыч, разнесло, сажен десять. Ночью вон какая буря была. У парохода «Иван» колесо повредило.

— Ах вы, подлецы эдакие! Што же вы смотрели, окаянные?

— Да што сделаешь-то: ветер вон какой,— раскачало, ничего не сделали. Рабочих мало, да и дров-то сажен десять уплыло, не больше. Плоты — те целы остались.

Внучкин пишет на бумаге: в бурю сего числа унесло восемнадцать сажен дров, разнесло тридцать дерев, сорвало крышу на втором лабазе, сломало колесо на пароходе «Иван».

— Ну, а ты што? — спрашивает он молодого парня в оборванном зипуне.

— Да денег бы надо.

— Еге! да ты, брат, уже вперед забрал. Смотри,— показывает он парню книжку.

— Нет, помнится, не забирал. За вами еще три рубля восемнадцать копеек.

— Да смотри!

— То-то што, не вижу грамоте-то.

— Ну уж, так и быть: на полтинник!.. Смотри, это вперед.

— Воля ваша, только напрасно обижать изволишь.

— Поговори еще, свинья! Хошь — работай, не хошь — двадцать будет на твоем месте!

У конторы стоят двадцать человек рабочих, одни из них еще не получили денег, другие получили, третьи вперед забрали.

— Книжки! — кричит Внучкин рабочим. Те достают тетрадки с засаленными и заваленными в грязи листами.

— У меня нету, потерял,— сказал один.

— Как ты еще нос не потерял? — закричал Внучкин; товарищи рабочего захохотали. Через несколько времени, сделав расчет, Внучкин пошел во двор осматривать работы. Стоявшие у конторы заговорили:

— А што ж расчет?

— Некогда. Я позову.— Он ушел, рабочие тоже разошлись. Походив в лабазах, между тюками, около рабочих, сделав не одну распеканцию, он воротился домой и стал записывать:

Выдано сего числа:

двадцати рабочим поденщины по 40 коп.	8 руб. 00 коп.
тридцати рабочим вперед за июнь	28 » 37 1/7 коп.
за свозку бревен с реки	2 » 13 коп.
за поправку печки в конторе	— » 50 »

— Што ж расчет? — кричат рабочие у конторы.

— Вот каторга-то! — ворчит Внучкин, потом кричит служителю: — Иван, встань у двери и никого не пускай.

А потом начинает описанным выше порядком рассчитывать рабочих по одному.

После обеда он опять осмотрел работы и поколотил одного рабочего за то, что тот был не у дела. Поденщиков, таскавших кладь, он обещал рассчитать завтра. Вечером он поехал к управляющему, которому сообщил о буре.

— Хорошо. Послушай, Василий Сидорыч, нельзя ли кому ту худую баржу спихать, понимаешь?

— Понимаю. Меня уже спрашивали.

— Ты можешь проценты получить.

В гавани стояла баржа. Она была еще новая, но управляющему нужны были деньги. По книгам конторы значилось, что баржа за № 12 очень ветха. Теперь управляющий решил продать ее, а вместо ее поставить другую. Внучкин это дело обделал: баржу променяли на худое судно, на слом, и управляющий был в барышах, да и Внучкин не в убытке.

Все считали Внучкина за ловкого парня и за дельца, он был принят у всех управляющих и конторщиков. Больше прежнего управляющие переманивали его к себе на службу, но он не шел. Он хотел быть управляющим и через три года получил назначение управлять пароходством Бурой компании в городе Остолопе, где еще до сих пор было очень мало пароходов, с жалованьем в три тысячи рублей в год.

Внучкин выписал в Остолоп жену и записался в купцы третьей гильдии.

В Остолопе Внучкин с жаром принялся за свое дело: арендовал место для пристани на выгодных условиях, накупил лесу, барок и всего, что требовалось, тоже на выгодных условиях, дешево состроил конторку на пристани, избушку для рабочих, также дешево нанял для себя и для служащих дом. За все это он получил от компании благодарность. Хозяева компании приехали в Остолоп и удивились, что работа кипит,— и Внучкин был хорошо обласкан ими; они задали шику аристократии своими балами и уехали в столицу наслаждаться жизнью.

А Внучкин стал важным человеком: ни одного праздника не проходило без того, чтобы у него не собирались тузы города и не играли у него в карты. Ни одного большого праздника не проходило без того, чтобы к нему знать не ездила с визитами и он к ним; и каждый должностный чиновник получал от него в пасху и на новый год подарки, состоящие в чае, деньгах и даже дровах. Внучкин был в славе, за Внучкиным ни один управляющий других компаний не мог угоняться; все удивлялись его мудрости; бедные горожане, и те хвалили его за то, что он подает на бедность, а раз даже весь город долго толковал о такой штуке.

Приходит к Внучкину пьяный человек и сует ему бумагу. Внучкин в известные часы всех принимал.

— Что, батюшко, скажете?

— Священник бумагу дал,— говорит тот.

Внучкин прочитал.

— Ну что же: дочь умерла. Пьяница, бедный человек...

Ты бы лучше в рабочие шел, дружок... Василий! — крикнул он своего конторщика из раскольников.— Назначь этого молодца рогожи обдирать со льду.

— Я чиновник-с.

— Ну, это вину не убавит. Василий, позови рабочих.

Как ни бился чиновник, а рабочие свели его на пристань и заставили отдирать рогожи, но чиновник скоро убежал с пристани.

Он был строг, за всем наблюдал в будни сам, требовал честности; но при всем этом был и ласков, шутил. От острот его хохотали аристократы.

Три года прожил Внучкин в Остолопе, и об нем уже все в городе знали. Все говорили: это славный человек, пароходство Бурой компании процветает. Но знатоки дела только качали головой и говорили: посмотрим, что дальше будет; кто кого объегорит: Внучкин ли компанию, или компания Внучкина? Как ни тяжко было рабочим терпеть, то есть работать много, недополучать жалованья, но они были поставлены Внучкиным и его приказчиками в такое положение, что отходить было невозможно, потому что они постоянно до осени были в долгу у Внучкина. Нанимались же они в судорабочие потому, что дома жить невозможно было, а при найме им обыкновенно покупали водки, и подрядчики говорили им, что обижать их не будут, хозяин у них теперь добрый. Многие крестьяне шли даже по принуждению сельских начальств, грозивших им солдатчиной, острогом за неплату податей и недоимок. Городские же жители — мещане, отставные солдаты — нанимались только в поденщину, а если им недодавали денег приказчики, они делали свое дело: таскали домой совковый чай, воровали дрова, бросали по неосторожности тюки. Но за это они лишались работы, потому что Внучкин нашел выгоднее платить поденщину рабочим арестантской роты.

Вы думаете, читатель, он от жалованья рабочим набил карманы? Нет. В последнее время он предоставил это приказчикам по необходимости. Он, надо сказать правду, хорошо поворовывал.

Главный приказчик говорит ему:

— Василий Сидорыч, надо бы лесу купить.

— А тот где?

— Вы приказали продать.

— Мне Александр Антипыч обещался продать восемь

барок. Они у него бросовые же. Там он своим показал, что барки на дрова испилены. Ну, я их куплю: очень дешево продает, кстати же он и должен мне.

— Что же мы с ними будем делать?

— Посмотрим. А об лесе я позабочусь. Ведь и дров надо.

— Да тысячи две четвериков еще есть.

— Гм!

Через день Внучкин пишет в книге: куплена одна тысяча четвериков березовых дров за столько-то. За сплав, за рубку и пилку столько-то заплачено.

«Хорошую я штуку обделал,— думает Внучкин:— по отчетам и по той (форменной) книге значится: весной эти дрова в количестве двух тысяч пятисот четвериков стояли на берегу. Семен говорит: их еще две тысячи, значит — пятьсот сгорело. Хорошо; а мы покажем: сгорело полторы тысячи — ведь у нас четыре парохода. Правда, на прочих пристанях есть дрова, да наплевать... Вот я, значит, сэкономничал — и свои дрова продаю...» Через неделю дрова эти продаются горожанам. На место их приплавляют новые. Эти дрова также Внучкин продал компании за свои... То же самое и с барками и прочим материалом...

Приказчики об этом знали, но молчали, потому что сами поживались немало. Знали об этом и другие пароходные конторы, но научиться такой ловкости никак не могли, да и не удавалось как-то. Хотя же Внучкина и обревизовывали, но по ревизиям оказывалось все хорошо, а в главной конторе этой компании целый год бились над книгами Остолоповской пароходной конторы, да чуть голову не потеряли.

— Ну уж, и наплели же вы,— говорили ему бухгалтеры в столице, куда он ездил часто.

— Бейтесь — не бейтесь, а под меня не подточитесь. Приходите лучше ко мне.

Так и перестали ревизовать Внучкина, понимая хорошо, что лучше получить подарок, чем на одном жалованье жить, да и Внучкин такая сила, что с ним ссориться опасно: он по всем компаниям разблаговестит, что такой-то первый мошенник, и такого человека никуда не примут.

А тут вдруг такое дело вышло, что в компании не стало денег. Вот и беда. Внучкин задумался и поехал в столицу, наплел там множество ужасов — и ссудил компанию деньгами под залог баржи и парохода... а потом и гладит от удовольствия свое брюшко.

VIII

Вдруг в пароходном мире разнеслась молва: Внучкин пароход купил и от Бурой компании отказался.

Смотрят — тащит пароход вниз по реке две баржи. Чей? — спрашивают... Внучкина; да он еще хочет пароход строить, уж у англичанина Ида чеканят, говорят...

Пароход пробовали. Внучкин важно-весело ходил по палубе. Когда пароход остановился у пристани Бурой компании, Внучкин и говорит, улыбаясь, конторщику соседней пристанской конторы:

— Што, каков мой пароход?.. Ведь в каждой барже по двадцати тысяч пудов.

Конторщики дивятся и завидуют: вот ведь мы так и дома не можем завести... Ловкий парнюга!

Дела его несколько лет шли хорошо, несмотря на то, что у него было три парохода. Другие пароходовладельцы и с семью пароходами банкротились, а Внучкин нет. Конечно ему трудновато было заводиться пароходным имуществом, но как-то вышло так, что он потратил очень немного денег, и так как за всем следил сам, то, значит, своя рубашка к телу ближе. У него не было управляющих, а был только конторщик с двумя писцами да несколько человек на пристани. Эти люди не смели воровать, потому что за воровство попадали под суд. Он сам подряжал рабочих, предоставив только одному приказчику выдачу денег, сам подряжал крестьян на сплав леса, да и лесу-то требовалось немного, сам урядился с купцами насчет клади, и так как он брал кладь дешевле других, пароходы были хорошие, то большинство купцов и отправляли кладь на его пароходах и баржах. Капитаны у него были люди, знающие свое дело, лоцмана опытные, и поэтому случалось так, что пароход Внучкина ночью задевал чужой пароход. Оба парохода терпели поражение, но Внучкин всегда выигрывал. Случалось, что пароход Внучкина шел не по своей линии, отчего чужой пароход садился на мель. Но такие дела, впрочем, не всегда сходили удачно: в один год у него засела на мель баржа с чаем, чай подмок, и он заплатил деньги; его пароход набежал на судно — и тут он порядочно поплатился.

После этого несчастия он сделался добродетельным: каждую субботу бедные получали от него копеечки, бедных даром возили на его пароходах, под видом того, что они едут на богомолье, бедные чиновнические вдовы получали пособия — и Внучкин считался за великого благодетеля, а граждане выбрали его даже ратманом городского магистра-

та. Но дела стали идти плохо; убыток в тридцать тысяч подкузьмил его, и дела его мало-помалу поправились разными подрядами.

А тут и на подрядах поймали его. Опять убыток большой, пришлось один пароход продать. На следующий год другой пароход в карты проиграл.

Внучкин продал третий пароход с баржами довольно выгодно, записался в купцы второй гильдии и поехал на золотые прииски, говоря всем, что он поехал на родину доживать свои дни.

На этом я и останавливаю рассказ до другого раза.

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ





Недавно я обедал в одной из петербургских кухмистерских. По окончании обеда я стал читать газету, но так как в комнате было много народу и каждый человек был уже навеселе, то чтение казалось не совсем удобно: крупные происшествия врезывались в голову; газету приходилось класть назад, потому что рассказы людей были интереснее печатного. Наконец меня заинтересовал один господин, недавно пришедший. Он был среднего роста, одетый в пальто неказистой формы, так что сразу можно было в нем отличить человека мастерового, на голове мерлушчатая шапка. Лицо его было избито и обезображено так, что сразу можно было подумать, что этого мастерового избили на каком-нибудь вечере при получке денег.

В нашей кухмистерской обедают люди почтенные, и потому многие из обедающих подозрительно взглянули на обезображенную физиономию вошедшего, когда он велел подать себе обед и потом сел к одному пустому столу, охая при каждом повороте головы, при движениях руками.

— Да у те есть ли деньги-то? — спросила его разбитная женщина.

— Есть... дайте... если можно,— проговорил он больным голосом и вынул деньги.

Сидевший за противоположным окном мастер-немец, лицом к нему, спросил его:

— Угостили хорошо?

— Нафилармонили,— произнес избитый.

— Где же?

— На филармоническом вечере.

— На каком? — спросили двое господ в меховых пальто, собиравшихся уже выходить.

Избитый повторил сказанное.

— Да мы сами там были. Это было седьмого января, в дворянском собрании.

— Да. Восьмого января такого-то года была моя свадьба, но на ней не было такой филармонии.

— Странно... мы были сами, но у нас рожи не избиты.

— То-то што вы были в дворянском собрании, слушали музыку нестоящую, а я вместо дворянского собрания попал сперва в участок, а потом в часть, и надо мной была исполнена такая отличная музыка, о которой всю жизнь не забудешь.

— Должно быть, ты был где-нибудь около части, а не дворянского собрания?

— То-то и есть, что я дворянское собрание, то есть дом-то, только едва-едва разглядел... Да! славный был вечер. Сегодня ходил в баню, попарил синяки, да что-то плохо помогло. Придется, верно, похворать недельку-другую... Буду я об этом вечере, буду я о нем вспоминать всю жизнь... Но вам, господа, не советую, когда вы будете немножко выпивши, как был и я седьмого числа, искать развлечений: как раз угодите на такой вечер.

— Но как же тебя черти угораздили попасть на такую комедию?

— Очень просто. Слыхал я, что седьмого января будет в дворянском собрании филармонический вечер или концерт,— право, забыл. Знал я только, что там будет хорошая музыка и пение, но не знал, когда начало. Раньше я не ходил брать билета, потому что у меня не было времени, а живу я от дворянского собрания за четыре версты; такие же газеты, в которых можно узнать о концерте, не всегда достанешь, если имеешь много работы и тебе некогда часто расхаживать по кухмистерским. Ну вот седьмого января, в это незабвенное для меня число, я отправился к дворянскому собранию. Надо вам заметить, что у меня время дорого, я машинист, и если я поехал, то, значит, у меня было свободное время, и я этим временем располагал как умел. Но черт меня сунул зайти в портерную и выпить две кружки пива, отчего я и засиделся в портерной до шести часов. Ну, думаю, если я теперь не поеду, то мне, пожалуй, и не удастся в другой раз послушать филармонического концерта. Надо будет во что бы то ни стало добыть билет. Поехал. Приезжаю. Около собрания стоят кареты. Ну, думаю, еще приехал рано, и на хорах мне придется преть. Тут я спохватился, что я забыл очки, но чтобы не опоздать покупкой билета, я подхожу к одному подъезду и спрашиваю городового:

— Куда на хоры?

— Билет!

— Покажите, где можно получить билет.

Но городовой пошел отгонять извозчика, и я пошел в другой подъезд. Отворивши двери, я увидел много уже одевающихся людей и, думая что я попал не туда, пошел в третий подъезд, но там меня схватил за рукав полицеймейстер.

— Куда?

— На концерт.

— Кто такой?

— Мастеровой.

— Ты, братец, пьян,— не знаешь, куда лезешь. Городовой, взять его в участок!

И меня городовой повел в участок.

И начал я скорбеть!.. Горько мне стало; лучше бы дома поиграть на гармонии, чем разыскивать, дураку, концерты.

— Это куда же вы меня ведете? — спросил я городового.

— Узнаешь — куда! Увидишь филантронию... Мы тебя поучим, как по дворянским собраниям шляться.

— Послушайте... Да ведь я хотел за свои деньги слушать.

— Ну-ну... иди, знай, вперед! — И он толкнул меня, потом взял извозчика.

Што же это такое? Пиво, што ли, бродит в моей голове? Нет! городовой сидит рядом, смотрит как-то неприятно на меня, считая меня за мазурика.

— За что же меня взяли-то? — спросил я городового.

— Не ругай полковника.

— Разве я ругал? И как вам не стыдно говорить-то это?

— Ты, братец, не ругайся... Нынче...

Но он не кончил — мы подъехали к подъезду участка.

Городовой мне велел подниматься по лестнице. Поднялся. Узкая прихожая с полукруглым окном в канцелярию, что-то вроде стола и люльки — вероятно, диван с провалившейся подушкой. Из канцелярии вышел высокий человек в эполетах.

— Откуда? — спросил он городового.

Тот сказал.

— Кто ты такой? — крикнул на меня офицер так, что как будто я убил человека.

— Мастеровой... Я шел слушать филармонический концерт.

— А! — И я был оглушен здоровою оплеухою, от которой меня отшатнуло в сторону.

— Што вы деретесь-то? — сказал я.

Но я был оглушен уже двумя офицерскими оплеухами.

— Он полковника обругал пьяницей,— пояснил городовой.

— А! ты так! Вот... вот... Бей его мерзавца! Бей его до полусмерти!

И меня били жестоко. Я лежал на полу и только молился· господи, укроти филармонию... Никогда больше не стану разыскивать хороших концертов.

Слава богу, оставили целого, но сильно измятого.

Наконец городовой повел меня в часть; по мы шли немного, городовой взял извозчика. От городового я узнал, что филармонический концерт уже давно окончился, и тут-то я спохватился, что я сунулся в воду, не спросясь броду. Городовой был вежлив и сообщил мне, что меня, быть может, и выпустят завтра.

О, роковое это слово «быть может»!

— А бить будут? — спросил я городового.

— Накладут...

— Но за что? за что, господи! — возопил я.

Долго мы ехали от участка в часть; много миновали мы народу. Весь хмель у меня прошел от побоев, стыдно мне было людей, тех людей, которые шли пешком. Попадались даже и пьяные, и я бы дорого дал городовому, если бы он мен пустил, но городовой помалчивал, и извозчик говорил про меня: «Знать, впервые привелось па саночках кататься. Ишь, любите даром ездить, мазурики эдакие!.. Пусти тебя пешком — небось убежишь ведь!..»

Было уже темно, как мы приехали в часть; но здесь уже угощение было получше.

Сперва меня ударил городовой за то, что я не стал платить извозчику деньги. И, отняв у меня портмоне, сам рассчитался с извозчиком, потом портмоне возвратил мне.

— При бумаге из участку... Обругал полковника,— сказал городовой дежурному.

— Ты?.. ты обругал! — закричал дежурный офицер, сопровождая слова ударами.

Я молчал. Тут было людно, мрачно. Голова моя и бока мои начали болеть.

— Што ж ты молчишь? — крикнул другой, по-видимому из подчасков, ударив меня в шею так, что я толкнулся на что-то твердое, но оттуда тотчас же отскочил от удара в угол.

— Как вы смеете драться? — крикнул я с остервенением, но меня вытолкали в дверь на двор и через три минуты втолкнули с побоями в темную, большую грязную, вонючую избу не избу, комнату не комнату, подвал не подвал, освещенный лампой с керосином. В ней слышалось множество голосов, в нее доходили откуда-то песни, свистки, ругань.

— Вот тебе и филармония! — проговорил я.

— Зададим мы тебе гармонию. Раздеть его! — крикнул дежурный городовой.

Я не стал давать своей одежды, но я не знал полицейских порядков: я был здесь как игрушка, как котенок, которого ребятишки пичкают и таскают за хвост как угодно. Так над моей особой излавчивались отличным образом, колотя в щеки, по голове, в грудь — и особенно в шею. И я молчал, думая: скоро ли они мне отведут квартиру? Но долго еще сопровождалось отрезвление. С меня было снято все, кроме рубашки и подштанников, но зато теперь больнее были удары, голые мои ноги зябли от холодного сырого пола.

Думал ли я когда-нибудь попасть так неожиданно в этот вертеп?

Наконец меня втолкнули в удушливый темный коридор, по обеим сторонам которого сквозь деревянные решетки едва мелькал огонь и откуда выглядывали, как призраки в тумане, люди в рубахах или рваных поддевках. По обеим сторонам народ говорил, ругался, по коридору кто-то ходил и сопровождал меня ударами до двери в одну камору, называемую мышеловкой. Эта камора — сажени полторы длины, около сажени ширины и сажени полторы вышины, с полукруглым окном почти около потолка над нарами, устроенными на пол-аршина от полу, с когда-то крашенными охрой стенами, с отстающей уже штукатуркой, с грязным полом, на который постоянно плюют,— была пропитана махоркой и другим запахом. Камора освещалась изломанной лампой; в каморе топилась печь; у двери висело ведро с водой. Камора была набита людьми: народ сидел и лежал на нарах, лежал под нарами, сидел на полу, стоял около стен.

— Пьяницу привели! спрыски надо делать,— кричали арестанты.

Я стоял среди полу; меня не пускали ни на нары, ни под нары, ни на пол.

— Дайте барину подушку!

И меня ударили в шею.

— Братцы, меня уже много били! — сказал я, плача.

— Дайте ему платочек слезы утереть.

. . . .

Я не буду описывать вам всего подробно, как меня били. Но в каморе били меня немного. Я сказал арестантам, что у меня есть деньги, которые отобрал от меня дежурный, и обещался дать им рубль перед выпуском. За это мне дозволили лечь на нары и даже давали покурить табаку. Но

с непривычки, братцы мои, да еще избитому не очень-то приятно лежать на голых досках, подложивши под голову кулак. Но еще неприятнее вместо филармонического концерта попасть в мышеловку.

Камора наша не запиралась на замок, и так как она находилась рядом с отхожим местом, то дверь отпирали часто; к нам приходили посетители, которые приходили посмотреть на пьяницу, но я лежал, прикинувшись очень больным.

— Садаините его хорошенько, чтобы он чувствовал, каково в часть попадать.

— Чувствую, други! Ох, как чувствую... Едва жив.

— Не беспокойся — не убьют. Здесь бьют ловко, умеючи. Хорошу ли ты науку-то прошел?

— Хорошу.

— То-то. От нас еще достанется — свезут в больницу, а потом и на кладбище.

— Да разве они смеют бить?

— Толкуй. Место такое, што бить можно: начальство не побьет, мы побьем.

После ужина пришел дежурный посмотреть меня.

— Жив ли ты? — спросил он у меня.

— Не бей меня, ради Христа,— взмолился я.

Но он повернулся, а потом проговорил арестантам:

— Берегите его! смотрите... что будет, донести мне,— и он ушел.

— Ловко же они его побили.

Немного погодя по коридору разнесся чей-то вой.

— Пьяницу обивают! — кричали с радостью арестанты.

— Неужели здесь, в участке и в части, начальство всегда бьет пьяниц?

— Вытрезвляют отлично! В другой раз не захочешь.

— Еще бы!

Пришел другой пьяница, но его лицо было не избито. Он плакал и говорил, что у него нет ни копейки денег, и его не пускали даже на пол.

— Ты не на концерт ли ходил? — спросил я товарища, когда меня вновь прибывший арестант из тутошних стащил с нар.

— Нет! городового обругал.

Я рассказал свои похождения, и арестанты прозвали меня филармонией.

Ночь я пролежал под нарами, где даже и повернуться было нельзя и куда сверху в щели плевали старосты и хозяева этой каморы. Такое удовольствие мне досталось еще потому, что я обещал арестантам деньги, но другого пьяницу аре-

станты довели до того, что он ушел жаловаться дежурному, который и велел ему ночевать где-то в коридоре.

А очень приятно лежать под нарами, особенно когда арестанты поют песни... Хоть эти песни не совсем хороши, но их слушаешь даром; а в дворянском собрании мне на хоры пришлось бы заплатить рубль да, кроме того, платить за одежду...

Утром я получил свою одежду и облекся в нее. Не украли ее; даже платок был в целости, только я никак не ожидал, что спину моего пальто разрисуют мелом так, что без щетки этот круг с крестом в середине никак не сотрешь. И вот с этим крестом на другой день мне пришлось, прежде получения свободы, исходить пол-Петербурга, от части к двум участкам, и прийти с ним домой.

ПРИЛОЖЕНИЕ



ИЗ ДНЕВНИКА Ф. М. РЕШЕТНИКОВА

Декабрь 1856 — январь 1857

Когда я жил в Перми, я имел величайшее хотение, чтобы мне остаться в монастыре, но в Соликамске я в одну неделю познал нечестие монахов, как они пьют вино, ругаются, едят говядину, ходят по ночам, ломают ворота...

Март — апрель 1857

И так я чудно проводил и весело время с монахами: они меня поили пивом, и я часто приходил домой пьяным... Печально мне смотреть на братию мою, учащуюся со мною; все наполнены хитрости, обмана и богохульства, что должно быть непростительно в наших летах.

10 июня 1861

Слава богу, я определился. 9-го числа об определении моем записали в книгу, касающуюся до службы канцелярских служителей казенной палаты, и вчера просмотрел прокурор. Наконец мои многолетние желания исполнились, и я, с помощью божиею, определен в казенную палату по канцелярии... Один только бог был моим ходатаем.

Июнь 1861

Меня посадили в регистратуру. Вся моя работа, не умственная, а машинная, состоит в записывании входящих бумаг, надписках на конвертах, отправляемых из палаты, и печатании их. Эта работа обременительна одному и при получении пяти или шести руб. жалованья кажется вдвойне обременительной. Для ума нет никакой пищи.

Июнь — июль 1861

В палате мы сидим до 4-го часу... Придешь домой; разумеется, после шестичасового сиденья устанешь, и как отобе

даешь, невольно клонит тебя ко сну... Ляжешь и пробудишься часу в 6-м. Тут чай, и опять тягость. Сядешь у окна и думаешь — что бы делать? Писать. <...> Когда же очнешься от этих фантазий, то чувствуешь силу сверхъестественную, силу поэзии, и тут непременно подумаешь, зачем не имеешь тех средств, которыми бы можно было жить, сводя концы с концами; теперь же, получая жалованья шесть рублей, едва находишь в ящике какие-нибудь несколько копеек... А что подумать о платье, о будущем? ...Живешь не лучше нищего! <...> Ах, если бы деньги! бросил бы я эту службу — и все эти связи с служащим миром!

Лето 1861

...За квартиру — 1 р. 50 коп. На говядину — 90 коп. Хлеба на 60 к. и молока на 60 коп. Буду жить как бог велит.

5 сентября 1861

Сегодня <...> я поздравил себя с двадцать первым годом моей жизни. А что я сделал в эти 20 лет? Ничего, кроме нескольких черновых сочинений... Кроме горя — ничего не было.

Осень 1861

...Служба становится трудная, сижу в палате до 4-х часов, обедаю почти в шестом да еще дома занимаюсь палатскими делами. А всё за 7 рублей. <...> Впрочем, я доволен тем, что из семи рублей у меня остается два с половиной рубля в месяц. Зато я не ем уже ничего мясного...

Осень 1862

Я не могу жить в Перми — мне надо новой жизни.<...> Разве я не могу еще писать лучше? Я могу научиться... Но служба? О, я не долго проживу этою мучительною жизнью!

Начало августа 1863

Когда я простился с друзьями и когда пароход стал отплывать от берега, мне стало грустно... От меня удаляется и милый город, удаляется милая река, которую я любил с детства... В Перми я ничего для себя не сделал <...> А любил я берег Камы. ...Да, любил я твою природу, Кама! Теперь ты катишь меня далеко и бог весть, ворочусь ли я?

Август — сентябрь 1863

Какой-то господин спросил меня:

— Вы из Перми?

— Да.

— Что вас заставило ехать сюда?

— Так, вздумалось. Охота.

— Вы там много получали жалованья?

— Тринадцать рублей, а здесь получаю десять рублей.

— Как же вы живете?

— Так и бьюсь. Трудиться надо.

Рабство чиновников видно во всем. Начальники отделения командуют всеми. ...Это какое-то холуйство. Черт знает, что такое.

2 декабря 1863

Служащий смотрит на службу как на приобретение денег; должностное лицо смотрит на службу как на поживу и угнетает служащих. Служащие-писцы — для начальника — р а б ы, н и ч т о.

19 января 1864

Более двух месяцев я не писал свой дневник, хотя много бы можно было написать. Некогда. ...Я много выстрадал в это время. Я каждый день пью водку, без водки не могу закончить день, с водкой мне веселее. И теперь я пишу пьяный.

Я страшно мучусь. Жизнь становится с каждым днем тяжелее, невыносимее. Кроме мучения, ничего нет. <...> Мне гнусна становится ложь, гадость, рабство в жизни. Мне хочется чего-то лучшего, небывалого, хочется уяснить другим настоящее. Но всюду запор, давление, рабство. Я не могу никому высказать своих мыслей, чувств и желаний. Вот почему тяжела мне эта горькая жизнь, отчего я пью,— выпьешь — по крайней мере, заснешь. Так и во сне представляются какие-то чудовищные образы, какая-то житейская гадость, и во сне нет покою. ...У меня нет свободы, денег. Будь у меня свобода и средства к жизни, без службы, я года через два образую себя: стану читать, еще ближе буду всматриваться в нашу жизнь, всосусь в ее кости и кровь. Так нет этого! Без этого я гибну; меня не хочут понять, презирают, давят сильные; у меня нет даже друга, который посочувствовал бы мне, пожалел бы меня...

20 февраля 1864

Сегодня Усов опять обманул. Когда я пришел в контору, он уже был там.

— Вы за деньгами? — спросил он меня как-то жалобно.

– Да.

– У меня сегодня нет денег. ...К концу месяца поправлюсь, тогда рассчитаюсь с вами.

И, вероятно, обманет.

9 августа 1864

Я никак не могу понять, что делается со мною. Эта привязанность к одному человеку не дает мне покоя ни днем, ни ночью. ...Я ее узнал хорошо и полюбил, потому что во многом она сходится с моим характером, хотя она еще плохо развита умственно, доказательством чего служит то, что ей не хочется читать Бокля, Дарвина и другие ученые сочинения, под тем предлогом, что-де теперь не для чего уже знать многое.

...К этому еще нужно прибавить, что она — дочь чиновника, давшего ей конечно чиновническое воспитание. Образовалась она у разных дядюшек-советников, людей глупых, прочивших ее в жены тоже чиновнику. Я ее полюбил за то, что она в жизни много выстрадала, много претерпела обид, и хотя теперь довольна своей настоящей жизнью, но есть и теперь у нее горе <...> она, как женщина, видит во всем обман, по крайней мере, со стороны мущин и близких ей знакомых < ..>. Мне давно жалко ее, жалко как женщину, потому что у нас всё еще смотрят на женщину, как на женщину, способную только быть женою мужа; и хотя дали им возможность на приобретение кое-каких знаний для практики, как, например, повивальное искусство, гувернантство, но и тут не дают им возможности к честному существованию, так как все или большая часть получивших дипломы на подобные должности не имеют практики <...> Я не буду таким мужем, какими у нас бывают люди. Это будет братняя любовь, и она может надеяться, что я буду любить только ее.

...Одно меня смущает: сколько будет у нас детей и что будет со мной впоследствии. Для этого нужны деньги, а у нас обоих шиш.

26 декабря 1864

Теперь я живу вместе с Каргополовой, так как я с ней пустился на аферу пополам, только в этом нет никакой пользы. Она рассчитывала, что если наймем квартиру в 5 комнат, то можем отдать три комнаты, но вышло, что мы больше думаем, чем выходит на деле. Мы накупили мебели и каждый месяц отдавали свои 36 руб. за квартиру, потому что в двух комнатах никто не жил, а теперь живет какая-то девица, кото-

рая по бедности денег не платит, а другой жилец хотя и платит 20 руб. в месяц, но мы накупили в его комнату мебели на сто рублей.

Некрасов приехал барином и со мною обошелся не очень ласково.

...Здесь жил у меня некто Потапов, уволенный из горного ведомства. Его я видел еще в Екатеринбурге... Там он вел себя гордо и считал вполне себя за сочинителя <...> Мои «Подлиповцы» вскружили голову не одному Потапову... он сообразил, что, дескать,— я поеду в Петербург, попрошу Решетникова помочь мне напечатать что-нибудь <...> Я прочитал два хваленые им сочинения, по моему понятию они оказались слишком растянутыми, разговоры мало характеризуют людей и вообще по этим разговорам непонятно, чего нужно говорящим людям. Все они сетуют на свою судьбу, на начальство.

...Одну комедию я снес в редакцию «Современника», там прочитали и сказали, что они не могут напечатать, потому что каждое слово нужно оговаривать... Я попросил Некрасова прочитать. Некрасов сказал, что ни очерк, ни комедия не годятся для «Современника». Но Потапов, посылая очерк, написал Некрасову письмо такого рода, что он — человек бедный, служить не может, хочет и может заниматься только одной литературой и желает быть постоянным сотрудником журнала, поэтому Некрасов может заключить с ним контракт с тем, чтобы он дал ему теперь 300 руб.

Некрасов сказал мне, что Потапов — нелепый господин. Потапов написал ему невежливое письмо, но Некрасов ответил ему, что денег ему никаких не может дать. Потапов рассердился на меня и на редакцию, обругал Некрасова, Головачева, Пыпина и Антоновича. Снес он очерк в «Русское слово» — там тоже не приняли. ...Везде, куда он носил свои сочинения, он просил наперед деньги, и за это его прозвали помешанным <...>.

Нужно прежде посылки сочинения в какую-нибудь редакцию понять направление этого журнала, с самого начала заинтересовать сочинением редакторов. Так по крайней мере я насмотрелся в редакциях «Современника» и «Русского слова», куда почти каждый день присылают статьи из провинции — статьи различного сорта и различного склада. Сколько мне привелось читать эти статьи, они или написаны безграмотно, без всякого направления, без складу,— или уже различные идеи пересолены ужасно. Все это литераторы доморощенные, которых понять очень трудно... Им еще много надо читать и учиться многому.

Конец декабря 1864— начало января 1865

В «Современнике» на меня косятся, вероятно, за то, что я печатаю еще в «Русском слове», с которым «Современник» начал полемику за то, что Писарев в «Нерешенном вопросе» обругал Антоновича и «Современник». Антонович — неглупый человек, но напрасно тратит свои дарования на полемику, которой он портит журнал и выхваляет себя — что он единственный умный в России человек, т. к. он — первый критик в «Современнике».

Придешь в редакцию, поздороваешься, с тобой никто ничего не говорит, и если говорят насчет дел редакции, то говорят шепотом или говорят — «после поговорим, теперь нельзя» <...>. Такая натянутость редакции мне очень не нравится, и я хочу перейти на сторону «Русского слова».

5 мая 1865

Сижу я пьяный у растворенного окна во двор. Слышу слева разговоры баб — барынь опетербурживишхся... пустяки; живого, для души разговора нет. Толкует и жена моя — ей не выдумать толковать дела. У нее практическая жизнь: хлеб почем, квартира почем, тот какой, этот живет дрянно <...>. Направо я слышу из двора веселые крики ребят, по-простонародному р е б я т и ш е к, они играют в бабки. Я чуть не всплакнул, потому что мне сейчас представилось то, как я играл в детстве в бабки; мне играть хотелось, хотелось быть ребенком <...> но только ребенком умным, которому бы можно было отдохнуть...

— Вот и Серафима Семеновна замуж вышла, и ты выйдешь замуж,— говорит старуха у моих дверей.

— Я не пойду.

— Замужем лучше...

— Лучше, если жить на счет мужа: знай себе спи, командуй кухаркой!.. Где же свобода, легкий труд?

А то, что я людей еще видел мало, женился рано и на такой, которая стоит ниже меня по развитию? Она выглядит снисходительной барыней, я — мужиком развитым; она живет на мои деньги и ничего не делает. Ей нужно хорошее платье, мне хочется надеть мужицкое; она настаивает, чтобы я гулял с нею под руку и был одет в хорошую одежду, а я не хочу.— Жалко эту женщину. Она начала поддаваться моему влиянию: сидит дома, читает книги со скуки, ходит просто, говорит просто с бедными людьми; но как понять: насильственное это или натуральное? Она отупеет больше, когда у нее будет ребенок, и воспитание даст глупое. Что делать?

9 мая 1865

В редакции «Современника» лежала моя статья — «Горнорабочие. 1-й этнографический очерк». Редакторы всё говорили, что они ее не поместят в мартовскую, апрельскую книжку, потому что материалов хороших много. Значит, они высказывали, что моя статья дрянь. Но зачем они не сказали мне это в глаза, зачем шесть месяцев держат ее? Пыпин сказал, что она у Некрасова. Пришел Некрасов, поклонился мне, а за руку не поздоровался и стал разговаривать с двумя просителями. Через полтора часа после его прихода Пыпин сказал ему шепотом: «Что мы станем делать с Решетниковым? Я ему сказал, что статья у Некрасова, и я сказал ему, что у нас теперь много материалов и ваша статья в апрельскую книжку не пойдет».

— Да надо развязаться с ним,— сказал Некрасов и, немного погодя, подошел ко мне.

— Вы извините меня, г. Решетников, что мы так долго вашу статью держим. Ее нельзя напечатать. Если вы будете писать всё в таком роде, как вы теперь пишете и торопитесь писать, без соображений, то вы, с вашим талантом, допишетесь до того, что вас будет жалко. Если вы что-нибудь хорошее напишете, мы с удовольствием примем. Но если вы будете писать так, то в плохом журнале конечно будут печатать.

Я простился с ними пожатием руки, но пожатие было просто из вежливости, особенно чувствовал при этом неловкость Антонович. <...> Вчера был у Потапова; принял хорошо, но мне не понравились чиновники: говорят о пустяках, пьют водку... Вечером Потапов сделал скандал: обругал стряпку всячески за то, что она спит и не хочет идти за водкой. Я увидел в нем пермяка-чиновника, невежу вполне, мечтающего, что он чиновник... Он мне ужасно надоел, и я хочу порешить с ним всякое знакомство.

Без даты, но не позже 29 мая 1865

В «Искре» помещены две карикатуры на Благосветлова. Для нас, знающих хорошо положение Благосветлова, такие карикатуры кажутся нелепостью, а для не знающих, в чем дело, оно очень невыгодно для редакции и репутации «Русского слова». Разве Благосветлов виноват, что ему не платят деньги? Разве он не имеет права защищаться? Как же ему поступать в таких случаях, когда ему не дают ходу противники, считая его за защитника нигилистов и называя его бессмысленной башкой? Карикатуры довольно нелепые, так и видно, что «Искра» не знает, чем осрамить человека, особенно невинного Зайцева. Кажется, журнал либеральный, счи-

тает себя одних убеждений с «Современником» и «Русским словом», а делает гадости своим товарищам. Все дело из-за денег и из-за статьи «Нерешенный вопрос», которая очень не нравится Антоновичу, вероятно, потому, что ему завидно, что в «Русском слове» хорошие люди пишут.

29 мая 1865

...Переход со старой квартиры в эту кажется довольно резким. Там мы занимали пять комнат, сами имели хозяйство, были полными хозяевами, потому что сами имели квартирантов, а здесь живем в углу за два рубля в месяц и берем кушанье из кухмистерской, довольно несытное, на двоих, за пятнадцать рублей в месяц, четыре блюда в сутки. Комната сама по себе небольшая, с одним окном, выходящим на двор, где кроме деревянных домов и крыш видно еще небо и кой-где садики. Комната находится во втором этаже в деревянном доме, и она вся загромождена двумя постелями, комодом, железной печью, шкафом, столом и тремя стульями; собственно, это третья часть другой комнаты, которая перегорожена от нашей занавеской. Так как на одной кровати спит хозяйка, то по нашей кровати комната разделяется занавеской... так что когда спишь на полу, то ноги оказываются в другом владении. <...> Петергоф хотя и город, но походит на сад или дачу. Куда ни повернись, всё сады и пруды, но все это сделано искусственно и очень неприятно слышать, что на поправки, сады и фонтаны выходит в год не одна сотня денег. 10 июня приедет государь с царской фамилией, и тогда будет музыка, но я уеду и не буду чувствовать наслаждения [потому что встрече я не сочувствую]. Ораниенбаум больше походит на город, Кронштадт кое-где с виду кажется крепостью, но в Петергофе народу почти не видать, и если его видно, то из петербургской аристократии немногие гуляют в садах, а в Кронштадте то и дело попадаются матросы и вообще морские чины. <...> Потапов спился совсем, разругался со мной и ничего не сочиняет. Он проклинает товарищей на казенной квартире, которые будто бы приучают его к пьянству.

19 сентября 1865

Сегодня я именинник и сижу без копейки. Сидеть без копейки после приезда из Пермской губернии мне приходится чуть ли не шестой раз. Все это произошло по милости редакции «Русского слова». Перед отъездом из Петербурга я отдал туда окончание «Между людьми», или третью часть, сделав в ней такое заключение, что герой явится впоследствии,

когда разовьется. Благовещенский через неделю сказал мне, что написано много лишних вещей, и если я дозволю ему, он займется выправкой. Я дозволил; через несколько дней я спросил Благовещенского, могу ли я ехать и получу ли деньги в Соликамске. Меня обнадежили, и я поехал с сорока рублями. Прожил я в Соликамске три недели, в Перми — полторы — ни писем, ни денег нет. Наконец, жена заложила вещи, выслала мне 50 руб., и на эти деньги я съездил в Екатеринбург. Приезжаю оттуда, получаю письмо от Благовещенского с штемпелем редакции «Русского слова». Он пишет — окончание они решили не печатать вовсе (подлинные слова), потому что оно не докончено. Приезжаю в Петербург, прошу статью и ее получаю от Комарова всю исчерченною. По приезде я отдал в редакцию две фельетонные статьи о Перм. губ.— не взяли. Просил у Благосветлова денег, он оттягивал целый месяц, говоря, что денег нет, и наконец написал такое письмо, чтобы я не думал о надежде получить денег в долг. Пришлось закладывать вещи. Хотел я отдать туда свой роман, но говорят, что они будут читать тогда, когда я напишу весь. Я отдал первую часть романа в редакцию «Современника»; там та же история,— велели обратиться к Некрасову. Некрасов принял меня любезно, но сказал, что он поместит роман не раньше, как в ноябре или декабре, на том основании, что у меня роман не окончен. Впрочем, он согласился прочитать со мною начало романа и обещал поговорить Звонареву насчет издания «Подлиповцев». <...> В редакции «Современника» рассуждают, что «Русское слово» — журнал дрянной... а в «Русском слове» говорят, что «Современник» устарел. По моему мнению, некоторые статьи «Русского слова» очень дельные, но <...> Писарев и Зайцев очень зазнаются и провираются. Антонович же говорит толком, но тоже не сдерживаясь провирается. Мне нравится, что Пыпин не ввязывается в ихнее дело, молчит Некрасов, а в «Русском слове», по настоянию Благосветлова, почти все <...> идут против «Современника» и, считая себя умниками, хотут закидать грязью «Современник», в котором они следят, кажется, только за полемикой. <...> Благосветлов оказывается мазуриком. Он согласился издать сочинения Помяловского таким образом: когда он выручит затраченные на издание деньги, тогда остальные деньги пойдут в пользу семейства Помяловских. Письменных условий заключено не было, потому что считали Благосветлова за честного человека. Он издержал на издание 1450 руб., конечно, за хлопоты высчитал себе 500. Но выручивши 1450 руб., он из остальных денег за остальные

экземпляры стал давать Помяловским п о л о в и н у, говоря, что он прежде так условливался. Теперь Помяловским приходится получить около 1800 руб., а они получат только 900 руб. Вот она, честность-то! Вот и реалисты!

3 декабря 1865

Очень бы я желал, чтобы мой дневник, или мои заметки, после смерти моей напечатали.

Теперь я очень хорошо понял, что те, которые ратуют за свободу,— или богачи, или такие люди, которые пользуются особенным почетом тех, которые давят человечество. Настоящей свободы человеку нет: человек всегда будет подчиняться другому и будет находиться в зависимости от людей богатых. Бедному человеку с ничтожным званием нечего и думать о свободе <...>.

Из первой части романа я прочитал Некрасову половину и потом получил от него письмо, что ему слушать меня некогда. С этого времени прошло полтора месяца. Раз я прихожу в редакцию. Некрасов говорит:

— Я отдал переписывать первую часть.

— Николай Алексеевич, у меня денег нет, сами знаете.

— Я на свой счет. Приглашать мне вас,— у меня утром и вечером нет времени, а читать ваш почерк я не могу. Пыпин тоже отказывается.

А о том, что я просил его, не похлопочет ли он мне о частных занятиях, он не сказал ни слова.

Сегодня же сказал:

— Вы напрасно ходите в редакцию. Вы тогда узнаете решение своей участи, когда я весь роман до последней строчки прочитаю <....>.

Он думал, что я хожу к нему просить денег. Когда я ему сказал, что я бы с августа месяца мог прочитать весь роман и переписать его, он сказал, что ему слушать меня некогда, а ему нужно читать писарский почерк. <...> В «Русском слове» то же. Там напоминают о романе, который я в мае обещал им отдать, и обижаются, что я отдал его в «Современник». Пока не печатают другие статьи тоже. В «Искре» цензор исчеркал «Путевые письма», и ничего не вышло.

Не знаю, что и делать.

А тут жена 7 ноября родила девочку и до сих пор лежит не вставая в клинике. Положение ее мучительное, и доктора своим искусством производят над ней пытку. ...Девочка Маша находится в воспитательном, потому что она испортила груди жены, и от молока стала худа.

Положение мое очень ужасное. Еще кое-как поддерживаюсь «Искрой», где Курочкин должен мне около 30 руб. серебром.

7 января 1866

В «Искре» очень мало денег, и мне уже совестно просить Курочкина. *Он дает, но совестно просить. Положим, я получал* по 10 и 5 руб. в воскресенье, но все эти деньги шли на расплату долгов. <...> Дмитриев, редактор «Будильника», когда я послал ему небольшую статейку, написал мне сахарное письмо, что он очень будет рад, если я буду участвовать в «Будильнике», и просил написать статью для юмористического сборника, или принести статью, не пропущенную цензурой. Я написал и принес «Путевые письма», но он сказал, что «Путевые письма» имеют местный характер. <...> Странно не печатать статьи, имеющей местный характер. <...> В этих двух редакциях участвуют те же сотрудники, но странно: в каждой редакции толкуют против другой редакции. Здесь ненавистные литераторы осмеиваются как только можно.

Перед рождеством я получил милостыню. <...> В письме, написанном чиновничьим тоном,— тоном канцелярии директора,— не было написано, для чего оно мне послано. Однако, догадываясь, что я могу явиться к Некрасову,— пошел.

Некрасов мне сказал:

— Вы напрасно обижаетесь. Вы не поняли моих слов. Я вам сказал, что я не могу теперь скоро прочитать вашего романа, потому что дела мои в таком положении, что времени нет, особенно с этими предостережениями. Ваш роман так велик, что я не могу его сразу прочитать, а прочитавши первую часть, я не могу печатать, потому что не знаю, каково будет продолжение... Я говорил вам, что я раньше декабря не могу дать вам большого количества денег. Теперь я могу дать, а когда я прочитаю весь роман, тогда дам еще больше.

— Мне не хотелось бы брать денег вперед.

— Это ничего. Я могу вам дать сто рублей. Если в случае чего-нибудь,— вы напишете другую статью.

Что я против этого должен был сказать, когда у меня в кармане не было ни копейки денег? <...> А он еще подразнивает меня:

— Вы бы искали службы.

На сто рублей, полученных от Некрасова, выкупил мебель... перешел на другую квартиру — две чистых и одна темная комната.

11 марта 1866

Январь и февраль я провел спокойно, потому что в 11—12 № «Современника» за прошлый год напечатали «Похождения бедного провинциала в столице», а в 1 и 2 №№ за 1866 г.— первую часть романа «Горнорабочие». Но первая часть много потерпела сокращений в редакции: Некрасов говорил, что написано резко...

Теперь я думаю, что, живя в Петербурге, на литературу нечего рассчитывать. В редакции «Современника» смотрят на меня с пренебрежением, как на недоучку, человека неразвитого, которого можно запугать, обойти так — что ты человек нам не парный. <...> Некрасов в отношении ко мне сделался все равно, что директор департамента к помощнику столоначальника.

Поэтому я хочу уехать в провинцию... Но раньше этого мне нужно запастись материалом для романа «Петербургские рабочие», и этот роман я буду писать в провинции. Кроме этого, мне опротивело жить с родными жены, ее братом и сестрой.

13 апреля 1866

Записываю эти строки в тяжелое для нашего брата литератора время. Весь Петербург только и занят тем, что покушением на жизнь государя. Самое главное — не знают, кто злодей. «Московские ведомости» говорят — он поляк. «Петербургский листок» — нигилист, а он врет. Вот поэтому-то, говорят, и хватают всяких подозрительных людей. А от этих слухов наша-то братья и трусит. <...> Все-таки беспокоюсь: вдруг ночью придут, разбудят мою дочь. Они конечно не знают, или им дела нет до того, что дочь от испуга может на всю жизнь оглупеть... Положим, должно подозрительных людей обыскивать, но я-то чувствую, знаю, я тут ровно ни при чем, и мне обидно за дочь. Все эти мысли лезут в голову потому, что будто Курочкина и Минаева обыскивали, а может, и других. Уж хоть бы скорее обыскали.

6 мая 1866

Времена теперь тяжелые: Елисеев, Слепцов, Минаев, Вас. и Ник. Курочкины взяты. <...> Дома не лучше. Каргополов командует. Юлий Семенович Каргополов выковырял глаза у портретов Помяловского, Добролюбова и Некрасова.

5 августа 1866

В настоящее время я переживаю ужасные и самые тяжелые дни. Я писал раньше, что, вероятно, вследствие того,

что самых известных литераторов засадили в крепость и части, Некрасов сказал стихи Муравьеву. В это время я еще был спокоен, потому что Некрасов обещался поместить 2-ю часть романа «Горнорабочие» в майской книжке и хотя потом отложил до июньской, но все-таки уверил и выдал мне 50 руб. Кроме этого, брат Курочкина — Владимир просил меня не оставлять редакцию «Искры» своими статьями. Вейнберг, редактор «Будильника», меня лелеял, печатал статьи, просил тоже писать. По всей вероятности, и Курочкин, и Вейнберг думали, что засаженных литераторов сошлют и мы, дескать, будем довольствоваться и этим. Только гг. Пыпин, Антонович и прочие не обращали на меня внимания, и бывало когда придешь в редакцию «Современника», боятся даже поздороваться с тобой, а разговаривали больше в другой комнате.

Говорили, что будто Пыпин и Антонович разошлись с Некрасовым после его стихов Муравьеву, но, однако, я их видел у Некрасова.

Некрасов уехал в поместье, а через две недели или раньше запретили «Современник» и «Русское слово». <...> Написал Некрасову письмо: что он будет делать с романом, так как я ему должен в счет его 100 руб.? Если он будет издавать какой-нибудь журнал, то нельзя ли его продолжать под другим названием, или не купит ли он его у меня за 150 руб.? Я просил его уведомить меня. В этот же день я узнал, что Некрасов хочет рассчитать подписчиков Шекспиром. А Вл. Курочкин, выдав мне 5 руб., сказал, что он не будет платить долги брата.

Вот тут и подумаешь, как жить. И я вполне уверен, что кроме моей жены, никто не посочувствует моему положению теперь. Будь я каким-нибудь образом вдруг богат, все эти господа редакторы будут заискивать моей дружбы, будут печатать статьи, а про настоящее мое положение и речи не будет. Такова уже наша литература.

12 сентября 1866

Муравьев умер, но дела литературные и после его смерти не улучшились, а кажется, будут идти все хуже и хуже. Причин искать нечего: главные литературные деятели, как надо полагать, заподозрены в дурных направлениях, и, как они выражаются своим сотрудникам, правительство их давит так, что они полагают, что литературу убьют, а если и останется литература, то казенная.

Я нахожу, что все наши редакторы, издатели и книгопродавцы — плуты. ...Издателю журнала или газеты нужно только о п е р и т ь с я; до тех пор, пока у него не накопится

тысяч 5 барыша, он будет ханжить, что у него мало подписчиков, переманивать лучших литераторов, рассчитывать их понемногу. ...Возьмем Курочкина. Я не знаю, как у них идет дело — все ли три брата издают «Искру», или один который-нибудь из них,— только судя по справедливости, они, или хотя бы Вас. Курочкин — должен бы был рассчитывать сотрудников как следует. Однако выходит то же, что делал со мною Усов. Он говорит, что нет денег — и только. <...> То, что Курочкин мог бы рассчитываться с сотрудниками исправно, доказывается тем, что он живет на Невском, имеет хорошую квартиру... лакея и тому подобных людей, принимает только по воскресеньям с 12 часов, ездит в театры и т. п. ...В течение года Вас. Курочкин даже не запомнил моего имени и отчества... Знают, что я не учен и пришел за деньгами, и заключают так: «Он пишет из-за интереса и поэтому раб наш».

В «Будильнике» важности еще больше. Там даже Вейнберг стал считать сотрудников за подчиненных себе. Это значит, что он уже накопил 5 тысяч и думает открыть свой журнал.

Благосветлов что-то юлит около меня и дал мне 25 руб. Он даже обещался издать мои сочинения, этак через месяц, на моих условиях: 300 руб.: 150 руб. вперед, остальные по напечатании; но после всех тех историй, какие я про него слышал, он меня едва ли надует.

28 ноября 1866

Наконец-таки я продал «Подлиповцев» Звонареву за 61 руб. 25 коп. Но и тут Звонарев хитрит, т. е. говорит, что если бы он читал их до покупки, то не купил бы: цензуры боится.

Черт знает что такое! Никак я не могу поправиться. Вот уже третья неделя, как я пью с утра и пропиваю каждый день по 25 коп. И все это оттого — не печатают ни в «Искре», ни в «Будильнике» статей; потом у жены заболели зубы, должна была стряпать кормилица; а я — водиться с Манькой; потом у кормилицы захворал муж тифом, она ходила в больницу, наконец муж ее 24 ноября помер...

Кто виноват в его смерти? Я проклял Петербург, когда смотрел его труп. Господи! Он нисколько не похож на Конона Дорофеича... Это был здоровый краснощекий мужчина, а теперь даже лицо его походит совсем на другого человека. Думал ли он, уходя из деревни, что умрет в Петербурге? Думала ли Дарья Ивановна о том, что, уходя в Петербург, она воротится домой вдовою?..

...Конон Дорофеич работал на судах; он подробно описан в статье «В деревню», напечатанной в «Искре».

29 ноября 1866

Сегодня я похоронил Конона Дорофеича. ...Надели на него крестик медный, покрыли миткалем, наняли извозчика до Митрофания за 50 коп. и отправились. За дозволение хоронить у Митрофания с нас взяли сторожа 15 коп. <...> На кладбище беспорядок. Мастеровые, хоронящие детей, подмастерья — вопиют; жены не знают, куда деваться; некоторые ищут конторщика, но не находят. Это важный господин с усами, рука дрожит. <...> Ради, кажется, приличия вышел толстый поп на известное место.

Дарья Ивановна обижается: «У нас в деревне поп, хотя и много покойников, прочитывает подорожную и сует сам ему в руки».

А здесь она сама вложила ему.

Нищих пропасть.

Дарья Ивановна говорит, что будь у нее сын, она бы имела часть в доме и в хозяйстве, а так как у нее две дочери, то ее прогонят из дому и не дадут ни огорода, ни коровы, ни куриц,— обстоятельства, сложившиеся по основам крепостного права и местных обычаев.

18 марта 1867

Уже третий месяц я живу в Бресте и ни одного слова пока не написал в свои заметки, хотя и сообщил Юлию и Федору Каргополовым и Благосветлову об этом еврейском городе. Я даже посылал Вейнбергу письмо о Белостоке, но не знаю, что с ним делается. <...> Еврей в еврейском городе — не то, что еврей в других местах. Это — хозяин, а не раб, сгибающийся в три погибели.

Здесь многие дома имеют двух хозяев, потому что город был на том месте, где теперь крепость, и поэтому и теперь желающим строиться дают землю даром. Живут тесно, бедно; имеют много детей, половина которых мрет. Редкий еврей не торгаш; кажется, нет ни одного еврея или еврейки, которые бы не торговали чем-нибудь.

Крепость в $1^1/_2$ верстах. Скука. Кроме этого, не с кем поговорить от души, а хотя и есть люди хорошие, но они забиты и поневоле подчиняются влиянию других людей, которые интересуются только «Русским инвалидом». Казенная обстановка, солдатская форма — надоели. <...> Я во всей крепости один штатский, и многие думают, что и я скоро

переменю свою одежду на военную. А некоторые предполагают, что я приехал сюда служить.

...Сегодня приходит ко мне Заварзин и говорит, что уже по всей крепости разнеслось, что я просился у Матвеева на службу, что все говорят: сотрудник «Современника» просился у Матвеева на службу. ...Жене хочется, чтобы я служил, но мне не хочется; мне не нравится и крепость, и общество здешнее, не хочется так рано подвергать себя разложению. <...>

Живу я здесь потому, что не могу скопить денег. Жена жалованье получает в конце апреля, поэтому все деньги уходят на содержание и прислуг: две няньки, кухарка и денщик.

Несмотря на то, что большинство солдат — русские, жены ихние и сами они говорят по-польски. Дети их даже многих коренных русских слов не понимают. Причина этому та, что они, живя среди поляков много лет, ополячиваются.

6 мая 1867

Накопилось в течение более месяца очень много и худого и хорошего. Начну с хорошего, чтобы кончить дурным, как у нас обыкновенно бывает в жизни. Хорошее то, что вышел «Невский сборник» и в нем помещено множество статей, в том числе и моя — «Очерки обозной жизни». ...В «Искре» напечатаны две мои статьи. <...> Вышел 1-й выпуск литературного сборника «На несколько часов». В нем перепечатаны статьи из «Современника», «Искры» и «Будильника», и в том числе моя — «Из новой судебной практики». <...>

В Бресте очень скучно. Только и живу для детей... А тут еще другая неприятность. В 14 № «Искры» сообщена корреспонденция такого рода, что в крепости Брест-Литовской, в клубе, женщины при входе мущин должны вставать с своих мест... и что здесь по улицам ночами слышатся раздирающие вопли женщин и что женщин даже сажают на ночь в кутузку. ...Заговорили, что это я написал.

Заварзин призвал меня; я сказал, что я и не думал писать этого. <...> Он говорит... что мне, пожалуй, будет плохо, тем более потому, что здесь край еще все находится на военном положении, и комендант может со мной бог знает что сделать. Я ему говорю, что я не боюсь коменданта.

18 июня 1867

В половине мая жена получила из конторы госпиталя бумагу за подписью комиссара и письмоводителя... что она не говела, что такие-то статьи закона и распоряжения на-

чальника войск обязывают ее непременно говеть, поэтому предписывают н а с е м ж е донести, почему она не говела.

Меня взбесил тон этой бумаги. <...> Я сомневался в этой бумаге, считал ее за мальчишество, так как письмоводитель находился со мной в хороших отношениях, т. е. я всегда с ним разговаривал, хотя он — чистый поляк, дурак, лжец... и готов предать с «бухгалтером» всякого русского русскому правительству, чтобы спасти себя. Он ничего ученого не читает, любит смешное, скандалы, вешанья, расстрелы, проституток... И вот этот дурак сочинил бумагу. <...> Стали грозить жене, что ей напишут огромную бумагу. Это показалось жене придиркой, и она это высказала письмоводителю Кучевскому и сказала, что в его голове д ы р а. Он стал ей грозить, говоря, что он за это оскорбление потребует удовлетворения,— подаст рапорт. Но об этой бумаге ни главный доктор, ни начальник госпиталя не знали. Тем дело и кончилось.

Я теперь ничего не пишу. Во-первых, о здешнем обществе и жизни я могу только писать бывши в Петербурге и с женою, во-вторых, об евреях я еще мало знаю, в-третьих, мне нет покою от детей. Я почти постоянно должен следить за нянками.

31 октября — 7 ноября 1868

Больше года, как я не принимался за свой дневник. Сознаю, что если бы в течение этого времени я вел свой дневник хотя раз в месяц, то написал бы много страниц, и все, что со мной случилось, вышло бы гораздо полнее, яснее.

...Настоящий дневник я пишу на случай. Кто знает, что будет вперед. И если мне придется умереть в Бресте прежде отъезда в Петербург, то те, которые интересуются мною, могут достать сведения очень неверные, так как, во-первых, я никуда не хожу, во-вторых, в Петербурге лично со мной знакомы человека два-три, которые все-таки не знают самой сути, и, в-третьих, здесь все стараются сказать про меня что-нибудь дурное, чтобы осрамить меня и оказать презрение моей жене. <...>

Она стала хлопотать о месте в то время, когда уже начали печатать «Глумовых». Я стал звать ее в Петербург, она не захотела ехать; но когда я сам хотел уехать, ей, по-видимому, не хотелось, чтобы я ехал, и она упрашивала меня поступить здесь на службу. <...> Я видел очень ясно, что она всасывается в здешнюю жизнь, деньги не держатся, даже случалось так, что на булки и молоко не было их, но я их прятал... Узнай она, где я спрятал деньги, она издержала

бы их. При деньгах она поступала очертя голову: в два дня издержит все, а потом трясется над остальными, надеясь, что получит завтра; но бывало так, что жалованье получалось через два месяца, за практику платили тоже поздно и помалу, а иногда и вовсе не платили. <...>

В сентябре я поехал в Петербург. Поехала и жена с Маней. И там жена истратила на разные разности 145 руб., кроме ста рублей, которые она дала шурину для билета на второй внутренний заем. Я нанял комнату около Вознесенского моста, и жена уехала 5 октября в Брест. По водворении на квартиру я написал «Полторы сутки на Варшавской железной дороге» для «Будильника», «Ярмарка в еврейском городе» и начал «Будни и праздник Янкеля Дворкина». <...>

В это время Некрасов стал советовать мне писать для Краевского роман. Я сперва не согласился, но он убедил меня тем, что я в своем романе могу не изменять своих убеждений и направлений, что Краевский платит хорошо и что Краевский прогнал Соловьева и Авенариуса. Краевский принял любезно... Я отдал ему «Николу Знаменского» и «Тетушку Опарину». Оба рассказа он хотел напечатать. Первый напечатал, но тут Некрасов стал сбивать Краевского передать ему «Отечественные записки» и просил меня написать роман. Я начал «Где лучше?» — продолжение «Глумовых». <...>

На набережной Обводного канала мне впервые пришлось познакомиться ближе, чем кому-нибудь, с петербургскими рабочими. Это — народ забитый, не могущий заявить своего протеста, потому что между рабочими нет единства и существует забитость исстари. Для рабочего человека в Петербурге нет никаких развлечений, и поэтому они должны все свободное время употреблять в кабаках. ...У нас в газетах существует мнение, что для рабочих непременно нужно основать народные театры. Вещь хорошая, но если их устроить за две-три версты, то туда будут ходить живущие вблизи. Да и какие это народные театры, если с первого же раза для порядка заведут везде полицию? <...>

К пасхе я романа не кончил и решил окончить его в Бресте. Некрасов обещался печатать его в июне. <...>

Я поехал в Брест... Жену я застал бледную, худую. Она говорила шепотом, ежедневно принимала лекарство.

10 ноября 1868

Роман мой. Хвалят не роман, а меня. Я говорю об «Отечественных записках», «Неделя» и «С.-Петербургских ведомостях», но говорят, что я пишу, не обрабатывая, не забочусь о художественности. Это правда. Если бы я имел средства

жить в отдельной комнате, не забирать вперед денег, я писал бы гораздо спокойнее и лучше, чем теперь. Кроме того, я корректуры не читаю, а это — самое главное. А мой роман вынес много мытарств: рукопись переписывали — я переписку не читал, хотя и просил ее у Некрасова; переписку сокращали, делали помарки, с нее набирали и с корректуры печатали. И все мои работы страдают этим.

МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ДИАЛЕКТНЫЕ СЛОВА И ПРОСТОРЕЧИЯ В ЯЗЫКЕ ПЕРСОНАЖЕЙ РЕШЕТНИКОВА И ЕГО ПОВЕСТВОВАНИИ

Ба́ско — хорошо, красиво.

Белентря́сить, белендрясить — заниматься пустяками, забавлять пустобайством.

Бичёвник — свободная береговая полоса шириной в 10 сажен вдоль судоходных рек России, установленная законом для нужд судоходства.

Бичёвщик — рабочий или бурлак, идущий в бичеве, в лямке.

Богародни, богарадные — калеки, нищие, убогие, юродивые.

Бурак — деревянный, берестяной коробок, кузовок, корзиночка

Варнак — каторжный, отличаемый от сибирских ссыльных или поселенцев.

Варницы — солеварни.

Ватаракша — негодный.

Вереша́к, верешок — черенок, осколок, обломок, щепка.

Ви́тень — бич, кнут, плеть, погонялка.

Вица — хворостина, прут, розга, хлыст, лоза.

Во́нтора — изнанка; на вонтараты́ — наизнанку, навыворот.

Гомзу́ля — ломоть, кус.

Гуня — худая, истасканная одежка, рубище; гунька — здесь в значении: ветхий полушубок или армяк, крытый простым холстом.

Дресва́ — крупный песок, гравий.

Забара́бать — захватить, заграбить.

Зака́л — здесь в значении: непропеченное или сырое место в хлебе.

Заплот — ограда из досок или бревен.

Зарод — стог или скирда, большая кладь сена.

Злочесть, злочасть — несчастие, бедствие, напасть, беда.

Изгре́бье — очески льна на гребне; изгребной холст — сотканный из оческов.

Коломенка — на Волге и Каме деревянное судно длиной до 15—20 сажен, грузоподъемностью до 12 тысяч пудов.

Корчага — большой глиняный горшок.

Коты — женская обувь, полусапожки, также поршни́ — берестяные лапти с оборами.

Крица — кусок, глыба сырого непереработанного железа, полученного из чугуна или руды.

Лиже — здесь в значении: гляди же!

Лонись, олонись — в прошлом году.

Марена — рыба из семейства сиговых; также природный краситель; в ироническом значении; копал марену в огороде, копал красильный корень, а в действительности тайком навещал героиню.

Мастюжить — мастерить.

Махальница — кадило.

Набируха — кадка.

Осéрдие — здесь в значении: мясо внутренностей, легкие, сердце, печенка.

Отличка, отлик, отличенье — здесь в значении: пошив более высокого качества.

Очеп — женский головной убор, здесь в значении: полукруглая, дугой подвеска зыбки.

Пеун — здесь в значении: дьячок.

Поблазнило — померещилось, почудилось.

Подхалюза — пройдоха, пролаз, ловкач, лукавец, льстец.

Позаочь — заглазно, заочно.

Полысáть — здесь в значении: хлестать, полосовать.

Понóсное весло — кормое весло на барке, заменявшее руль.

Попустúлся — здесь в значении: дозволил, разрешил, не препятствовал, потворствовал.

Посдевать — одевать одно на другое.

Рáмень, рáменье — в Северо-Восточной Руси, где на выжженных участках распахивалась земля,— это лес, граничивший с пашней, обрамлявший ее; в рязанском и костромском диалектах — это хвойно-лиственное чернолесье; в пермско-вятском — густой, дремучий, темный лес, непроезжая глухомань с починками и рóсчистями по опушкам.

Ратман — в дореформенной России член городского магистра, ратуши, представлявший местное самоуправление.

Сака, ника — при игре в бабки положение кости хребтом вниз или вверх.

Сельница — большая деревянная миска.

Сермяга — чапан, кафтан грубого крестьянского сукна.

Слань — настил или гать из жердей и бревен в заболоченных, топких местах; здесь в значении: настил из досок в трюме судна.

Стайка — здесь в значении: сарай для скота, хлев.

Стяг — здесь в значении: мясная туша со стянутой, снятой шкурой, кожей, без головы и ног.

Сшарабóшить — здесь в значении: раскидать, расшвырять, посбивать.

Тожно — также.

Трынка — мелкая монета, сначала в одну, потом в три копейки серебром; также азартная карточная игра.

Тулка, или **втулка** — пробка, затычка.

Упятить, упячивать — запятить, впятить, осадить назад.

Цитальница — молитвенник.

Чижовка — кутузка, арестантская при полиции.

Шитик — лодка с бортами, нашитыми досками выше над водой.

Шкалик — мера вина или водки в одну двухсотую ведра; ведро — десять литров.

Штейгер — горный мастер, ведавший рудничными работами.

Штоф — мера жидкости в одну десятую ведра; одна четвертая часть штофа почти повсеместно в России именовалась косушкой.

Экзекутор — чиновник, ведавший хозяйственными делами и внешним распорядком в палате, департаменте, конторе и т. п.

ПРИМЕЧАНИЯ

Творческое наследие Решетникова по праву вошло в золотой фонд русской литературы, но судьба созданных им произведений во многом оказалась различной. Повесть «Подлиповцы» сразу после опубликования получила широкую известность, критика высоко оценивала талант автора. При жизни и после смерти писателя она издавалась неоднократно. Новаторскими были и другие его произведения. Особое место среди них принадлежит романам о рабочем классе России. Фактически это был первый в мировой литературе роман подобного типа. Однако большинство произведений Решетникова заслонила повесть «Подлиповцы». И даже такие среди них, как «Горнорабочие», «Внучкин», «Филармонический концерт», написанные рукой мастера, оставались малоизвестными, печатались сравнительно скупо и нередко вызывали упреки критиков — как в прошлом, так уже и в наше время. Сравнительно недавно А. С. Бушмин писал о «слабости писательской культуры» Решетникова, вследствие чего он будто бы «не сумел придать новому содержанию соответственной художественной формы»[1].

Наряду с художественными произведениями в однотомнике публикуются отрывки из дневника Решетникова. Ранее они по ряду причин оставались почти неизвестными русскому читателю. Они даны в приложении, так как присутствие их в сборнике представляется необходимым. При всей их нерегулярности и местами обостренной субъективности эти записи позволяют полнее понять мучительность его исканий на жизненном пути, а вместе с тем

[1] В кн.: О прогрессе в литературе. Л., 1977, с. 23.

представить некоторые теневые стороны литературного процесса в середине прошлого века.

Персонажи Решетникова — люди из низов, их речь далека от литературного языка и изобилует грубыми или диалектными словами. Они вынесены в сводный словарь малоупотребительных слов, если их смысл оказывается не вполне понятным из контекста или из авторских пояснений.

Социально-исторический и бытовой комментарий приводится в примечаниях к отдельным произведениям и дневнику.

«Подлиповцы» — публикуется по изданию: Решетников Ф. М. Подлиповцы. Этнографический очерк (из жизни бурлаков) в двух частях. Изд. Сов. Россия. М., 1977.

Впервые повесть была опубликована в 3, 4 и 5-м номерах «Современника» за 1864 год. В основу ее легли впечатления уральского периода жизни Решетникова. Тогда же возник замысел и началась работа над повестью. Замысел был осуществлен в первый год петербургской жизни Решетникова. Многие источники свидетельствуют о достоверности и точности повествования Решетникова даже в мелких подробностях. При отдельном издании повести в 1867 году по требованию издателя С. В. Звонарева были сделаны сокращения с целью смягчения картины крестьянского быта, в особенности устранялись сцены вымогательств церковников и полиции. Цензура в последующем не раз стремилась воспрепятствовать переизданию «Подлиповцев». Так, в 1887 году издание повести было воспрещено вследствие якобы «безнравственности» и «вредной тенденциозности». А еще ранее, в 1884 году, повесть «Подлиповцы» вместе с рядом других произведений Решетникова были запрещены к выдаче из публичных библиотек и даже для чтения в общественных читальнях. Демократическая печать России всегда высоко оценивала повесть и неустанно напоминала читателям о «Подлиповцах» как одном из лучших произведений о народной жизни.

С. 19. *...пермякской серы держатся.*— Имеются в виду пережитки язычества, которые долго сохранялись среди обрусевшего и принявшего православие населения северо-восточного Предуралья,— в виде примет, воображаемых заклятий и других обычаев или видоизмененных древних обрядов финно-угорских племен (коми, мари, ханты, манси и др.). О формальном и насильственном характере приобщения их к православию писал Герцен в «Былом и думах» (в главах о вятском периоде ссылки). Решетников ис-

ходил из исторической неизбежности вовлечения их в общероссийский процесс социального и культурного развития.

С. 21. *Мотовилихинский завод* — медеплавильный, вблизи Перми, возле устья речки Мотовилиха, при ее впадении в Каму.

С. 67. *Усолье* — один из центров производства вываричной соли в северных областях России. Соль производилась из соляных источников посредством выварки или выпаривания, обходилась дорого, была невысокого качества, но еще не уступала место на общероссийском рынке соли из южных районов добычи (Перекоп, Баскунчак, Эльтон и др.) вследствие почти полного отсутствия удобных путей сообщения с ними. Из Усолья же или Сольвычегодска соль речным путем могла поступать в центральные районы России или в Сибирь. Соляная монополия была одним из важных источников государственного дохода еще с допетровских времен.

С. 68. *Государственные крестьяне* — казенные, прикрепленные к казенным землям, заводам, лесам, занятые определенное время на обязательных отработках, но не порывавшие окончательно с сельским хозяйством и миром или деревенской общиной. Считалось, что их положение лучше, нежели крепостных крестьян, находившихся во владении помещиков. Однако из описания Решетникова видно, что положение одушевленной собственности крепостнического государства — государственных крестьян, оказавшихся прикрепленными к заводам, было столь же незавидным.

Заводские рабочие — здесь имеются в виду наемные рабочие из числа крестьян, освобожденных по реформе 1861 года; они получили относительно большую свободу найма для работы на заводах или (в других областях) на строительстве железных дорог, в помещичьих хозяйствах, на шахтах, в строительных артелях, в качестве бурлаков и т. п.

С. 70. *...Бурлачить, сказывают, ныне не то, что прежде. Пароходов много развелось.*— Первые десятилетия после отмены крепостного права — пора бурного строительства железных дорог (до полутора-двух тысяч верст ежегодно) и расцвета пароходного речного и морского дела в России. Развивающемуся капитализму требовался надежный транспорт. Самодержавие после разгрома в Крымской войне 1853—1855 гг. также нуждалось в средствах быстрой переброски военных сил и снаряжения из конца в конец огромной империи. Бурлачество было обречено; упал спрос на человеческую тягловую силу; стал клониться к упадку и гужевой транспорт, сократилось число ямщиков. Таким неквалифицированным работникам, как подлиповцы, труднее стало искать заработки. К концу XIX века бурлачество практически ис-

чезло в России, уступив место буксирам с баржами и перевозке грузов на пароходах.

С. 78. *Шайтанский завод* — чугунолитейный, в 46 верстах от Екатеринбурга, при устье речки Шайтанки; оттуда (как и с других заводов Урала) металл сплавляли по большой воде до Волги; далее он поступал водным путем в центральные области России для переработки и частично на экспорт; еще в начале XIX века высококачественный металл Урала имел устойчивый спрос на Западе.

С. 81. *...как некогда шли евреи по пустыне Аравийской.*— Имеется в виду библейское предание об исходе евреев во главе с Моисеем из египетского плена и их сорокалетнем скитании на пути в «землю обетованную» — Палестину, где их якобы ожидали «реки из млека» и всяческие блага. В данном случае библейский миф использован с иронической целью; к тому же религиозность Решетникова с годами стремительно падала, хотя нет прямых свидетельств о переходе его на позицию безоговорочного атеизма.

Лоцман — человек, хорошо знающий местные условия плавания и проводящий суда по фарватеру; плавание по порожистой реке Чусовой без лоцманов было практически невозможно; вместе с тем в повествовании Решетникова проглядывает ирония по отношению к местным лоцманам-самоучкам, водившим суда на глазок и по памяти, без карт и лоций с письменным изложением примет фарватера, а также и к их нанимателям, владельцам заводов, управляющим, чиновникам, не удосужившимся за сто двадцать лет поставить береговые знаки и содействовать созданию школы речных лоцманов на Урале.

«Горнозаводские люди» — печатается по изданию: Решетников Ф. М. Избр. произведения в 2-х т., т. I. М., 1956, с. 507—567. Впервые опубликовано в газете «Северная пчела» с 18 ноября по 24 декабря 1863 года. При жизни Решетникова отдельным изданием не выходило. Отклики при появлении были немногочисленны. Демократическая критика после смерти Добролюбова и ареста Чернышевского не всегда могла по достоинству оценивать новаторские произведения русских писателей, как, например, это было с полемикой вокруг романа Тургенева «Отцы и дети» (1862) и при публикации данного очерка Решетникова, открывшего неизвестную ранее сторону российской действительности. После смерти Решетникова очерк издавался среди его сочинений, однако и тогда народническая критика не

стремилась привлекать к нему внимание читателя и вообще сдержанно относилась к произведениям писателя о рабочем классе. Лишь позднее и этот очерк Решетникова был оценен по достоинству.

С. 133. *Полесо́вщик* — лесной сторож, лесник; иногда употреблялось в значении: поле́сник, охотник; в данном случае — представитель уральской лесной охраны при заводах, охранявшей закрепленные за ними леса для выжига древесного угля.

С. 134. *Урядник* — нижний чин уездной полиции; здесь в значении: горнозаводской служащий, приравненный по чину к уряднику.

Унтер-шихтмейстер — низший из шихтовщиков, составлявших шихту — смесь материалов: руда, флюсы, кокс, уголь и т. п. для переработки в плавильной печи.

Межевщики, межевики — специалисты по межеванию, землемеры.

Кондукто́р — во флоте помощник офицера специалиста; здесь в значении: горнозаводской служащий, приравненный по воинскому званию к кондукторам.

С. 135. *Урочные работники* — получавшие урок, определенную норму выработки.

С. 138. *Сысертские заводы* — неподалеку от Екатеринбурга, на речке Сысерть; основаны в 1733 году. Демидовы — известные заводчики и землевладельцы, из тульских кузнецов, пожалованы землями и лесами при Петре I для ведения горного дела и производства металла, с 1720 года возведены в число потомственных дворян. Жестоко эксплуатируя рабочих, Демидовы вместе с тем внесли заметный вклад в русскую культуру, основав Демидовский лицей в Ярославле и Демидовские премии при Петербургской Академии наук.

С. 146. *Векщица* — здесь, вероятнее, не в значении, производном от векши — белки, а от векошницы — торговки векошью, обносками, отрепьем.

С. 150. *...кучонки жечь* — здесь описывается процесс примитивного выжигания древесного угля для плавки металла.

С. 164. *Раскольнический скит* — старообрядческий монастырь или поселок в глухой местности. *Раскольники* — последователи религиозно-общественного движения, возникшего при царе Алексее Михайловиче вследствие отделения от русской православной церкви части верующих, не признававших церковной реформы (1653—1656) патриарха Никона. В расколе или старообрядчестве нашел выражение — в религиозной оболочке — протест народных низов против усиления крепостного гнета. Вплоть до 1906

года старообрядцы подвергались гонениям властей и предпочитали уходить на окраины России. Делились на ряд течений — поповцы, беспоповцы, беглопоповцы и др.

С. 169. *...сказался непомнящим родства.*— Такое прозвание давали записным бродягам; администрация обычно пыталась опознать в них беглых или скрывающихся преступников, прикрепить их к подавшим заявление владельцам или сдать в рекруты, отправить на поселение и т. п.

С. 178. *Гауптвахта* — караульное помещение, использовалось для развода караула, а также для содержания под арестом военнослужащих; в XIX веке на гауптвахту нередко попадали под арест и невоенные.

С. 181—182. *...Первый чин... третий чин... офицерский чин...*— Здесь полесовщик излагает навыворот установленную Петром I сложную табель о рангах с утверждением в официальных чинах при прохождении государственной службы. В ней значилось четырнадцать классов. Первый, самый высший,— это канцлер в гражданской службе, генерал-фельдмаршал или генерал-адмирал — на военной и обер-камергер — на службе при императорском дворе. Самый низший, четырнадцатого класса, коллежский регистратор на гражданской службе или первый офицерский чин — корнет — в кавалерии и прапорщик — в артиллерии или инфантерии. Почти недосягаемый в глазах полесовщика чин урядника — ниже четырнадцатого класса и мог соотноситься лишь с унтер-офицерскими чинами.

С. 185. *Клирос* — место для певчих в церкви на возвышении перед иконостасом — справа и слева от царских врат.

Регент — здесь в значении: дирижер церковного хора.

«Горнорабочие» — роман печатается по изданию: Решетников Ф. М. Избр. Молотов. 1947, с. 101—169. Впервые опубликован в 1-м и 2-м номерах «Современника» за 1866 год. Написан по ранним впечатлениям, дополненным летом 1865 года в поездке по заводскому Уралу: Екатеринбург, Пермь, Чердынь, Соликамск, Усолье, Мотовилихинский завод. Рукопись не сохранилась, но заметки в дневнике Решетникова свидетельствуют о том, что роман подвергся серьезной правке и сокращению с учетом замечаний Некрасова. При правке повествование было освобождено от диалектизмов и выражений сугубо местного значения, которые требовали многочисленных примечаний и пояснений.

После закрытия «Современника» Решетникову не удалось продолжить

публикацию романа в других изданиях. Однако собранный им материал в значительной мере был использован в последующих романах.

«Внучкин» — рассказ печатается по изданию: Решетников Ф. М. Избр. произведения в 2-х т., т. I. М., 1956, с. 568—589. Впервые был опубликован в 11—13-м и 16-м номерах журнала «Искра» за 1866 год. Вошел в прижизненное издание Собрания сочинений Решетникова в 1869 году. При переиздании подвергся авторской правке и сокращению.

Прототипы персонажей неизвестны. Названия городов условные, но по смыслу повествования можно предполагать, что Нагорск отождествляется с Нижним Новгородом, а город Остолоп — с Пермью.

«Филармонический концерт» — печатается по изданию: Решетников Ф. М. Избр. произведения в 2-х т., т. I. М., 1956, с. 590—597. Впервые был опубликован в газете «Новое обозрение» (Тифлис, 1884, № 48, 18 февр.). В основу очерка, как полагал Г. И. Успенский, был положен случай из жизни самого Решетникова.

Из дневника Ф. М. Решетникова.— Отрывки из дневника печатаются по изданию: Решетников Ф. М. Полн. собр. соч. в 6-ти т., т. 6. Свердловск, 1948, с. 261—329. Однако и здесь он опубликован был далеко не полностью — частью из-за утраты текста, а отчасти по иным соображениям.

О дневнике знали некоторые из современников Решетникова, пережившие его: Г. И. Успенский, П. И. Вейнберг, М. А. Протопопов, А. М. Скабичевский. Однако они редко ссылались на дневник и еще реже приводили выдержки из него. Наследники писателя, надо полагать, внимательно прочли этот жестокий документ. Вероятно, учитывалось и то обстоятельство, что Решетников не всегда был объективным в оценках тех последователей революционных демократов, кто — вместе с ним самим — в трудные 1863—1870 гг. противостоял напору реакции.

На эти обстоятельства намекнул Г. И. Успенский в некрологе о Решетникове, заметив: «По обстоятельствам, зависящим не от нас, пользоваться дневником мы не можем». Человек, родственный Решетникову по обостренному чувству справедливости, он не сочувствовал таким публикациям,

которые могли бы бросить тень на репутацию как умершего писателя, так и еще живых его современников, участников литературных полемик недавнего прошлого, некоторые из которых были настоящими властителями дум целого поколения.

Дневник Решетникова надолго остался для историков литературы своего рода взрывоопасной зоной. Биографы пробирались по его записям — особенно поздним,— как по густо заминированному полю. В них не могла прозвучать вся правда о литературных отношениях 1860-х годов, что понимал еще такой правдолюбец, как Г. И. Успенский. Если, например, Решетникову почудилась барская снисходительность и пренебрежение со стороны многих знакомых ему петербургских литераторов, если он предполагал, что его рассматривают как наемного литератора, которого можно эксплуатировать, то ведь Г. И. Успенский помнил и о другом. Он не мог игнорировать того, что именно в демократических изданиях приметили Решетникова и открыли ему путь в большую литературу. Что он сам называл себя с гордостью их сотрудником. Что там были опубликованы почти все его произведения. И что в субъективно нелегком для мнительного Решетникова общении с Некрасовым (как-никак двадцать лет разницы в возрасте!), Антоновичем, Пыпиным, Курочкиными, Вейнбергом, Благосветловым произошло идейно-художественное самоопределение и творческое созревание писателя-демократа.

В дневниковых записях Решетникова немало противоречий. Часть из них обусловлена субъективными причинами, другие же — причинами объективными, ибо являлись отражением противоречий российской действительности. Особенно обижала его та недоверчивость к нему в «Современнике», которую не все из сотрудников скрывали от молодого, никому не известного начинающего писателя и которая была следствием жандармских провокаций, вследствие которых власти обрушились на Чернышевского, Писарева, Михайлова и др.

Дневник Решетникова — не только жестокий, но еще и оптимистический документ. Он свидетельствует о том, что Решетников не изменил демократическим убеждениям, не утратил гуманистического пафоса. Невзирая на тяжелые, подчас трагические обстоятельства, молодой писатель в своем идейно-художественном развитии шел по восходящей линии. На своем пути в литературу этот выходец из низов, столкнувшись, казалось бы, с неодолимыми препятствиями, проявил большое мужество, волю и верность своему призванию. По дневнику можно судить, как Решетников стал пи-

сателем вопреки жизненным обстоятельствам и настояниям родных, близких и тех, кто толкал его на путь благополучного чиновника. Это был своего рода духовный подвиг, о значении которого в полной мере можно составить представление лишь с учетом дневника Решетникова.

С. 296. *...я не долго проживу...*— Смысл этой записи полнее воспринимается с учетом одного обстоятельства, которое засвидетельствовано Г. И. Успенским. Осенью 1862 года Решетникова охватило мучительное смятение после разговора с А. В. Брилевичем, приезжим ревизором, человеком как будто бы не чуждым литературных интересов. Решетников отдал на его суд свои ранние произведения, поделился замыслами и просил о содействии в переводе из провинции в столицу, поближе к литературным изданиям. А. В. Брилевич вынес суровый приговор: «Вот что, Решетников, я вам скажу: вы писать не можете. ...Всех литераторов, таких, как вы, ожидает нужда и голод!.. Вы не учились в высшем учебном заведении, вы нигде не бывали. Что вы можете написать? И для чего?» Помочь в переводе он обещал при условии, что Решетников бросит писать. «Я вас постараюсь определить... Если вы будете сочинять, вы останетесь здесь (в Перми. — *С. Ш.*); если нет,— я вас переведу».

С. 297. *Усов П. С.*— издатель газеты «Северная пчела» с 1860 года; пытался изменить к лучшему репутацию этого откровенно реакционного издания, ранее руководимого Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем.

С. 298. *...к одному человеку.*— Имеется в виду С. С. Каргополова, ставшая женой Решетникова.

...накупили мебели.— Эта единственная в жизни Решетникова предпринимательская попытка под влиянием С. С. Каргополовой была предпринята на гонорар за «Подлиповцев», полученный в «Современнике».

С. 299. *Некрасов приехал...*— Из последующих записей очевидна причина его холодности в тот момент: рекомендованные ему Решетниковым сочинения Потапова сам же Решетников считал пустыми, а его поведение оценил отрицательно.

Головачев А. Ф. — секретарь редакции «Современника» в 1863—1866 гг.

Пыпин А. Н. — двоюродный брат Чернышевского, известный историк литературы, видный ученый, до закрытия «Современника» оставался членом его редакции.

Антонович М. А.— критик и публицист, пытавшийся следовать за Чер-

нышевским; в 1864 году руководил критическим и беллетристическим отделами «Современника».

С. 300. *...Писарев ...обругал Антоновича и «Современник».*— Д. И. Писарев тогда находился в крепости, но сотрудничал в «Русском слове» и был ведущим, наиболее ярким из критиков этого журнала. Полемика между двумя литературными органами революционной демократии вспыхнула в начале 1864 года, продолжалась до закрытия обоих журналов, увлекла за собой некоторые другие издания и получила у их идейных противников название: «раскол в нигилистах». Полемику начал Салтыков-Щедрин (Современник, 1864, № 1), обвинивший «Русское слово» в «понижении тона», в отходе от некоторых установок революционной демократии, в наметившейся эволюции к либерализму. Главный удар сатирик нанес по В. А. Зайцеву, который действительно допустил в своих публикациях ряд ошибок в философском и политическом плане. Писарев резко ответил Салтыкову-Щедрину в статье «Цветы невинного юмора» (Русское слово, 1864, № 2), стремясь в то же время отделить его от главной линии «Современника» — как человека, якобы чужого и случайного там. После ухода Салтыкова-Щедрина из журнала удары Писарева в основном обрушивались на Антоновича, проявлявшего предвзятость в своих суждениях о русской литературе той поры — в частности, о романе Тургенева «Отцы и дети». Статья Писарева «Нерешенный вопрос» (Русское слово, 1864, № 9) — один из эпизодов этого «раскола в нигилистах», в котором выразилось начавшееся идейное размежевание среди последователей революционных демократов после ареста и осуждения Чернышевского.

Выхваляет себя ...первый критик в «Современнике».— Здесь Решетников почти дословно воспроизвел суждение Антоновича, не сумевшего найти иных доказательств своей правоты в споре с Писаревым. Решетникову так же, как и многим из литераторов-демократов той и последующей поры, была неприятна грубость Антоновича в его суждениях о личности авторов рассматриваемых им произведений. Этот полемический принцип шельмования и оскорбления сам Антонович сформулировал в статье «Зуб за зуб» следующим образом: «Я, как известно, держусь в полемике следующего правила. Доказывать какой-нибудь ракалии, что ее приемы не хороши, не деликатны — дело трудное, доказательствами же ее не проймешь; а гораздо лучше каждую ракалию заставить на ее же спине почувствовать прелесть ее полемических приемов, может быть, и опомнится и на будущее время исправится» (Современник, 1864, № 11—12, отд. рус. лит., с. 149).

Грубость в полемике, категоричность, нежелание правильно понять противника и другие проявления духовного насилия Решетников справедливо считал недопустимыми в общении между идейно близкими критиками.

С. 300. *Серафима Семеновна* — Каргополова, жена Решетникова. ...*Что делать?* — Вопрос явно навеян романом Чернышевского «Что делать?», но с предположениями об ином варианте жизненного пути, нежели у Веры Павловны: ближе к заурядной повседневности, без «свободы» от детей.

С. 301. ...*зачем шесть месяцев держат ее?* — Чтобы уяснить себе меру мнительности или, напротив, объективности Решетникова в данном случае, целесообразно познакомиться с публикациями за эти шесть месяцев в «Современнике», на фоне которых происходило затягивание вопроса о печатании романа «Горнорабочие».

Среди художественных произведений преобладали откровенно слабые — такие, как комедия Н. Зиновьева «Говорят, будет воля!», повесть П. Ковалевского «Непрактические люди», подражательная повесть П. Холмского «История моего помешательства» или аморфный «рассказ в очерках» А. Соколова «Сарыч». Лишь отрывок из стихотворного цикла Некрасова «О погоде» и две повести — А. Михайлова «Жизнь Шупова, его родных и знакомых» и В. Слепцова «Трудное время» — поднимались над этим уровнем отечественной беллетристики. А среди переводов выделялись новые публикации на русском языке из Шекспира, Теккерея и Байрона.

Среди же очерков едва ли не одни «Заметки о Бухаре и ее торговле с Россией» (под псевдонимом «Казенный Турист») могли заинтересовать читателя своей экзотичностью и умелым сочетанием социологизма с художественной персонификацией новых типов странной и чужой для русских людей действительности. Другие же очерки тяготели к уже зарождавшемуся народничеству с присущими ему предубеждениями к промышленному развитию на западный лад и непомерными симпатиями к старинному патриархальному быту; к тому же социально-экономический анализ в них плохо сочетался с собственно художественным изображением. Таковы были очерки разных авторов: «Мысли о земледельческой промышленности», «Крепостная община в России», «Мысли о рациональном устройстве сельского хозяйства», «Месяц на хуторе Х-й губ». и ряд других.

И чуть ли не свыше полутора сотен страниц было отведено в этих шести номерах «Современника» рецензиям Антоновича, некоторые из которых были дельными, но унылыми (например, рецензия на диссертациюЧернышевского — по случаю десятилетия со времени ее защиты), или его грубой

полемике с Писаревым и Зайцевым — с однообразными менторскими поучениями или неосторожными замечаниями наподобие следующих: «Мнение Добролюбова не обязательно ни для меня, ни для «Современника» или «г. Тургенев не угадывает и не понимает новых явлений общественной жизни».

Решетников внимательно читал издания, в которых сотрудничал (см. запись в дневнике 26 декабря 1864 года). Естественно предположить, что он сопоставлял свой роман «Горнорабочие» с публикациями в «Современнике». На этом фоне ему действительно могло казаться обидным нежелание печатать его произведение или хотя бы дать советы для переработки рукописи.

С. 301. *...Я простился. ...чувствовал при этом неловкость Антонович.*— Решетников простился не навсегда, но неприязнь к Антоновичу у него осталась; примечательно, что он никогда не отозвался недружественно об умершем Н. Г. Помяловском, об активном члене редакции В. А. Слепцове, о Г. И. Успенском и А. И. Левитове, чьи произведения считал украшением журнала, а не бесполезной тратой его листажа.

...две карикатуры на Благосветлова.— Еще один эпизод «раскола в нигилистах»: издатели «Искры» решили поддержать Антоновича и «Современник», осмеяв Г. Е. Благосветлова — издателя «Русского слова».

Зайцев В. А.— сотрудник «Русского слова».

С. 302. Взятое в скобки зачеркнуто; взамен написано: «Потому что буду в Пермской губернии».

С. 303. *Благовещенский Н. А.*— в 1863—1866 гг. был редактором-издателем «Русского слова»; после закрытия журнала сотрудничал в «Неделе» и некрасовских «Отечественных записках».

Звонарев С. В. издал «Подлиповцев» в 1867 году.

...Писарев и Зайцев очень зазнаются... Антонович... тоже провирается.— Эта запись позволяет предположить, что Решетников не одобрял «раскол в нигилистах», не считал целесообразным распыление сил революционных демократов даже ради идейного размежевания.

С. 304. *Из первой части романа.*— Речь идет о «Горнорабочих»: Решетников уже перестал называть свое произведение статьей или этнографическим очерком.

С. 305. *Курочкин В. С.*— поэт, литературно-общественный деятель, вместе с Н. А. Степановым и при участии своих братьев издавал юмористический иллюстрированный журнал «Искра».

С. 305. *Дмитриев И. И.*— один из редакторов юмористического журнала «Будильник».

Формально освободив печать, правительство заменило предварительную цензуру последующим рассмотрением и ужесточило наказание за «опасное свободомыслие»; так, «Современник» был наказан двумя предостережениями, а затем в 1866 году закрыт; оказались тщетными попытки Некрасова сохранить журнал путем видимых уступок и хвалебной оды в честь М. Н. Муравьева, прозванного «вешателем» за жестокость при подавлении восстания в Польше (1863).

С. 306. *...хочу уехать в провинцию...*— Это не протест и не разрыв с «Современником»: другие записи позволяют считать это намерение следствием ряда личных осложнений в жизни Решетникова.

...материалом для романа «Петербургские рабочие»...— Этот материал Решетников собирал долго, частично он вошел в роман «Где лучше?», отредактированный Салтыковым-Щедриным и опубликованный Некрасовым в «Отечественных записках».

«Петербургский листок» — городская газета без отчетливой программы, выходила в 1864—1917 гг.

Елисеев Г. З.— журналист, публицист, член редакции «Искры» и «Современника» 1863—1866 гг., впоследствии один из редакторов «Отечественных записок».

Слепцов В. А.— писатель, очеркист, литературно-общественный деятель, пытался создать так называемую Знаменскую коммуну по типу изображенной в романе Чернышевского «Что делать?», был активным сотрудником «Современника» и некоторое время секретарем редакции журнала.

Минаев Д. Д.— поэт и переводчик, сотрудничал во многих демократических изданиях, отличался резкостью суждений о представителях правящих верхов.

Курочкин Н. С.— известный поэт, переводчик, журналист, участвовал в издании «Искры»; в 1856—1866 гг. был редактором «Книжного вестника»; впоследствии сотрудничал с Некрасовым в «Отечественных записках». Кроме литераторов, названных Решетниковым, были также арестованы Г. Е. Благосветлов и В. А. Зайцев: находившийся в заключении Д. И. Писарев продолжал оставаться в крепости до истечения срока в ноябре 1866 года.

С. 306. *Каргополовы Ф. С. и Ю. С.* — братья С. С. Каргополовой, жены Решетникова.

С. 307. *...стихи Муравьеву* — см. примеч. к с. 304.

Пыпин и Антонович разошлись с Некрасовым... — Пыпин продолжал впоследствии сотрудничать с Некрасовым, однако Антонович уже не был приглашен к работе в «Отечественных записках».

Владимир Курочкин — до ареста братьев занимался в редакции «Искры» преимущественно хозяйственными делами.

С. 308. *Вейнберг П. И.* — видный поэт и журналист.

С. 309. *...до Митрофания.* — Имеется в виду Митрофаньевское кладбище.

«Русский инвалид» — газета, издававшаяся в 1813—1917 гг. по типу аналогичной французской газеты и ориентировавшаяся на сообщения о новостях военной жизни; в 1862—1863 гг. была органом военного министерства.

С. 310. *...приехали сюда служить.* — Служить Решетников не намеревался и, в отличие от многих заблуждавшихся, не считал возможным принести пользу народу — даже будучи честным чиновником; как видно из его записей, государственная служба в России той поры для него была синонимом постепенного разложения и нравственного падения. Однако служила его жена — и она добивалась от него поступления на службу.

Заварзин П. А. — военный инженер.

С. 312. *Краевский А. А.* — видный, преуспевающий, но идейно непоследовательный журналист; издавал «Отечественные записки» в 1839—1868 гг. и в первые годы сумел сплотить вокруг журнала крупнейших русских писателей (Лермонтова, Белинского, Герцена, Тургенева, Панаева, Григоровича и др.); уступив в 1868 году журнал Некрасову, издавал газету «Голос».

Соловьев Н. И. и *Авенариус В. П.* — консервативные сотрудники «Отечественных записок» при А. А. Краевском в начале 1860-х гг.

...К пасхе я романа не кончил. — Имеется в виду роман «Где лучше?», который Решетников собирался к пасхе 1868 года полностью закончить.

Роман мой. — Речь идет о романе «Где лучше?». Нет свидетельств о том, что первоначальное резкое мнение о рукописи Салтыкова-Щедрина, которому Некрасов поручил править роман Решетникова (см. письмо Салтыкова-Щедрина Некрасову от 25 марта 1868 г.), могло стать известным писателю; но зато сатирик весьма одобрительно отозвался о Решетникове в статье «Напрасные опасения» в десятой книге «Отечественных записок» за 1868 год. Особо подчеркнув правдивость его картин и указав на «Подлипов-

цев» и роман «Где лучше?», Салтыков-Щедрин отмечал: «Г-н Решетников.. пишет правду, и из этой правды до того естественно вытекает трагическая истина русской жизни, что она становится понятною даже и без особенных усилий со стороны автора». (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти т., т. 9. М., 1970, с. 35).

СОДЕРЖАНИЕ

Решетников Ф. М.

Р47 Повести и рассказы/Сост., вступ. ст. и примеч. С. Е. Шаталова.— М.: Сов. Россия, 1986.— 336 с.

Повесть «Подлиповцы» не только создала литературное имя автору, писателю-демократу Федору Михайловичу Решетникову (1841—1871), но и остается до сих пор наиболее известным его произведением. Настоящий сборник, наряду с «Подлиповцами», включает и другие заслуживающие внимания сочинения писателя: цикл «Горнозаводские люди» и неоконченный роман «Горнорабочие», остросоциальные, разоблачительные рассказы «Внучкин» и «Филармонический концерт», а также почти не знакомые широкому читателю отрывки из дневника Ф. М. Решетникова.

Р $\frac{4702010100-199}{М\text{-}105(03)86}$ 98—86 Р1

Федор Михайлович Решетников

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Редактор
Т. М. Мугуев
Художественный редактор
Г. В. Шотина
Технические редакторы
Р. Д. Рашковская, Г. П. Мартьянова
Корректор
Л. В. Дорофеева

ИБ № 4389

Сдано в набор 31.10.85. Подп. в печать 03.04.86. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 18,27. Уч.-изд. л. 20,27. Тираж 200 000 экз. (2-й завод 150 001—200 000 экз.) Заказ № 1311. Цена 1 р. 80 к
Изд. инд. ЛХ-41.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

Отпечатано с фотополимерных печатных форм «Целлофот».

1 р. 80 к.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ